



# ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

ОДЕССКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
ЖУРНАЛ

3 (23)' 2017

---

**Главный редактор**  
Станислав АЙДИНЯН

**Выпускающий редактор**  
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

**Отдел поэзии**  
Людмила ШАРГА

**Отдел прозы**  
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

**Отдел литературоведения**  
Алёна ЯВОРСКАЯ

**Общественный совет:**  
Евгений Голубовский (Одесса), Владимир Гутковский (Киев),  
Олег Дрямин (Одесса), Олег Зайцев (Минск),  
Кирилл Ковальджи (Москва), Татьяна Липтуга (Одесса),  
Марина Матвеева (Симферополь), Виктор Петров (Ростов-на-Дону),  
Александр Петрушкин (Кыштым), Юрий Работин (Одесса),  
Илья Рейдерман (Одесса), Евгений Степанов (Москва),  
Анна Стреминская (Одесса), Александр Хинт (Одесса).

---

Свидетельство о регистрации: серия ОД № 1563-434-Р от 16.11.2011 г.  
Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»

Е-mail редакции: [aurora\\_australis@lenta.ru](mailto:aurora_australis@lenta.ru)  
Интернет-версия журнала: [ursp.org](http://ursp.org)

© «Южное Сияние», 2017

## В НОМЕРЕ

### ПОЭЗИЯ

Одесса – Германия: Лев Либолов. <b>Яблоко, летящее к земле.</b> <i>Стихотворения</i> .....	4
Одесса: Валерий Сухарев. <b>Лёгкий шлепок пустоты.</b> <i>Стихотворения</i> .....	10
Одесса – Рамла: Феликс Гойхман. <b>Фокус обратного зренья.</b> <i>Стихотворения</i> .....	16
Одесса – Германия: Елена Рышкова. <b>Две тысячи пустот.</b> <i>Стихотворения</i> .....	21

### ПРОЗА

Одесса: Алексей Рубан. <b>Отпуск от себя.</b> <i>Повесть</i> .....	26
--	----

### ПОЭЗИЯ

Харьков: Сергей Шелковий. <b>Белый с музыкой вокзал.</b> <i>Стихотворения</i> .....	50
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. <b>«Я полагаю, Бог живёт в Одессе...».</b> <i>Стихотворения</i> .....	57
Ростов-на-Дону: Александр Соболев. <b>«Из тёмного логова мокрых садов...».</b> <i>Стихотворения</i> .....	62
Симферополь: Марина Матвеева. <b>Перенастраивание нервов.</b> <i>Стихотворения</i> .....	68
Москва: Людмила Калягина. <b>Чугунное литьё и солнечные зайцы.</b> <i>Стихотворения</i> .....	73

### ПРОЗА

Одесса: Вероника Коваль. <b>Потерянные.</b> <i>Рассказ</i> .....	78
Одесса: Александр Хинт. <b>Сиомер.</b> <i>Рассказ</i> .....	81
Одесса: Галина Соколова. <b>Купава.</b> <i>Рассказы</i> .....	85

### ПОЭЗИЯ

Днепр: Рэна Одуванчик. <b>Продление круга.</b> <i>Стихотворения</i> .....	94
Москва: Владимир Мясин. <b>Данте Алигьери. Монологи.</b> <i>Поэма</i> .....	99
Саратов: Наталия Кравченко. <b>Тишины обугленные губы.</b> <i>Стихотворения</i> .....	105
Москва: Елена Темченко. <b>Плывёт бездонная река.</b> <i>Стихотворения</i> .....	110

### ПРОЗА

Лос-Анджелес: Григор Апоян. <b>Исконное значение логоса.</b> <i>Эссе</i> .....	114
Херсон – Москва: Игорь Клех. <b>Сверхчеловеческое, слишком сверхчеловеческое.</b> <i>Эссе</i> .....	118

### «ФОНОГРАФ»

Одесса: Сергей Александров. <b>Прозрачный сад.</b> <i>Стихотворения</i> .....	125
Киев: Катерина Ивчук. <b>То сахар, то соль.</b> <i>Стихотворения</i> .....	131
Одесса: <b>Письма С.П. Ильёва – А.П. Рудневу</b> (с комментариями Александра Руднева) .....	135

### ПРОЗА

Москва: Алла Рахманина. <b>Встреча.</b> <i>Рассказы</i> .....	149
Москва: Екатерина Августа Маркова. <b>Я встретил вас.</b> <i>Эссе</i> .....	155
Коломна: Александр Руднев. <b>Два некрасоведа – К.И. Чуковский и В.Е. Евгеньев-Максимов</b> .....	160

«ОКОЕМ»

«45-й калибр»: мнение «Южного Сияния». <i>О конкурсе</i> .....	165
Гатчина: Константин Рыбаков. <i>Стихотворения</i> .....	165
Санкт-Петербург: Татьяна Щербанова. <i>Стихотворения</i> .....	167
Феодосия: Ника Батхен. <i>Стихотворения</i> .....	170
Улан-Удэ: Елена Жамбалова. <i>Стихотворения</i> .....	172
Тверь: Любовь Колесник. <i>Стихотворения</i> .....	175
Мозырь: Рита Крутякова. <i>Стихотворения</i> .....	177
Москва: Марина Намис. <i>Стихотворения</i> .....	179

«ЛИТМУЗЕЙ»

Болшево: Мария Миронова, Людмила Трубицина. «Дни идут...»: <b>Марина Цветаева в Болшеве</b> .....	183
Москва: Зульфия Алькаева. «Осанна через Голгофу». <i>Стихотворения</i> .....	187
Шуя: Михаил Бальмонт. <b>Бальмонт и Цветаева: от родовых истоков к бескорыстной дружбе</b> .....	189
Москва: Андрей Краевский. <b>Закалятые друзья-символисты:</b> <b>Константин Бальмонт и Зинаида Гиппиус</b> .....	195

«ШКАФ»

Москва: Александр Карпенко. <b>Необычный взгляд Елены Шелковой.</b> <i>О книге стихотворений «Побег арбузов»</i> .....	209
Москва: Станислав Айдинян. <b>Новая книга об Александре Македонском.</b> <i>О книге Андрея Краевского</i> .....	211
Евпатория: Елена Коро. <b>Фа-хоротопы поэзоландшафтов.</b> <i>О книге Вилли Р. Мельникова «Штурман железнодорожного плавания»</i> .....	213
Махачкала – Москва: Казбек Султанов. «Ибо все происходим от Адама». <i>О книге Чингиза Гусейнова, аттестованной автором как «кораническое повествование о пророке Мухаммеде»</i> .....	215

# ЛЕВ ЛИБОЛЕВ

---

## ЯБЛОКО, ЛЕТЯЩЕЕ К ЗЕМЛЕ

### ПРОСТО И ЗАПРОСТО

Для стихов существует зима.  
Или осень. Тогда и рифмуется.  
Ну, а летом, хоть мозг поломай –  
лишь аптека, фонарь или улица  
лезут в голову. Гонись взапей  
пастернаковских слов окоlesiцу...  
И Цветаеву к делу не шей,  
и знакомую Бродского лестницу.  
Вот зимою, припомнив жару,  
выйди в город, страстями охваченный,  
и по снегу босой маршируй,  
размышляя о всяческой всячине,  
чертыхаясь от боли в ступнях –  
что ж вы, классики, рифмы фанатики...  
Пишешь летом – выходит фигня,  
ни стилистики в ней, ни семантики.  
Это к слову. Сейчас холода,  
всё рифмуется просто и запросто.  
Если сердце с душой не в ладах,  
то в квартире неубранной заперся –  
и пиши, обмороженных ног  
под собою не чуя, не думая,  
почему ты всегда одинок,  
и откуда приходит безумие  
в черепную коробку твою.  
Будет лето – забудутся заново  
фонари да аптеки... Воюй  
с недосказанностью несказанного.

### КЛЮКВА

Осень в доме пахнет плесенью,  
сколь ни кутайся – замёрз.  
Клюква всхлипывает песенно,  
переваренная в морс.  
Греешь руки, чашку щупая,  
толстостенную, с клеймом,  
оправляя злое, шуплое  
тело на себе самом,



как чужой халат, одолженный,  
тряпку с барского плеча...  
Стонет клюква – вот и дожили,  
осень летом получай.  
Вправду лето, это надо же,  
хватит плесневеть в дому,  
вечер ласковый, взаправдашний,  
свежевыкрашен во тьму.  
Не осеннюю, а летнюю.  
Тени – образы камней,  
чуть подёрнутые сплетнею  
старых бабок на скамье.  
Что, болезный, дурью маешься,  
сам с собою не в ладах,  
сам себя не принимающий,  
в этом вся твоя беда.  
Кашель рвёт и рвётся исподволь,  
прямо в клюквенный настой...  
С этой пел, а той насвистывал,  
пересвистывался с той.  
Сам с собою разговаривай,  
ты в дому, да не в тепле...  
И дрожит густое варево  
в толстой чашке на столе.

#### ВОРОНОК

Что будет завтра – невдомёк.  
Сегодня с бодуна  
я не на шутку занемог  
от скверного вина.  
Там в сквере скверное пошло  
легко и на ура,  
что утром будет тяжело  
не думалось вчера.  
И пил привычно из горла,  
слегка глаза прикрыв,  
покуда ночь не умерла,  
почуяв мой порыв  
к чему-то светлому. Трамвай  
давно почил в депо,  
дремали птицы и трава,  
дремал фонарь слепой.  
И целый мир казался мне  
остатком кисляка,  
глотка последнего вкусней,  
пикантнее слегка,  
когда его глотаешь впрок –  
ведь голь всегда хитра.  
И жизнь даёт тебе урок  
мучением с утра,



когда не чувствует ветерка  
 небритая щека,  
 и смерть во рту, и дрожь в руках,  
 как будто трель сверчка.  
 Ещё вчера отчаян, смел,  
 сегодня вял и смят...  
 И губы, белые, как мел,  
 роняют горький мат –  
 зачем? Да разве мало их...  
 Ушла – других полно.  
 Её плечо, как нервный стих,  
 всегда оголено –  
 ты это помнишь, и болеть  
 не страшно – пей до дна,  
 но хлещет спину, словно плеть,  
 густая тишина.  
 Что завтра? Каверзный вопрос  
 тебя сбивает с ног...  
 Как мент среди парковых берёз,  
 как чёрный воронок.

#### ВСТРЕЧА

Снова встретятся, не впервой же  
 им встречаться, как незнакомым.  
 Узнаванием не тревожа,  
 и словами, что в горле комом,  
 не бросаясь. Не узнавая  
 взгляд и голос – чужие люди.  
 Просто чья-то душа живая,  
 незамеченная во блюде,  
 и вторая – святей святоши.  
 Этой святостью души теща,  
 он опять возвратится к той же,  
 ей придётся остаться с тем же.

#### БАЯЗЕТ

Она не в восторге от Пикюля – Баязет,  
 главу прочитает, и в книгу кладёт закладку.  
 А он собирает лишь вырезки из газет,  
 и красным обводит... И всё у них с виду гладко.  
 Роман у неё под рукой, у него – альбом,  
 два книжных червя доедают свои бумаги...  
 Залысины бледные овладевают лбом,  
 морщины стирают остатки любой из магий –  
 любовной ли, властной... Он точит карандаши  
 багряного цвета, ему не хватает рамок.  
 Она дочитала... Написано без души.  
 Седые глаза, в них читается только амок –



безумная ненависть к чтению мёртвых книг,  
к его кумачовым щекам. Про себя – отребье –  
бормочет... Как будто бы в мозг проник  
её черепаховый, зубья сломавший гребень.  
Влюбился когда-то – и выжила. От кровей  
остались манеры и тяга к литературе.  
И голос шуршащий, как будто бы суховея  
уносит куда-то остатки любви и дури  
вдоль полки с романами... Это картина дня,  
прозрачная тема, достойная акварели...  
Романы... И с каждой страницы её родня,  
и каждый из них повторяет – я им расстрелян.  
Он старый служака на пенсии, а она  
решает – чайку... или крови его напиток –  
и в красную рамку. Война не его вина.  
Прижмётся к нему и на ухо шепнёт – убийца.

### МОККО

Затягивает небо потихоньку,  
был светлый день, да сплыл и был таков,  
и солнце, словно шнырь, спешит под шконку  
сгущающихся серых облаков.  
В законе дождь, хотя ещё не в силе,  
когда начнётся – мы поговорим...  
И, вроде бы, мокрухи не просили,  
а тут глядишь наметился экстрим –  
залётный машет молнией, как мойкой,  
распишет небо, к сроку будет срок...  
Давай-ка мы с тобой заварим Мокко,  
что запах нас от бед предостерёт.  
Фантазии дурацкие отбросим,  
сидельцев помянуть не преминём...  
Такая жизнь. Весна совсем не осень.  
Дождливый день... Да что теперь о нём.  
Не нужно подхалима-вертухая,  
хотя душняк, ведь мы-то взаперти,  
напиток чёрный в чашках колыхая,  
на волю не торопимся уйти,  
поскольку тело снова жаждет тела,  
и нам по сердцу наши лагеря...  
Давай опять пойдём по беспределу,  
оно привычней, честно говоря.

### МНЕМОЗИНА

Поёживаясь куришь на ветру,  
с погодой не заладилось у мая.  
Балкон прошит навывлет, и в дыру  
ввалился холод, косточки ломая



не спящему тебе в такую рань,  
 бессонницы возлюбленному сыну...  
 Очнись, милоч, пальтишко притарань,  
 нашептывает тихо Мнемозина,  
 посмеиваясь глупости твоей –  
 и чай не пил, а выскочил раздетый.  
 Постишься, что ли... Надо же. Говей,  
 пока скоромным балуются где-то.  
 Да что напротив – клёны-тополя,  
 каштан зажёт соцветия, что свечи...  
 А ты, как нищий, в поисках рубля,  
 совсем утратил облик человеческий.  
 Уже теплее, фортку отвори,  
 пускай потянет свежестью снаружи.  
 Почти светло, погасли фонари,  
 распевку затевают птички-вруши –  
 хорош курить, чудак, проснись и пой,  
 медовый свет ползёт по черепице,  
 Но ты не видишь солнце, как слепой,  
 а время разговеться и влюбиться  
 в погожий день и в женщину внизу,  
 случайную, внезапную до боли...  
 Прости ей всё – улыбку и слезу,  
 прости ей грех, что вольный, что невольный.  
 Беги скорей, не то уйдёт она,  
 прекрасная, безжалостно-прямая.  
 И в памяти останется весна,  
 из прошлого, несбыточного мая.

### РУБЕЛЬ

Когда-нибудь попробую и я  
 уехать в захолустье и остаться  
 за гранью бытового бытия  
 под маской деревенского паяца.  
 Привычек городских не оборов,  
 промучаюсь какую-то неделю,  
 подняв сарказмом согнутую бровь,  
 рунув себя – да что ты в самом деле,  
 сошел с ума... Две левые руки,  
 повадки лежебоки и лентяя...  
 А думал – погуляю у реки,  
 потерянное разом наверстаю  
 в давно забытом дедовском дому,  
 где нет замка и дверь всегда открыта.  
 И комнаты, окошками во тьму,  
 и сад вишнёвый – прихоть сибарита...  
 Откуда всё – иконки по углам,  
 рубель на стенке, лавки, кадки, крынки...  
 Десятки лет хранился разный хлам,  
 и я храню всё это по старинке.  
 Но даже появляясь тут порой,  
 и сидя на хромом трёхномом стуле,





я слышу пчёл, сбивающихся в рой,  
готовясь в путь туда, где новый улей,  
и новые луга весной в цвету,  
там пасечник, и острый запах дыма...  
Спрошу себя – скажи, зачем ты тут,  
но тянет снова так неодолимо.  
Всего одна неделя – и назад,  
в мой город, где бедлам и суматоха.  
А вспомнится тебе вишнёвый сад  
и старый дом – не ахай и не охай.  
Там настезь дверь, но ты-то там на кой,  
зачем в твоём окне свеча мерцала.  
Пробыл неделю, ухарь городской,  
не пряча тусклый взгляд провинциала,  
сидел на стуле прямо у дверей,  
насупленный, прямой, седобородый...  
О чём ты думал, старенький еврей,  
последний из рассеянного рода.

### ЯБЛОКО

Ты знаешь, я... А впрочем, не об этом.  
Сперва напьёмся, после спим валетом,  
а спим ли... это каверзный вопрос.  
Ещё не доросли до папирос,  
а вот же – загуляли и заснули  
примерные дочурки и сынули –  
почти любовь. Но только не всерьёз.  
Пустующая дача, осень, смех,  
знакомство двух несмелых неумех  
и красного бутылка в магазине...  
Мы синие и этот вечер синий,  
крылечко, дождь некстати, мокрый сад  
и яблоки неспелые висят.  
Расправил крылья дедовский кожух,  
под ним тепло... А хочешь – покажу  
альбом семейный? Нет? Совсем пьяна...  
Давай-ка в дом, настало время сна.  
Мы вместе спим, но я тебя не трону.  
Волос кудрявых смятую корону,  
на шее жилку... Спи, мой ангелок,  
уже рассвет осенний недалёк  
И дождь крепчает. Пёс глядит из будки.  
Проснёмся и уедем на попутке,  
но позже... Время крутит колесо  
и близко-близко девичье лицо,  
и выдох сонный, тёплого теплей,  
как яблоко, летящее к земле.

# ВАЛЕРИЙ СУХАРЕВ

---

## ЛЁГКИЙ ШЛЕПОК ПУСТОТЫ

### ПЕСНЯ ДЛЯ ТЕБЯ

Когда бы не покров твоей души надо мной – как знать, смог бы я отыскать себя в зменном клубке чепухи; направленья дорог поначалу вели меня от, а не к тебе, но обоим помог Бог.

Об этом странно стихом говорить, это тайна, которой не спеть, даже соло, в молитвенной или летаргической тишине, где высоки сосны, как свечи храма, в закатном своём окне-огне.

И страшны безадресностью звёзды в раме, вовне сознания, прошедшего Канта, как пуг в глубине неподатливого чернозёма тоски – сухие листья одне...

Собирай их хоть в короба, хоть в гербарий, чтобы пальцами перелепёвывать, как, целуя, снимаю с губы твой утренний сон, а он – ерунда девичья, но не лишён судьбы,

что, как в моих, с уст не снятых тобою, всё же, как знак переводной картинки, но проступила – не знаю как; обними и не позабудь меня... Я стану затёртый пятак,

с прибавлением нолика, я не сделаюсь лучше других, кто эти дни вечности вброд переходя, по дороге затих, и бессильно хихикал... Слишком мало осталось у меня дорогих

лиц; а ты вообще из иных матерьялов, из-за другой кулисы выскочила, мелко семена и радуясь мне... Как изгой из собственной жизни, – я принял тебя, не пошевелив ни рукой.

Теперь я – заслуженный деятель твоей переполненной души... Если вздумаешь умерщвить – хотя бы во сне не души: я подарю тебе карандаши к радуге, гранат и себя, только разреши.

\*\*\*

Ближе к утру – сойки в листе каштана, как вши в шевелюре божья, в расслонившихся на цвета небесах поскрипывают гуси, держа пути на липкие от людей лиманы, скворцы шелестят и радуются, и не жаль своих пятидесяти, прожитых кое-как, и кому их нести? Некому, и не по пути.



Такая пти жё\* возраста и опыта (это слово сжимают губами, словно изжугу), а возраст – шагомер предприимчивого инвалида странствий по разным углам и местам жизни, окрест и далее; в далёком детстве, ныряя, я показывал [...] всем, належавшим пляж, как тюлени льдину, мне и теперь было бы пополам.

Я закрутился до формы юбилейной медали, где статусы, достижения, прочие, вписанные от каллиграфического запястья, не нужные ни мне, ни городу и ни миру, коленца слов и буквиц нелепые позы, дурное барокко... Вчера я видел воочию, как, бреясь, из зеркала выскользнул, пролистав большими глазами свою квартиру.

Скоро меня здесь не будет, и пыль простынет, и ванна в каллу свернётся, а унитаз – в бутон розана, а книги вирипляску пойдут, под гармонику радиатора; совсем уже послезавтра ни крови сердечной, ни грязи ног не останется; и забьётся кошкино сердце у меня подмышкой, горестное, как закат – вот и нам пришла пора.

Неважно, что первая была на этом диване, всё равно, что здесь, нефтяными ночами семейственности, проливался компот разлук и кофе сбегал по сигналу «Ложись!», и гидрой шипел на плите; и вообще и подавно, что здесь умерла мама, молча. Так, у причала качаются не ушедшие в море баркасы, и веют парэо дев над ними – не мои мечты, но жизнь,

с её кропотливым личиком то бабульки с тюлькой в беззубье, а то с жёлтым бикини над бессмысленной головой шатенки на яхте (вихляют бёдра, колбасит музыка меж ног); многое здесь, на бывшем паркете, можно припомнить, хоть нежное: пролитый бабушкой лимонад, папа пришёл подшофе и лёг на полу, я, юношеский мизантроп, деву прогнавши, как мог...

Эта квартира – кошилка любви и страхов, весёлых собак и раздумчивых кошек, меня... И меня – уже в качестве ходиков на стене и эмигранта в чужие просторы, но куда – мне не приходится даже в тесных от образов снах, в прохладных предположениях; никуда не маня, они создают лишь мнемонические накаты волн, а в остальном душа остаётся в своей тишине.

Ты, да и кто угодно, могли бы сказать мне тёплое, как оренбургский платок, и утешное, как литр виски, слово, – я выслушал бы, головою кивая, внял бы резонам... В конце концов, умереть и в палатке, на Памире ли или в Привокзальном сквере можно, – только здешнее, переходя в ранг нездешнего, всюду накроет... Сфотографируй на память моё лицо.

\* Пти жё (*фр.*) – игра по маленькой, шутка.

\*\*\*

Не услышать теперь её загадочной воркотни, и возни вечером и поутру не увидеть – твой будильник, твой соглядатай следов не оставил в трёхмерности; ты возьми и убери её миску с подстилкой куда-нибудь, с глаз долой.

А из памяти – время ей дай – она и сама улизнёт, сперва в тебе тихо пожив, – как долго, то знает Бог кошек, пока не поманит окончательно: у них там свои позывные, слова и сигналы; и ты отпусти належке, но ласку будет помнить рука.

Мы родных нам людей отправляем, скорбя, в таинственный свет воздушных или иных путей, и они нам оттуда снятся и шлют что-то, чего нет среди живущих – не предостережение, не совет, – возможно, любовь в беспримесном виде... Прощай же, кошка. Салют.



## ПОРТРЕТЫ

Предо мною проходит жизнь, то туманится, то сквозит,  
остаётся сидеть и следить этот макабрический транзит,  
эти спазмы чужих желаний, отвергнутых действий или  
притянутых за волоса любовей. Наблюдаю, меня не просили

вмешиваться, высказываться, довлеть чему-либо, влиять;  
своё приватное всё равно важнее общей едрены мать,  
существенней так называемых ближних, которых летучий след  
простывает быстрее мокрого отпечатка стопы; пусть на нет

сходят сами, в силу своих талантов и темперамента, я не  
помогу и не воспрепятствую, не подтолкну; в любой стороне,  
где б не случилось бывать, вёл себя одинаково, не меняя,  
не искажая позиции, – разве суждения, иногда и в малом; на меня и

глядели по-разному, не сторонясь, не косясь, но и не лобзая;  
знаю точно, что посредственный вариант доброго деда Мазая  
я представляю для взыскующих в горе и радости зайцев;  
случалось и мне любить, и губить, и спасать – здесь пальцев

одной руки хватило бы перечесть, но я и так помню всех,  
без узелков и загибов – поимённо, в глаза и в волосы, – тех,  
кто при жизни посмертно внутри поселился; и там, у них –  
отдельные апартаменты и кельи; прочтя, они поймут этот стих.

Но примут ли – это гадательно, это немного тревожно, и я  
так чётко подчас их вижу: в метро, в авто, за столом, у ручья,  
в дубровах (брови воздеты от тишины), в объятиях своих, во  
всём, что случилось с нами; вижу кладбищенский сумрак, дерево,

кажется, клён; ранняя осень тогда чаще, чем мог вместить  
календарь, накрывала туманами пути-дороги, и зыбкая нить  
трассы оборвалась, как и дыхание, в секунду удара; и сталь  
со стеклом не рассуждали, кого помиловать; здесь смыкаю уста.

Жизнь быстрее моего меняется – не хороша, не легка и не  
та, чтобы так дрожать её или озабочиваться наперёд... На стене  
в моём жилище нет портретов и фото их, из немногих – отец и мать,  
и они как-то вне этих дней, скорее внутри. Но тут и нечего понимать.

## СИРЕНЬ

Круглая и бесполезная, как пятьдесят копеек, дата, вместо  
часов с кукушкой, висит на стене и в дом гостей не просит;  
зато ежедневно кукует в кулак, либо назойливо учит тесто  
времени замешивать на грядущее; наливаю себе – «prozi».

Если и стоит за жизнь от чего-то устать, то от себя самого,  
да и то сказать – не в присутствии посторонних, чьи ласки  
от слов могут в дела перейти, – так нейтральное вещество,  
вода, например, становится льдом или паром; и в связке



дней недели нужны сутки плюс, как пятый угол или как двадцать пятый кадр в ролике, куда, сколь ни стараться, ничьи тело и ум не проникнут; но находится пылкий дурак или нежная идиотка придет; а кошка в доме как рация

работает, и через неё можно с миром вовне связаться: она отлично транслирует щебет неряшливых птиц поутру, когда просит есть, или рокоты дня, если обидел; она миром полна, как надеждами бывает душа и голова ерундой. Но моя вода,

поставленная на огонь, выкипает быстрее, чем в чашку кофе закинешь и выкуришь сигарету, автоматически, левой ногой баюкая тапок или в тучах мая рассмотришь кудлатый профиль Толстого, а рядом ленивый твой, либо вообще какой-то другой.

Необратимость жизни как обмен веществ внутри, и в итоге неважно, чем кончится всё – ожирением или Альцгеймером, и то и другое прелестно – с точки зрения тушика, конца дороги; мы небесные карты закажем, ауспиции выпишем, водку и ром

захватим с собой, для нескучных воздушных прогулок, среди лесов ливня, лужаек тумана, трещин молнии на барельефах грома; мы больше не будем терзаться тем, что у нас впереди, подойдёт любая эмпирика с лобачевскими далями; а здесь трефа

креста, в кладбищенском медвежьем углу, табличка, фото, венки из пластмассы и проволоки, на линиях ленте посмертная хрень от ближних, которых нажил – раз, два, три; и рядом – от стройных ног две эвклидовы тени, руки в перчатках, в руках – дрожь и сирень.

\*\*\*

Я дал ей когда-то пощёчину за жестокосердие, но она не от тяжёлой, скорей – от тоски слетела; давно этостряслось, но правдой осталось... В окне веретено

каптана под ветром шуршит с нарастанием, звук вертящейся по низу торса юбки танцовщицы, чьих рук в круженьи уже не разглядеть даже в стоп-кадре вдруг

свалившейся сверху молнии – то ангел-фотолюбитель выплыл на сессию, за спиной турбина сипит, глушитель отсутствует, как у всего реактивного; сей пространства гнобитель

любит снимать рапидом... Так ты тогда, после удара ладонью, меня отщёлкала взглядом, волною угара гнева обдав, но не спалив; я был прав, но извинился – даром.

Тот день был с нынешним схож, как брат: капитан, гроза, сухие от ненависти слёзы в побелевших, как небо, глазах; лишь ближе к вечеру дня проявилась испуганная бирюза.



Сквозь не самые лучшие годы я это пронёс и помню, а ты,  
как знать, позабыла – по свойству памяти; но, сдаётся, средь маеты  
и повторяемости календарей, едва ли утратила лёгкий шлепок пустоты

по щеке... Комната не стала ромбом, и не пустился вприсядку  
орнамент обоев, и кошка не взмыла ввысь, угодив, как в десятку,  
в люстру, и я не поседел, как в круте Хома; жизнь сделала пересадку

времени: новая пластика от морщин мнемонических, рот  
не улыбается, но и не скорбит полумесяцем, очи вперёд  
устремлены, но там – то же небо в громах и каштан, уже наоборот

вертящийся – точно буравит газон, правило правой и левой руки;  
ударившая тебя была правой, без левого умысла. Мне не горьки  
эти раздумья, но и не в радость; всё далеко, как исток и устье реки.

### БУДУЩНОСТЬ

Это – пространство места и приметы времени. Взгляд  
обходит и облетает близи и даль, обещая вернуться назад:  
амбразурные окна крепости, и оброс кривой крапивою ров,  
заполненный трупом воды; и птица-абориген вам «Будь здоров»

выкрикивает и заходится в кашле, выно вытянув, как кран  
стрелу, и сухую траву то кузнечит, а то цикадит; новый баран  
марки «гелендваген» на замшелое старье ворот тупо глядит  
глазами бывшего бандита, но теперь никому не интересен бандит.

Пространство и время здесь похоронены замертво, бывших руин  
глазу не отыскать, не учуять носу; какие когда-то тевтон или литвин  
здесь упивались и баб собою пронзали на пиршественных столах,  
сминая латы и кубки, – историк знает, историку давно неведом страх

диахронических напознаний и несоответствий; от артефактов судьбы  
воинов ему не жарко, как в подземельях, не холодно, как на башне; гробы  
землею укутаны, спят в молекулярной сукровице, и руины крестов  
нависают тенями повсюду, куда ни ступи, да ты и ступать не готов.

А теперь представим некое время с пространством, что после нас,  
спустя жуть исторических промежутков, останется, тот день и час,  
когда очень грядущий кто-то, как нынче досужие мы, придёт посмотреть,  
как не должна, но будет выглядеть адаптированная к времени смерть.

Никаких косых крестов, слышшихся склепов, лент и венков, никаких  
прощально – посмертных глупостей на гранитах, чтобы как-то о них  
(о нас) всплакнуть или хотя бы представить лица, вместо этого код  
над электронным разёмом – фото увидеть: там ли тлеют та или тот.

Но никто там не тлеет, не взывает к живущим, мол, помни меня, дурак;  
длинные балюстрады урн кеглеватых, и прах там слежался, как  
плохой растворимый кофе; можно с собой забрать, прежде послав на  
центральный компьютер запрос; будут уже эконом-класса времена.



Нет, лучше гнить в песках и глинах, чем в амфорке горевать,  
со всем, причитающимся литерному анониму – праху исполать;  
церковь нейтрализуют как попрошайку, и оголодавшие вконец отцы  
пойдут в перехожие калики, гусяры, акыны – во все концы.

Но и Вести, чтоб им нести, чтобы смысл хождений остался, – не  
будет, её отцифруют и разошлют по персональным гаджетам; мне  
слышится, как люд будет так говорить – «Ну и гад же ты» – «Сам айфон»;  
монастыри переведут в 3D для удобства зрителя; Метеоры же и Афон

останутся как места паломничества туристов и альпинистов; Стена  
Плача падёт, как Берлинская – за ненужностью; и если случится война,  
она будет краткой и никому не страшна, потому что смерть как тайна уйдёт  
из электронного мозга с коллайдерным членом; и последний, как идиот,

останется и будет рыдать над нами Боже, в небесной психушке своей,  
никем не слышим и никому не в утешение... Как-то так. А теперь налей  
себе и мне – за долгую и беспричинную жизнь здесь выпьем до тла,  
пока глотка не сузилась до фистулы и последняя слеза не стекла.

# ФЕЛИКС ГОЙХМАН

---

## ФОКУС ОБРАТНОГО ЗРЕНИЯ

### КРУГИ

1

Сначала детей отпустили,  
верней, попросили уйти,  
и двери за ними прикрыли  
в одиннадцать без десяти.

Потом занавесили окна,  
клькастого неба плафон,  
потом зазвенел одиноко,  
роняя слезу саксофон.

Потом обнажилась арена,  
когда мы расселись в кружок,  
потом, как лягушка царевна,  
ты сделала первый прыжок.

2

В свободном паденье, в круженье  
разделась, шутя, догола.  
Как море, твоё отраженье  
клубилось в глазах-зеркалах,  
и шёпотом ты напевала  
одно только слово: *стриптиз* —  
*смотри на меня до отвала,*  
*а хочешь потрогать — катись.*

3

Рабы золотой середины  
печали свои утолим  
не словом, так хлебом единым  
не хлебом, так телом твоим.

Привыкнув к веригам с пелёнок,  
к веригам семьи, не тюрьмы,  
все ночи мы плачем спросонок,  
все дни копошимся в тени.





И, выйдя на свет для потехи,  
увы не способны, как ты,  
стряхнув лягушачьи доспехи,  
прикрыться щитом наготы.

Так жизнь, насмехаясь над нами,  
срывает покровы свои,  
и бьётся и стонет во сраме,  
в сверкающем храме  
весны.

## 4

Однако не нами заказан  
твой дерзостный данс-декаданс,  
и смех саксофона за кадром  
едва ли касается нас,

гитара подвякнет украдкой,  
играя с огнём, контрабас  
флиртует с трубой-психопаткой,  
и тоже не смотрит на нас.

## 5

Махнул бы, ей-богу, рукою  
на весь этот дивный оркестр,  
когда б я не слышал другое,  
не видел другое окрест.

Не смех, а зловецкие гимны,  
как пленные птицы кружат,  
не тени, а чёрные нимбы  
на каменных лицах дрожат.

Не белое облако тела,  
а гиблое дело зовёт,  
и я, озираясь несмело,  
готов опрокинуться влёт.

Смешной, косолапый, бескрылый,  
нелепый, как жук скарабей,  
ползу за тобой что есть силы,  
и всё ж не пойму, хоть убей,

зачем весела и поката  
твоя чумовая стезя,  
как будто судьба не расплата,  
как будто молва не судья,

которому тошно от скуки.  
И если уж я не боюсь,  
что близость не слаще разлуки  
на твой коронованный вкус,



что нежность простая слепая,  
едва ли страшней воровства,  
чего ж ты боишься, ступая  
на тучные травы родства?

6

Повеет ли солнцем незримым,  
спадет ли незримая хмарь,  
пока прозябает под гримом  
лицо, как волшебный фонарь?

Привыкнет ли сердце к изменам,  
поверит ли разум в любовь,  
пока промышляет по венам  
твоя шепелявая кровь?

А впрочем, я знаю, до срока  
сойти с колеи тяжело.  
Не думай об этом, красотка.  
Скажи мне, что время пошло.

#### ПАМЯТИ ОТЦА

1

Бредом – не криком победным,  
стынут слова на губах.  
Розовым, палевым, бледным  
юность мелькнула впотьмах.

Так дымовая завеса  
образ лишает примет,  
может, за дальностью места,  
может, за бренностью лет.

2

Я уж и вспомнить не в силах  
что это было – вблизи.  
Кровь колобродила в жилах,  
не выбирая стези.

Кажется, грезил о славе,  
пряча соблазны свои,  
паводком бился о сван  
строгой отцовской любви.

3

Должен ли я согласиться  
так и не выйдя в князя  
с тем, что пора обозлиться  
и обознаться – нельзя.



Фокус обратного зренья –  
не пелена и не свет.  
Смерти венчальные звенья,  
жизни прощальный привет.

4

В этом театре абсурда  
здравая память не в счёт.  
Пропасть грядущего будня  
словно былое – гнетёт.

Вряд ли душа выбирает  
то, чего не избежать.  
Меньшего зла не бывает –  
не из чего выбирать.

5

Что же нас гонит по кругу  
Что за волшба-ворожба?  
Паводок будто с испугу  
лёт в берега-желоба.

Чьи нам мерещатся тени,  
образы смутные чьи?  
Хлебом каких отречений  
кормится сердце в ночи?

6

Глупо пенять на расплату,  
тщетные слёзы глотать.  
Что обронилось на карту,  
не суждено навестать.

Исподволь коченеет  
крови бессонный поток.  
Облик на сгибах чернеет,  
словом, *увяз коготок.*

7

Это и есть умиранье –  
оторопь задним числом.  
Крест состраданья и знанья,  
словно мираж – невесом.

Ну а погоня случится:  
крики и смех по пятам,  
руки заломишь, как птица,  
выдохнешь: *кто это там.*



И, увязавшийся следом,  
не отзовётся на взмах.  
Бредом, беспомощным бредом  
стынут слова на губах.

\*\*\*

*Моему однокашнику, Армену Асрияну*

Радио и газеты –  
чтение между строк.  
Длани, что ввысь воздеты –  
это – надежда, бог.

Музыки подоплёка –  
стереозвук УКaBe,  
только во имя прока,  
пиковый туз в рукаве.

# ЕЛЕНА РЫШКОВА

---

## ДВЕ ТЫСЯЧИ ПУСТОТ

### ПОСЛАНИЕ

Расслабься, день под пальцами обмяк,  
И пахнет, словно тесто дрожжевое,  
Слепи себе какой-нибудь пустяк  
И радуйся содеянному вволю.  
Займись-ка повседневной молотьбой –  
Не в первый раз раскатываешь плоскость,  
Пусть ты в её масштабе мелкий гой,  
Пришлец, галерный раб, дитя подмостков,  
И так же, как актёр – ты сир и гол  
И также не добился смысла сцене –  
Природа, сохраняя гладким лоб,  
Своё лицо не пачкает мышленьем –  
Она соврёт, или скорей – сорвёт  
Свои плоды, испортив мизансцену,  
И поцелует вечность в мёртвый рот,  
И выразится богу вслед обценно.

### И В КОРОНЕ ЛОБ

остриги-ка волосы, ум длинён  
и змеит косой меж лопатками.  
жизнь за косу хватать, да лицом об стол,  
чтоб словами в стих ей накрапывать.

остригись под нуль, отрастёт зря  
и в короне лоб взмокнет к полудню,  
а на умных знать возит тяжесть зря,  
всё равно добро пустят по миру.

не «боись» сумы впереди войны,  
эти двое в масть ходят рядышком,  
а твой волос бел полотном льняным,  
то ли саван шить, то ли радовать.



## НАША ЗИМА

По ветру оглажу заливов весны –  
 Намокнет ладонь, остывая –  
 Как в самом начале подарки бедны  
 У марта в сравнении с маем,  
 И старого леса мышастый парик  
 Бойтся испортить причёску!  
 Но будет зелёное нынче в чести,  
 Где хором полопались почки  
 И тянет в преддверье весеннего дня  
 Душком от декабрьской прели –  
 Как долго готовила наша зима  
 Компост для цветенья в апреле.

## СИНКОПА ВЕСНЫ

звучи рвутся на бинты песен –  
 медсестра втыкает джаз в вену,  
 ошибаясь, как старик Плейшнер,  
 выхожу в окно любви первой  
 и сквозь ливень на асфальт листьев  
 опечатки от следов ставлю,  
 голливудский соловей свистом  
 утверждает мою тень в камне.  
 а синкопа перемен рыщет –  
 голодна, как сотня лет битвы,  
 мне Оккама подарил тыщу  
 правоверных к оселку бритвы.  
 и что делать? как прошли роды  
 у весны под саксофон джаза –  
 обручальное кольцо года  
 все деревья обожгло сразу.

## ЗМЕЙ

Я не свободна, мой воздушный змей  
 За ниточку опять ведёт к обрыву  
 И прыгнула б, но он меня сильнее,  
 Крылат, бесстрашен и почти счастливый.  
 А я держу его за бечеву,  
 Любуюсь крыльями и цветом оперенья,  
 Он вырастет, и я его сомну  
 В тугой комок своих стихотворений,  
 И брошу в пропасть, где на самом дне  
 Он врежется в спасительный источник.  
 Не бойся, маленький,  
 Держи на поводке  
 Меня внизу  
 Истаявшею  
 точкой.



## МОЁ ЗЛО

когда я зло держу за маленькую руку,  
оно ребёнком тулится ко мне,  
оно моё – не выбросить, не спутать,  
как яд пчелы или светляк во мгле.  
срывает голову в нестыжной жажде крови,  
но смерти запах отрезвляет ночь,  
держу за руку, прячу в изголовье –  
то, что играет взапуски с добром.  
и видно, как отращивает крылья,  
чтоб вместе с ним свободно убивать  
во мне врага – стать стороною тыльной  
моей руки, привычной для добра.

## НИПОЧЁМ

давно мне стала нипочём  
чужая злость и чья-то зависть,  
а старость выросла дичком  
плодоносящего познания  
и набрала себе имён –  
чем дальше, тем они нелепей,  
могу отдать теперь внаём  
в четвёртое тысячелетье,  
а я останусь – в чём была,  
в том неизменном состояньи,  
где бог не друг, а у чела  
любви неловкое дыханье.

## ТЫЛЫ

А не знаю, с кем теперь воевать –  
Окружение плотно, где фронт, где тыл?  
Если враг во мне, то в кого стрелять,  
Так чтоб выстрел ближнего не убил.  
Если голос тонок, а волос густ,  
И рука слаба, а душа кремень,  
Я не знаю цели, что бьёт, стоуста,  
Словно снайпер бешеный в эту цель.  
А язык усохнет.  
В колокола  
Будет биться лбом неродной народ,  
Да не знаю, точно ли я жива?  
Может быть, со смертью оно пройдёт?

## БЕЗЫМЯННОСТЬ

как безымянно всё вокруг  
и чуждо жаждущему слуху,  
вон птица, как её зову,  
когда маню к себе на руку?



навстречу протянув листву,  
кусты неузнанные стынут,  
о, как они названий ждут,  
чтоб потерять свою невинность  
и обрести свои черты,  
где смысла тяжкое значенье  
пригнёт к земле, начав чертить  
всесильный алфавит творенья.

#### ПРЕДЧУВСТВИЕ ВОЙНЫ

Стригусь под мальчика, старею по часам,  
На фотографиях себя не замечаю –  
Их чёрно-белое свечение тут и там  
На гладких стенах омугом печали.  
И дом похож на сдвинутый корабль,  
Где по углам зачем-то выжжен август,  
А то, что было завтра и вчера –  
То лишь припёк, оставленный на завтрак.  
Горбушка ситного, что пахнет домовым  
И так вкусна, что кошки будут сыты,  
Стригусь под мальчика, как будто стала им –  
Мальчишкой стриженным, уже три дня убитым.

#### СНИМАЮ

Снимаю юность ненужным платьем,  
Фасон не в моде, хотя приличный,  
Оно душило меня в объятях,  
Мешало падать с небес по-птичьи,  
Сжимало волю, кружило юбкой,  
Поутру мягко в углу лежало  
И целый век умещался в сутки,  
Когда от счастья по швам трещало.  
По шёлку кожи скучают пальцы,  
Застёжка давит воспоминаньем,  
И можно больше не сомневаться,  
Что время носко, да век недалний.

#### О, КАК ПОГОДА НЫНЧЕ ХОРОША

так хорошо сегодня на дворе,  
что Средиземье тихо отдыхает,  
серебряный, успокоённый свет  
ласкает землю в золотом угаре,  
и кажется, что счастья больше нет,  
зачем оно, к какому первородству,  
когда бортами стукнется ковчег  
к земле обетованной, ужгородской.  
и нет зазренья в поисках добра





и нету сил искать до боли смысла –  
погода нынче больно хороша,  
хотя война за окнами, война  
и больно жить, а умереть не вышло.

### ДВЕ ТЫСЯЧИ ПУСТОТ

две тысячи пустот откроют дверь наружу,  
а март войдёт туда, где есть живой сквозняк,  
сквозь резанный хрусталь ещё застывшей лужи  
белеет облаков подвешенный сходняк,  
и слышится весна, всегда неуставная,  
в призывах городских, распущенных ворон,  
любовь опять права, любовь она такая –  
ей первороден грех, а бог любой смешон.  
и отпечатки рук, и опечатки в тексте,  
помада на стекле и алкоголь в крови –  
всё перебродит вмиг, но будет интересно  
задумать волшебство и перепутать мир.

# АЛЕКСЕЙ РУБАН

## ОТПУСК ОТ СЕБЯ

### повесть

#### РАССМЕШИТЬ БОГА

В верхнем правом углу бог хохотал, демонстрируя крупные белоснежные зубы. Несоразмерно большой указующий перст на переднем плане нагло лез в глаза. У бога была смуглая кожа, курчавая чёрная борода и такие же волосы на голове. Если бы не белые одеяния и нимб вокруг макушки, он походил бы на обожжённого солнцем пастуха. Внизу за столом расположился тип с помятыми лицом и рубашкой и осиным гнездом вместо причёски. Отвратительного фиолетового цвета галстук съехал набок. На столе стоял громадных размеров монитор, а всё оставшееся пространство усевали разбросанные бумаги, телефоны, чашки и канцелярские принадлежности. Среди царства хаоса особо выделялась коробочка с названием известного препарата, излечивавшего даже самое страшное похмелье. Тип обмяк в кресле, руки его свисали до пола, лицо искажал вселенский ужас. «Хочешь рассмешить его – расскажи, что не пьёшь среди недели», – гласила жирная надпись. Плакат Эмиль увидел однажды в подземном переходе по дороге на автобусную остановку и, не раздумывая, купил. В итоге ему пришлось почти полтора часа тащиться на своих двоих до дома, но покупка однозначно того стоила. В разгар домашних посиделок он обычно несколько раз за вечер акцентировал внимание гостей на шедевре творческой мысли, отпуская годами копившиеся комментарии. По утрам плакат часто вызывал раздражение.

Головная боль заставила Эмиля открыть глаза, и в них мгновенно прыгнул божий палец. Эмиль прошипел ругательство в адрес Всевышнего и тяжело повернулся на бок. Некоторое время он ворочался, мочалая покрывало. Сон не возвращался. Эмиль снова разлепил опухшие веки и посмотрел на часы на стене. Криво висящий циферблат показывал 6.38. В запасе оставалось ещё чуть больше часа, и Эмиль с ненавистью подумал о том, как проведёт это время, восстанавливая в памяти события предыдущего вечера. Из незакрытого окна на кухне тянуло утренней прохладой. Голосам птиц и шуму проезжающего транспорта вторили звуки капель, разбивавшихся о поверхность раковины. Кран протекал ещё с зимы. В комнате стоял стойкий запах спиртного. Эмиль поскрёб ногтями щёку, смахнув на покрывало застрявшие в отросшей щетине хлебные крошки. Он вспомнил, как около часа ночи они выходили с Александром в магазин, где, помимо алкоголя, прихватили два устрашающих размеров батона. «По крайней мере, сегодня можно будет не покупать хлеб», – мелькнуло у него в голове.

Александр позвонил, когда Эмиль трясся в автобусе по пути с работы. Старый товарищ, свидетель безалаберной юности, они познакомились в клубе исторической реконструкции и несколько лет радостно махали деревянными мечами на свежем воздухе. Помимо фехтования их объединяла любовь к компьютерам и алкоголю. Однажды они даже умудрились воспылать страстью к одной и той же девушке, рыжеволосой звезде клуба. Звезда предпочла третьего, высоченного красавца, и Эмиль с Александром отправились заливать горе дешёвым пойлом. «За то, чтобы никогда не вставали эти отродья между друзьями», – провозгласил тогда очередной тост Александр, и Эмиль подумал, что в итоге всё сложилось к лучшему. Достойным конкурентом в амурных делах в душе он себя не считал, хотя на словах всегда утверждал обратное. Потом их пути разошлись. Александр женился, у него родилась дочь. Несколько раз они пересекались накануне праздничных дней. Александр изрядно прибавил в весе, жадно пил, жаловался на постоянный контроль со стороны супруги и пускался в воспоминания о славном боевом прошлом. Работал он в большой компьютерной компании, занимая высокооплачиваемую должность. С момента их последней встречи прошло не менее полутора лет, когда густой бас в трубке ворвался в осенние сумерки. «Дружище, очень мало времени, через пять дней самолёт, – понёсся Александр, не за-



прягая. – Отправляюсь в тёплые края, будем компьютеризировать туземцев, так что сегодня или никогда. Через час у тебя, готовь посуду». Эмиль убрал телефон в карман и прижался лбом к холодному стеклу окна. Предвкушение предстоящей попойки мешалось с ощущением обречённости. Александр явился с завидной пунктуальностью. Он шмякнул об пол два гигантских пакета, сжал Эмиля и несколько раз приподнял в воздух, радостно порывкивая. «Да ты, чувак, изрядно поднабрал, все восемьдесят будет», – заявил он, приведя друга в вертикальное положение. «Семьдесят семь», – отдуваясь, ответил Эмиль. Сам Александр, кстати, явно стал уделять время физическим упражнениям. Он заметно похудел и посвежел лицом. После недолгого строгания снеди и раскладывания её по тарелкам они расположились в комнате. Александр рассказал, что развёлся с женой, жил не обременённым привязанностями холостяком, а недавно получил предложение работы в открывшемся за границей филиале своей компании. «Знаешь, чувак, раньше я бы даже не стал это рассматривать, – сказал он, стряхивая пепел в треснувшую пепельницу. – Куда-то ехать, обустроиваться, менять график, то, сё. Меня всё устраивало, плюс жена, дочь. А сейчас, прикинь, особо и не думал. Предложили – я только рад был, проветрюсь, посмотрю, как и что у них там, в конце концов, я же специалист, столько лет пахал, заслужил, значит». Эмиль заикнулся про исчезнувший балласт в виде семьи, и тогда Александр неожиданно резко затушил окурок, посмотрев друга в глаза. «Слушай, мы много лет знакомы, полнитесь разводиться глупо. Я тебя не собираюсь учить, да и не имею права. Когда я развёлся, то тут же стал по горло заливаться, с дочкой, наверное, месяца два не виделся, какие-то бабы. Казалось, пришла свобода, сбросил ярмо, можно оттягиваться. На работу ходил, конечно, но так, одна форма, без всякого астрала, гудел сильно. Внешне кайф, а на деле безобразия какое-то выходило. В семье у меня, конечно, всё разваливалось, слишком разные мы были, только из-за дочери и жили в последнее время. Хотелось свободы, а что с ней делать, я, как выяснилось, не знал ни черта. В общем, если бы не одно место, не сидел бы я сейчас здесь с тобой».

В какой-то момент Эмиль почувствовал, что история друга по-настоящему его захватила, слишком уж непривычно вёл себя человек, которого он видел перед собой. Александр рассказал, что однажды, в попытках убить время до конца рабочего дня, он наткнулся в сети на упоминание об одном туристическом комплексе. «Вообще, сейчас я бы назвал это санаторием, – ухмыльнулся он, – хотя тогда от такого слова меня бы точно вывернуло». Что-то, чего он сам не мог объяснить, привлекло его внимание в фотографиях и описаниях к ним. «Понимаешь, ничего там вроде особого нет, никаких этих рекламных дел, кучи слов, цветов, каких в природе не бывает. Просто смотришь и понимаешь: там должно быть хорошо. А мне на тот момент этого хорошо дико не хватало, просто я себе признаваться не хотел. Несколько дней меня не отпускало. И вот я подумал: всё равно отдых нужен, в таком темпе долго не выдержишь без передышки. А не понравится – развернусь и поеду домой. Взял отпуск на две недели, пришлось, конечно, кое на какие рычаги нажать, чтобы быстро оформили, и двинул. И всё. Не знаю, как тебе объяснить, ничего там особенного нет, пара квадратных километров территории всего. Ну, номера уютные, спортплощадки, зелени очень много, музей даже есть, группы приезжают играть. Кстати, в баре алкоголь там не продают. Можно, конечно, набрать в городе, ходьбы там – только через мост перейти, но, веришь, не хочется, атмосфера не та. Думал даже, может, они газ там какой-нибудь в воздухе распыляют. И персонал такой... Вернулся я через две недели и ожил. Спортом занялся, а то противно было в зеркале тушу эту каждый день наблюдать, с женой при встрече перестал собачиться, дочку из садика стараюсь почаще забирать, а не только по выходным на аттракционы ходить. Пить совсем не перестал, но как-то здоровее это дело стало, больше в кайф и без продолжения. Поэтому и лететь за границу согласился. Работу-то я люблю свою, хочется совершенствоваться, что-то новое делать. Тогда почву под ногами начинаешь чувствовать, смысл появляется. Ну, ты должен понимать, ты же хороший специалист, я знаю, вместе всё-таки начинали. Так к чему я всё это? Ещё раз повторю, я тебя не собираюсь учить жить, но ты, чувак, плохо выглядишь. Потребляешь, я понимаю, но не только в этом дело. У тебя в глазах что-то не то. Бардак в квартире можно убрать, но внутри так просто не разгребёшь. Тебе нужен отпуск от себя, от самого себя, понимаешь? Перестать ненадолго ходить по одним и тем же улицам, в одно и то же время говорить с одними и теми же людьми. Отоспаться, посидеть на скамейке и просто посмотреть на прохожих. Вылезти из этого кокона. Убегать от себя неправильно, когда находишься на своём месте, делаешь своё дело, а так... Серьёзно, съезди туда, хуже не будет в любом случае».

Они ещё долго сидели и один раз ходили в магазин. Разгорячившись, Эмиль обещал, что обязательно последует данному совету, и взамен получил визитку, которую тут же сунул в карман, «чтобы не потерять». Александр ушёл далеко за полночь. Эмиль закрыл за ним дверь, по инерции бормоча, что ещё наберёт друга до его отъезда, доплёлся до кровати и, не раздеваясь, рухнул на покрывало. Несколько часов тяжёлого



сна совершенно его не освежили, а мысли о предстоящем рабочем дне в офисной каменоломне вращались в голове, усиливая тупую боль. Около восьми Эмиль покинул своё ложе, между делом вспомнив, что уже больше недели спал, не стеля постельное бельё. Шлёпая босыми ногами по холодному паркету, он добрался до кухни, взгромоздился на табуретку и закрыл окно. Инспекция холодильника несколько подняла его настроение – вдвоём с Александром они не потребили и половины принесённых продуктов, так что едой Эмиль был обеспечен на несколько дней вперёд. Особого аппетита не было и слегка мутило. Эмиль соорудил себе пару бутербродов с дорогой на вид колбасой и отправился в комнату запивать их крепким кофе. Он подумал о сигарете, но, взглянув на переполненную пепельницу, решил повременить хотя бы до работы. Жуя несвежий хлеб, он натягивал одежду под бормотание телевизора. Уровень ВВП падал, но в будущее нужно было смотреть с оптимизмом, тем более что приближался большой церковный праздник, детские мультики как всегда угрожали несформированной психике, а певицы в клипах привычно стремились обнажиться до самой души. Пообещав себе прибраться в квартире вечером, Эмиль взял сумку и направился в коридор. Следовало ещё позвонить Анне, но об этом, в лучших традициях жанра, можно было подумать позже. Когда он наклонился, чтобы завязать шнурки на кроссовках, из его кармана упал мягкий прямоугольник. Эмиль вспомнил ночные обещания и потянулся к визитке с намерением выбросить её по дороге. Уже стоя у двери, он вдруг подумал об Александре, его непривычно серьёзном лице, о том, как сплюснулся окурок в пепельнице. Повинуясь неясному импульсу, он бросил кусочек картона на тумбочку, открыл дверь и выпихнул себя в жизнь.

## ГОЛОВА ШЕФА

Поэты утверждали, что осень была временем раздумий и созерцаний. Глядя на сограждан в утреннем автобусе, Эмиль сомневался в справедливости сентенции. Что, например, могла дать вечности старушка, неодобрительно смотревшая на его запачканные кроссовки? Налившаяся юношеской свежестью девушка, подпиравшая дверь, на этом фоне выглядела несравненно привлекательнее. Впрочем, и ей непросто было бы стать музой любителя изящной словесности, слишком уж агрессивно обтянутые джинсами бедра вдавливались в металлическую поверхность. Ближе всего Эмилю был мальчик у окна. Лет одиннадцати, упакованный в нелепую школьную форму, он тупо наблюдал проплывающий за стеклом индустриальный пейзаж. Грузная дама рядом, по-видимому, мать, непрерывно что-то вещала, заставляя колыхаться обвисшие щёки. Речь, вне сомнения, шла об убогих результатах в школе, нежелании помогать по дому и прочих непоэтичных занудствах. Мальчик, к его чести, совершенно не реагировал на внешние раздражители. Знающий человек рассказал бы, что за грязным стеклом он видел переживший апокалипсис мир, по руинам которого бродил, собирая необходимые для выживания вещи и шёлкая компьютерной мышью. В душе Эмиль сопереживал юному сталкеру и желал ему успеха в нелёгком пути.

Внезапно остановившийся автобус заставил Эмиля прервать внутренний монолог. Вместе с сакраментальным «Вы выходите?» он скатился по ступенькам, оказавшись на задрапированной рекламными щитами автобусной остановке. Реклама предлагала попробовать пресловутое средство против похмелья. Эмиль поморщился и закурил. Дым наполнил лёгкие, и голова заболела ещё сильнее. Здание офиса находилось через дорогу от остановки. На вывеске над входом схематичный человечек погружался в огромный компьютер. Эмиль в очередной раз подумал о зондировании желудка и ступил на проезжую часть.

В офисе, как всегда, было прохладно и стерильно, тоскливо гудевший кондиционер гнал волны искусственного воздуха. Секретарша Лина, распространяя приторный запах духов, имитировала бурную деятельность на рабочем месте.

– Привет, – механически озвучил Эмиль.

– Да, привет, короче, тут миллион дел. Эта фигня виснет через пять минут, текст неровный, а ещё шеф просил тебя зайти, вообще, ему пора как-то разбираться, эта дура к нему намертво присосалась, но шефинья-то тоже не идиотка, впадает ему иск, и полетит контора на фиг, а зарплата такая на дороге не валяется. Короче, ты понял, работы валом, так что на пирожок не рассчитывай.

– Понял, – Эмиль бегом пересёк холл, ввалился в свою каморку и с размаху рухнул в кресло. Упогодившись типу на утреннем плакате, он свесил руки, почти доставая пальцами до пола. На нормальный язык спич Лины переводился приблизительно следующим образом: «Недавно установленная программа некорректно работает, дура-секретарша не в состоянии выровнять с превеликим трудом набранный текст аж на две страницы, шефу срочно требуется достать из сети несколько модных фильмов». Просматривать их он собирался в компании присосавшейся к нему любовницы, отношения с которой особо не скрывал,



за что Эмиль его по-своему уважал. Упомянутая шефиня, сиречь жена, прекрасно знала об адюльтере, вероятно, сама была не безгрешной и в любом случае не собиралась прикрывать фирму, работавшую с иностранными клиентами и приносящую определённый доход.

Носком кроссовка Эмиль нажал на кнопку запуска компьютера. Монитор приветливо замигал, демонстрируя логотип сетевой игры, в которой все сотрудники фирмы пропадали, не будучи занятыми идиотскими поручениями шефа. Через каких-то две минуты Эмиль уже созерцал свой багаж. Оружие, лекарства и прочий скарб были аккуратно разложены по соответствующим ячейкам. Если бы кто-то спросил Эмиля, почему он не соблюдал подобный порядок в своей квартире, он бы пустился в пространные рассуждения о бытии и сознании. Сорок минут прошли в попытках достичь очередного уровня, а затем лежавший на столе телефон начал истерично вибрировать. Эмиль встал и отправился ликвидировать бреши в корпоративной стене. Столь необходимая для процветания компании программа только начала подавать признаки жизни, как Лина зацвела пунцовым, выдала пулемётную очередь в трубку и объявила Эмилю, что шеф засыхает без порции новинок киноиндустрии. Мысленно прощаясь с искалеченным ядерным взрывом миром, маститый системный администратор отправился на ковёр.

«Я тебя неделю назад просил сделать мне диск с фильмами, – лысина шефа всегда багровела, вне зависимости от того, вёл ли он переговоры с инвесторами или требовал от своего раба выпрыснуть ему очередную дозу сетевых утех. – За что я тебе плачу зарплату? Приходишь в джинсах, без рубашки, про галстук я вообще молчу. Сколько раз можно говорить об имидже компании? Хорошо, ты, типа, специалист, всё делаешь, на что-то можно закрыть глаза, но я не собираюсь терпеть, когда работник не выполняет прямых указаний начальника».

Наученный опытом Эмиль совершал размеренные перемещения с ноги на ногу, ожидая конца экзекуции. Получив положенное внушение, он с наслаждением закрыл за собой дверь, подарил Лине изуверскую ухмылку и отправился выполнять полученный заказ. Несколько минут спустя, созерцая иконку загрузки искомого файла, он расслабился в кресле и начал моделировать сюжет.

Сюжетами рассказов Эмиль баловался не один год, никогда не воплощая их в текстовом виде. Он не был против славы сетевого писателя, не видя при этом смысла тратить время на графоманию, коей немало навидался в процессе компьютерных путешествий. Сегодня он представлял себя юным гением, вынужденным прозябать за скромную зарплату, постоянно насилуемым начальническими маразмами и тупостью сотрудников. В какой-то момент гений, не выдержав свалившегося на него груза бессмыслицы, являлся в кабинет шефа и с наслаждением лупил последнего тяжёлой папкой по яйцеобразной голове. Засим следовали грандиозный скандал, порицание общественности, треск и увольнение. Освободившийся от тягостных оков вольный художник уходил в закат, рдевший обещаниями великолепного будущего. Когда необходимые файлы заняли своё место на жёстком диске компьютера, Эмиль сбросил их на переносной носитель, который вручил Лине, в душе радуясь возможности лишний раз не вступать в контакт с властью имущими. До конца дня он решал вопросы в духе «Эта штука не хочет выезжать» и ждал шести вечера. Когда наступило очередное затишье, он неожиданно подумал об Александре. Лицо друга, постаревшее, в ранних морщинах, явилось ему с удивительной ясностью. «Съезди туда, хуже не будет», – сказал тот. В звучавшем голосе был дискомфорт, утверждение, и Эмиль внезапно поморщился. «Что-то ты, чувак, мудришь», – процедил он и щёлкнул левой кнопкой мышки.

## ОЖИДАНИЕ ПРОДАВЩИЦЫ

Эмиль вышел из автобуса и тут же поднял воротник куртки. Моросило, дул гнусный холодный ветер, в сгустившихся сумерках на дороге к дому не было ни души. По бетону баскетбольной площадки катились мокрые клочья газеты – перекасти-поле каменных джунглей. Если верить зарубежным фильмам, вскоре из канализационных люков должен был повалить пар, а потом затрещат молнии, знаменующие появление пришельцев из будущего. Эмилю не хотелось сталкиваться с запрограммированными на убийства киборгами, и он ускорил шаг. Кроссовки, мгновенно впитавшие влагу, жалобно хлопали. Через несколько минут Эмиля ждало испытание магазином. Мысли о выпивке проявились ещё в начале рабочего дня, и по мере того, как время ползло вперёд, желание усиливалось. Эмиль почти физически чувствовал тепло, появляющееся в желудке после первого глотка. Перспективу провести вечер у монитора в алкогольном блаженстве изрядно портили мысли о следующем утре. Он слишком хорошо знал себя и не строил иллюзий, что всё ограничится двумя-тремя рюмками для снятия абстинентного синдрома. Эмиль настолько погрузился в рефлексии, что очнулся лишь у прилавка, куда автоматически привели его ноги. Продавщица,



средних лет дама с короткими выбеленными волосами, хорошо знавшая покупателя, выжидающе смотрела.

«Ээ, добрый вечер, – протянул Эмиль, растягивая гласные. – Мне эээ...».

Поймав растерянный взгляд покупателя, продавщица кивнула головой в сторону отдела спиртных напитков, и это сыграло решающую роль. «Сигареты», – выпалил Эмиль, ткнув пальцем в лежащие под стеклом пачки. Продавщица с удивлением на лице стала доставать требуемое. Эмиль расплатился и едва ли не бегом покинул магазин. В какой-то момент ему стало стыдно от осознания того, какие ассоциации он вызывал у продавщицы, но положиться полностью на это чувство он не мог, предпочтя побыстрее убраться от греха подальше. По пути до дома он сожалел о покупке. Не будучи скрягой, порой Эмиль был подвержен необъяснимым приступам мелочности, и мысль о том, что сигареты всё равно пришлось бы скоро покупать, не служила ему утешением. В который раз он подумал о том, что в юности всё было проще и легче. Никто не переживал по поводу потраченных под влиянием импульса денег, не просыпался с похмелья задолго до звонка будильника, не испытывал дискомфорт, разговаривая с девушками. Общение с последними укладывалось в несложную схему – ты увлекался, влюблялся, порой объект вожделения отвечал взаимностью, порой нет. Во втором случае разочарование можно было залить в компании друзей, при благоприятном же исходе наступала эйфория. Длилась она, как правило, недолго, после чего следовало отрезвление. Кому-то приходилось инициировать разрыв. Эмиль редко оказывался в этой роли. Он не любил брать дело в свои руки и чаще всего ждал, когда очередная подруга озвучит ему своё нежелание продолжать отношения. Эмиль был искренен в своих увлечениях и не оставлял девушек без помощи и поддержки, но когда первоначальное возбуждение спадало, он пасовал, не понимая, как существовать в мире повседневности.

В квартире он разложил на батареях мокрую одежду, туда же пристроил кроссовки на газете. Пока замороженные полуфабрикаты разогревались, телевизор выдавал в эфир накопившуюся за день информацию. Террористы стреляли и взрывали, медийные персонажи обнажались на журнальных страницах, ВВП стабильно падал, но в конце пути всех ожидал заслуженный рай на небесах. Проглотив ужин, Эмиль заставил себя кое-как вымыть собравшуюся за несколько суток посуду. Он открыл окно, чтобы немного проветрить наполненное застоявшимся воздухом помещение, вытряхнул на лестничной клетке покрывало и даже прошёлся тряпкой по попадавшимся по пути поверхностям, не глядя, впрочем, что конкретно он вытирал. Прямоугольник, лежавший на тумбочке в прихожей, зацепился за ворсинки тряпки и второй раз за день предстал глазам любителя чистоты. «Заговор какой-то, сто процентов», – прокомментировал ситуацию Эмиль. Мог получиться неплохой сюжет, что-нибудь о тайных правительственных организациях или инопланетянах, внедрявшихся в сознание обывателей посредством распространяемых ими визиток. Утомлённый мозг не обрадовался перспективе задействовать творческие ресурсы, и Эмиль направился к компьютеру. Развалившись в кресле, он зашёл в сеть и, наконец, рассмотрел визитку. В центре была сделанная с воздуха фотография – группы домиков, сад, спортивные площадки, всё, что описывал Александр. В углу располагался логотип комплекса – три зелёных листика на белом фоне, освещённые солнечными лучами. «Дом солнца», – гласила надпись внизу. Кроме самого названия и адреса страницы в сети, на визитке не было больше никакой информации, вроде завлекательных рекламных текстов и уверений в духе «Мы меняем жизнь», что также соответствовало словам Александра. Не было там и изображений омерзительно счастливых семей, накачанных отцов, мамаш с натянутыми улыбками до ушей и неестественно выглядевших детей. Логотип напомнил Эмилю значок радиационной опасности. Он грустно улыбнулся, подумав о том, как глубоко въедается в ткань жизни саркастическое отношение к самым естественным вещам. Скорее бессознательно Эмиль набрал указанный сетевой адрес. Страница производила весьма благоприятное впечатление, было видно, что делали её профессионалы, стремившиеся создать надлежащую атмосферу без кричащих внешних эффектов. Эмиль прочитал, что комплекс занимал территорию в два квадратных километра. Находился он на островке, который соединял с близлежащим городом мост над рекой, использовавшийся как пешеходами, так и водителями транспорта. Земля и все постройки принадлежали мэру города, в прошлом известному банкиру. Испытывавший неприязнь к представителям власти Эмиль мрачно поскрёб щёку и продолжил чтение. Гостям предлагалось посетить выставку картин, предаться медитации, разглядывая каменные скульптуры, заняться спортом или просто гулять, наслаждаясь пейзажем и чистым воздухом. Всё было изложено простым языком, без пафоса и ненужных красивостей. Закончив чтение, Эмиль перешёл к разделу фотографий. Когда, наконец, он оторвал глаза от монитора, стрелки часов подползали к одиннадцати. «Да что же это такое?!», – затряс головой Эмиль и бросился к телефону. Хриплый голос ответил ему после седьмого гудка.



– Привет, слушай, ты извини, я тут немного во времени потерялся, нашёл одну интересную штуку, засмотрелся, расскажу тебе обязательно.

– Блин, какая штука, я только уснула, – тон Анны не предвещал ничего хорошего. – Опять за своими игрушками полночи сидишь, а потом трезвонить начинаешь.

– Ну ладно, я же извинился, просто действительно интересно, сам не...

– Короче, я сейчас информацию воспринимать не могу, – отрезала Анна. – Расскажешь при встрече, если захочешь. Мне тоже есть что тебе сказать.

– А, ну хорошо, – не слишком маскируя радость от возможности завершить неприятный разговор, проговорил Эмиль. – Когда увидимся?

– Давай завтра, чтобы не затягивать. В семь сможешь у меня быть?

– Без проблем.

– Тогда всё, давай, пойду снова засыпать, если получится.

– Да ну, конечно...

Несколько секунд Эмиль слушал гудки в трубке, а потом нажал на кнопку разъединения вызова. Он залез под душ, почистил зубы, ликвидировал заросли щетины на лице и даже постелил на диван бельё. Клонило в сон. Перед глазами всё ещё стояли изображения на фотографиях – яркие, живые, будто вырезанные из реальности и наклеенные на бумагу. «А может, действительно взять отпуск?», – пронеслось в голове, и Эмиль провалился в чёрную пропасть.

## КОНЕЦ ФЕСТИВАЛЯ

Поднимаясь по лестнице, Эмиль думал о неизвестном художнике, изобразившем на стенах сцены из народных сказок. Люди и животные, объединив усилия, тащили из земли гигантский овощ, лягушка помогла выбраться застрявшему в камышах волку, крестьянин угощал богача похлёбкой. Всё было ярко, с улыбкой и ненавязчиво. Эмиль много рисовал в детстве, даже посещал художественную школу. Там его научили воплощать бродившие в голове картинки, и он с удовольствием переносил их на бумагу. Похвалы друзей и восторги девушек, конечно, кое-что значили, но главным было ощущение кайфа, когда перед глазами начинал проявляться образ. В сущности, чья-либо оценка никогда не имела решающего значения. Доведённая до конца задумка, нервное переплетение линий, родившееся среди ночи, приносили настоящее удовлетворение. На просьбы пассив о портрете Эмиль привык отвечать отказом, всякий раз вспоминая несколько сотворённых собой уродцев. Разрисовавший стены художник работал, возможно, не бесплатно, но дело своё явно любил. Эмиль подмигнул синему слону, улетающему в небо на связке воздушных шаров, и нажал на кнопку звонка.

– Заходи, – Анна отодвинулась, пропуская Эмиля внутрь, уклоняясь от дежурного поцелуя. На кухне в ярком электрическом свете искрилась до блеска начищенная посуда. Анна вошла и облокотилась на плиту. Эмиль вдруг увидел, как она устала. Плечи уходили вниз, скулы заострились.

– И что ты хотел мне рассказать?

Эмиль вздохнул и рассказал о «Доме солнца». Увлёкшись, он даже забыл попросить пепельницу, что, впрочем, изначально не имело смысла. Анна не терпела табачного дыма в квартире. Он говорил о домиках в солнечном свете, о реке, удивляясь сам себе, распаясь от непривычного ощущения. Он закончил, и его взгляд стал выжидающим. Анна качнулась вперёд и опустила на стул возле Эмиля.

– Это хорошо, что ты решил куда-то поехать. Здорово. Езжай, тебе нужно отдохнуть, – Эмиля дёрнуло дежа вю, оставив неприятное послевкусие. – Но поедешь ты один. Честно, я очень устала. Нам обоим за тридцать, поздно уже играть в эти игры. Ты не предлагаешь мне жить вместе, но дело не в том, я сама не хочу так. У нас всё по плану: работа, ты приезжаешь, по пьянке зовёшь съехаться, но я не ведусь. А не ведусь потому, что мне не нравится. Ты взрослый человек, и непонятно, что с собой делаешь. Хорошо, поваялись мы вместе, позавтракали, посмотрели фильм, а дальше что, ты спрашивал? Куда мне идти с тобой? Услышь, я женщина, у меня возраст, мне нужна определённая, и я не понимаю, как ты всё это видишь.

– Ладно, – голос Эмиля, забежав по кухне, набрал силу, – мы не говорили об этом, как-то не получалось. Но зачем, зачем так сразу, можно же обсудить, продумать. Мы же не встречаемся у меня дома, потому что я не хочу. Просто я не представляю себе это. Вот мы видимся, разговариваем, смотрим кино, если кого-то что-то не устраивает, хочется побыть наедине с собой, не проблема, расходимся по квартирам. Представь, если круглые сутки сидеть друг у друга на голове, какой будет ад.

– Видишь, ты же сам всё понимаешь и даже озвучиваешь, – Анна положила руки на столешницу и упёрлась в них подбородком. В кухонном свете её лицо стало суровым и обречённым. – Ты сам понимаешь, что жить вместе мы не сможем. Так какой во всём этом смысл? – Она перешла на шёпот. – У меня тоже есть желания, может, я детей хочу, что у нас получится с тобой, если ты собираешься расхотеться по квартирам?

Эмиль поперхнулся. Слова не хотели выходить, застряв в горле. Зачем? Сказанное не могло ничего изменить. Анна была права, и в электрическом свете эта правда сверкала всеми гранями. Вцепившись пальцами в столешницу, он поднялся. «Извини», – проговорил он и вынул из-под стола сумку. В прихожей Эмиль натянул куртку, кроссовки и привычно щёлкнул замком. «Не обижайся, – сказала за спиной Анна, – ты же знаешь, что так правильно. Спасибо тебе».

Считая ступеньки, Эмиль поймал себя на том, что не мог обижаться. Он мог чувствовать себя одиноким, не до конца понятым, мог даже записать по этому поводу, но права на обиду не имел. Спасибо Анны стоило дорогого. Год назад они сошлись по нужде, он чувствовал незаполненность, она одиночество. Встречались они только у неё. Несколько раз побывав в жилище Эмиля, Анна предпочла ограничиваться свиданиями на своей территории. Эмиль воспринял это с облегчением. Иногда по ночам он думал об Анне, осознавая всё, что не мог ей дать, всё, чего ей так хотелось. Боязнь пустоты, с детства сидевшая в груди, мешала прервать отношения, расписаться в собственном эгоизме. Тем не менее, он старался, старался, преодолевая вязкую, годами копившуюся инерцию, старался без всякой надежды. Эмиль добрёл до автобусной остановки, двадцать минут покачался в неудобном салоне, собрав волю в кулак, миновал магазин. Под ровное гудение компьютера он пил чай, обрекая себя на бессонницу, размышляя о жизни. Решение, как это часто бывало, пришло к нему спонтанно, и он не мог удержаться.

– Привет.

– Сынок, здравствуй, почему так поздно, что-то случилось?

– Нет, нет, всё в порядке, вот решил внезапно отпуск взять. Съезжу на природу, там туркомплекс есть один, недорого, речка, всякие развлечения на воздухе. Отдохну, да и город от меня недели две.

– Ой, я так рада, поезжай, конечно, а Анночка с тобой будет?

– Ещё не решили, – поморщился Эмиль.

– Ну и ладно, – голос матери приобрёл искусственные нотки. Она отличалась от отца, военного, по долгу службы и привычке вынужденного отдавать приказы и распекать. Отец, впрочем, был вполне удовлетворён мыслью о том, что сын мог самостоятельно платить за оставшуюся от умерших бабушки с дедушкой квартиру и не предъявлял финансовых требований. Последние Эмиль даже не рассматривал, зная характер родителя, предпочитая в критических ситуациях обращаться к матери. С ней всё было сложнее и одновременно ближе. Она просто и безыскусно посвятила жизнь семье, приняв офицерскую прямооту мужа, не стараясь вникнуть в сыновние блуждания по внутренним лабиринтам. Ей казалось, что семья венчала прямую человеческой жизни, эту мысль она всячески пыталась донести до Эмиля, стараясь при этом соблюдать пристойную в её глазах дистанцию. Всё могло начаться с «хорошей девочки», но если сын не проявлял интереса, в итоге питание выключалось, и пресс возвращался в исходное состояние.

– Мам, я тебе уже по факту всё расскажу, много чего решить надо, – Эмиль попрощался и положил телефон на стол. Он знал, что был плохим сыном, не в понимании большинства, но для себя. Быть хорошим, по-настоящему хорошим, означало любить. Любовь не имела ничего с религиозными разглагольствованиями, ощутить другого как себя не получалось. Тем не менее, Эмиль верил в возможность сопереживать родным, увлечённым схожими интересами людям, женщине, которую обнимал. Так чувствовали люди в книгах, а значит, подобное когда-то имело место и в реальности. По утрам, созерцая тычущего в него пальцем бога, Эмиль думал об этом. Он опять долго изучал фотографии, а потом набрал номер. Несмотря на полночь на часах, Александр почти сразу ответил на вызов.

– Привет, я решил поехать. – У Эмиля не было сил желать другу счастливой дороги, и он начал с главного.

– Я рад, чувак, – как всегда бодро и торопливо озвучил Александр. – Я, знаешь, надеялся. Приплёшь потом отчёт, ты мне всё-таки должен. В общем, потом разберёмся. Не теряемся, жду новостей.

Александр исчез так же быстро, как и изъяснялся. Эмиль постелил на диван бельё, думая об Анне. Ему хотелось пить и плакать, но он держался. На следующий день он поговорил с шефом. Последний произнёс предсказуемо долгую речь, но, в конце концов, дал разрешение взять отпуск. Эмиль заказал билеты на поезд и зарезервировал номер в одном из домиков. Оставшееся время до отъезда, три дня, он отлёживался, одновременно борясь с желанием устроить прощальный фестиваль. Внутренние противоречия выматывали организм, и на пике Эмиль уснул не тронутым алкоголем сном.





## ПЛАКАТНАЯ УЛЫБКА

Как подавляющему большинству представителей мужского пола, Эмилио хотелось бы видеть в качестве попутчиц одетых в шорты девушек, стройных и не обременённых комплексами. Возраст, впрочем, давно уже не позволял верить в сказки, да и купейное соседство трудно было назвать неприятным. Эмиль из вежливости откликнулся на предложение пожилой семейной пары разделить с ними трапезу в пластиковых контейнерах и не без труда отказался от коньяка в пузатой бутылке, которую вытащил из портфеля профессорского вида мужчина с бородкой. С наступлением темноты Эмиль занял место на верхней полке. Ночью он несколько раз просыпался, разбуженный попадавшим в окно светом фонарей на платформах, и вспоминал старушек, в дневное время предлагавших путешественникам нехитрую еду и вино. Выйдя на платформу, Эмиль сощурился. Полуденное солнце, чувствуя приближение зимы, пыталось напоследок выложиться по максимуму. Деревья на бульваре за зданием вокзала радовали глаз золотом, небо ярко синело, дул слабый тёплый ветер. Казалось, слякоть и серость родного города остались в тысячах километрах за спиной. Эмиль поискал глазами автобус, который должен был ждать его на привокзальной площади. Гостям «Дома солнца» предлагалось сообщить дату и время своего прибытия в город, и тогда за ними присылали транспорт, чтобы помочь добраться до комплекса. Эмиль подумал, что, учитывая умеренную стоимость проживания в «Доме», дела у местного мэра шли неплохо. Последний и сам не замедлил появиться, подобно дьяволу из поговорки. В лёгких брюках и рубашке с расстёгнутым воротником, мэр улыбался, сфотографированный на фоне окружавших город гор. Надпись утверждала, что власти заботятся о природе родного края. На привокзальной площади было чисто, но Эмиль не привык доверять лозунгам. В который раз он подумал об иллюзиях, в которых пребывали люди. Из страха смерти они выдумали бога, а потом переложили на него заботы об их здоровье и благополучии. Они считали, что родственные узы являлись залогом любви и взаимопонимания, и очень удивлялись, когда взаимопонимания не находилось. Политика, добрые дяди и тётки, пекущиеся о своих избирателях, выглядела одной из самых жирных иллюзий. Эмиль не понимал, как можно было верить, что в существующей системе оставалось место искренности. Народный избранник обязательно должен был состоять в браке, посещать церковь по религиозным праздникам, чтить традиции и устои. Его супруга непременно занималась общественной деятельностью и возглавляла какой-нибудь благотворительный фонд. У них были дети, потому что семья занимала одно из первых мест в списке приоритетов достойного гражданина. У них всегда находилось хобби в виде игры на музыкальном инструменте или резьбы по дереву, делая президентов и депутатов ближе простому народу. Как можно было верить во всё это, если даже речи политиков писали хорошо оплачиваемые люди? Как можно было слушать религиозную окоlesiцу, которую они несли? Эмиль не считал себя знатоком человеческих душ, но знал, что люди слабы. Много лет женатый мужчина не мог не заглядываться на улице на женщин. Это не значило, что он изменял супруге, но от желаний плоти уйти не получалось. Таким человека сделала природа, церковники же объявили сами помыслы о грехе грехом. Порой Эмилио хотелось крикнуть в лицо попам, что их творец плохо выполнил свой план. Он создал человека таким, каким тот был, а потом потребовал от него стать другим. Политиканы, видимо, были сверхлюдьми, по крайней мере, если им верить, их не терзали искушения простых смертных. Эмиль не верил улыбке мэра.

Так или иначе, но обещанный автобус ждал в назначенном месте. Водитель, молодой человек, не похожий на привычных небритых здоровяков за рулём, попросил у Эмиля документы. Сверившись со своими записями, он пригласил нового гостя «Дома солнца» в салон. Внутри сидели ещё два человека, средних лет мужчина и женщина, по-видимому, супруги. Эмиль поздоровался, и они улыбнулись в ответ. Пройдя вглубь автобуса, Эмиль занял заднее сиденье у окна. В транспорте, если была возможность, он старался сесть как можно дальше от остальных пассажиров. Эмиль не считал себя мизантропом, но скопления незнакомых людей не вызывали у него восторг. Некоторые из этих людей имели привычку обращаться к другим с вопросами, а иногда рассказывать о своей жизни. Наверное, им казалось, что им было что сказать миру. Эмиль такой уверенности не имел. Ему совершенно не хотелось доказывать миру, что он достойный человек, хороший специалист и потенциально ценный член какой-нибудь команды. Эмиль не хотел быть частью команды. Он отнюдь не считал, что жил правильно, зная о своих недостатках, ощущая инерцию, душевную лень, мешавшую изменить жизнь. Стремиться к идеалу означало ежедневную борьбу с собой, непонимание, даже отторжение окружающих. Быть достойным человеком значило стать менее человеком, подавить в себе многие желания и слабости. У Эмиля был один нравившийся ему сюжет. Юноша, пережив любовные разочарования, столкнувшийся с равнодушием и глупостью, задумал



искоренить в себе всё человеческое. Он перестал вступать в физическую близость с женщинами, лгать, держал любое, данное другим или себе обещание. В конце концов, жизнь решила сломать наглеца, дерзнувшего пойти против своей природы, и начался неравный бой. Эмиль понимал, что точно не выдержал бы сражения. Ему приходилось встраиваться в жизнь, отфильтровывая её, приспособляясь. Работать под началом многословного шефа, в обществе глупенькой секретарши было проще, с ними можно было оставаться собой, ходить в мятых джинсах и не делать приличествующее случаю лицо. Александр вряд ли мог позволить себе это в его компании.

Эмиль внезапно подумал о паре на сиденьях перед ним, вероятно, прибывших тем же поездом, что и он. Ему вспомнился фантастический рассказ об отеле для самоубийц. Туда приезжали люди, решившие свести счёты с жизнью, но боявшиеся сделать это самостоятельно. В какой-то момент, постояльцам не было известно, когда это произойдёт, в их комнаты подавался ядовитый газ, и люди тихо умирали во сне. Главный герой рассказа, потерпевший финансовый крах, познакомился в отеле с женщиной, вернувшей ему смысл жизни. Влюблённый и счастливый, он договорился уехать с ней. После разговора с гостем управляющий отеля вызвал к себе женщину и поблагодарил за хорошую работу. «Именно в том и состоит гуманность моего метода. Бедняга мучился сомнениями религиозного порядка. Я его успокоил», – сказал он. Эмиль представил, что пара в автобусе на самом деле любовники, вместе они спланировали и осуществили убийство супруги мужчины. Её призрак стал являться им по ночам, и, доведённые до безумия, они отправились в «Дом солнца», аналог отеля из рассказа. Тем временем автобус проехал вдоль бульвара, повернул направо и покатил по застроенным каменными домами узким улицам. Городу было несколько сотен лет, и старина, сопротивляясь веяниям времени, не исчезала из его пор. Пять минут спустя автобус ещё раз повернул, и Эмиль забыл об отелях и женоубийцах. Тёмная вода реки тяжело перекачивалась в солнечных лучах, медленно двигаясь, как гигантский водный ящер. Мост разделял две полосы для транспорта, по бокам оставались пешеходные зоны. Движения на мосту не было, он был пустынен, и Эмилю показалось, что так и должно быть. Из окна остров казался красно-жёлтой заплатой на тёмном фоне, он весь порос деревьями, в массы которых вкраплялись здания и площадки. Автобус остановился у ворот с изображением уже знакомых Эмилю освещённых солнцем листиков. Водитель открыл двери и предложил помочь гостям донести их багаж. Пара и Эмиль отказались. «Простите, подвезти ближе не могу, здесь у нас исключительно пешеходное пространство, никаких выхлопов, – улыбнулся молодой человек. – Вам прямо по аллее, здесь недалеко, минуты три. Желаю хорошо отдохнуть». Автобус развернулся и вновь отправился в краткое путешествие по мосту. Пара зашагала по аллее, Эмиль двинулся за ними, сохраняя дистанцию. Дышать чистым воздухом, слушать шелест увядающей листвы, неторопливо шагать по дороге было наслаждением. Эмиль попытался вспомнить, когда в последний раз проводил несколько дней вне города, не считая нечастых попок с компанией на лоне природы. Наверное, это было ещё в детстве, когда с родителями он ездил в их загородный домик. Аллея привела гостей к площадке, застроенной деревянными двухэтажными зданиями. Вывеска на одном из них сообщала, что там располагалась приёмная «Дома солнца». Из описаний в сети Эмиль знал, что внутри происходила регистрация посетителей. В приёмной было просторно и тепло, в камине возле деревянной стойки потрескивал огонь. «Камин!», – внутренне удивился Эмиль, оценив нестандартное решение. Пока пара улаживала формальности с девушкой за стойкой, Эмиль сидел на диване, откинувшись на мягкие подушки. Несостоявшиеся любовники-убийцы получили ключи и вышли из приёмной. Проходя мимо Эмиля, женщина вновь улыбнулась ему.

– Добрый день, приветствуем вас в нашем доме.

Девушка за стойкой была одного с Эмилем роста, худой, бледнокожей, с очень тёмными глазами и такими же волосами до плеч, стянутыми в хвост. «Глория», – значилось на приколотом к белой блузке бейдже.

– Спасибо, – Эмиль протянул документы и распечатку, подтверждающую резервирование номера. Он не любил стандартные тексты разнообразных магазинных консультантов и офисных работников, опасаясь, что когда иссякнет заученная информация, они окажутся просто не в состоянии говорить на обычном языке.

– Надеюсь, вы хорошо добрались.

– Вполне. У вас здесь красиво, не замечаешь дорогу. – Эмиль запоздало удивился выскочившим у него словам, совершенно для него непривычной фразе. Во взгляде девушки, в её улыбке он прочитал нечто большее, чем дежурный интерес, что-то, заставившее его озвучить свои эмоции.

– Да, здесь действительно очень красиво. Надеюсь, вы останетесь довольны вашим отдыхом. Если хотите, я могу рассказать вам, что мы предоставляем нашим гостям.



– Благодарю, я читал информацию в сети, но если возникнет необходимость, обязательно к вам обращусь.

– Прекрасно, обычно в это время я дежурю здесь, в семь меня сменяют, – Глория протянула Эмилю ключ с железной биркой. – Ваш номер 19, это в четвёртом домике, я могу вас туда проводить.

– Нет, спасибо, я найду сам.

– В таком случае, приятного отдыха и ещё раз добро пожаловать.

Эмиль с сумкой на плече вышел из приёмной. В домике с табличкой с номером четыре он поднялся по лестнице на второй этаж. Винного цвета ковры лежали на деревянных полах, на стенах в рамках висели карандашные рисунки, натюрморты и пейзажи, выполненные в мягких пастельных тонах. В номере он положил сумку на пол, вымыл руки и раздвинул шторы, впуская в помещение солнечный свет сквозь большое двустворчатое окно. Несколько минут он постоял у окна, разглядывая скопления деревьев на фоне реки, а потом лёг на кровать. Его клонило в сон. Эмиль подумал, что хороший путешественник первым делом должен ознакомиться с местностью, а потом вспомнил, что приехал отдыхать от себя. Он закрыл глаза и через минуту уже спал в мягком послеобеденном свете.

## ВЕЧЕРНИЕ ЛЮДИ

Когда Эмиль проснулся, за окном уже ступили сумерки. Оцепенение, тяжёлая апатия, спутница послеобеденного дня, навалилась на него, едва разлепившего веки. Забытое ощущение радости, прогулка по тихой аллее, речная свежесть остались где-то позади, там, куда уходит всё, ещё совсем недавно будоражившее и заставлявшее сердце биться быстрее. Поездка вдруг показалась ему бессмысленной авантюрой, последствием эйфории, неожиданно ворвавшейся в жизнь после долгого перерыва. Эмиль повернулся на бок. Некоторое время он боролся с желанием покинуть номер, пешком, через мост добраться до незнакомого города, в первом попавшемся магазине купить плоскую бутылку и жадно глотать обжигающую жидкость. Через полчаса он спустил с кровати ноги, посидел и пошёл в ванную. Там он долго бросал в лицо горсти холодной воды, пока туман в голове не начал понемногу рассеиваться. Эмиль вернулся в комнату, разобрал сумку, разложив по полкам вещи, потом снова зашёл в ванную. Из зеркала на него смотрели покрасневшие после сна глаза, он видел ранние морщины и начинающие отступать волосы. Причесавшись и непривычно тщательно почистив зубы, Эмиль задумался о том, как собирался провести вечер. Осматривать местные достопримечательности смысла в темноте, конечно же, не имело, перспектива отлёживаться в номере почти пугала. Электронные часы, встроенные в прикроватную тумбочку, показывали начало седьмого. Питание в «Доме солнца» входило в стоимость пребывания, и Эмиль рассудил, что мог отправиться в бар, учитывая вполне подходившее для ужина время.

Ветер снаружи окреп, в воздухе чувствовалась осень. Стемнело, и на небе стали проявляться звёзды, светила влюблённых, поэтов и одиноких путешественников. Бар оказался прямоугольным деревянным зданием, с верандой, где в более тёплое время, несомненно, ставили столики. Там тоже горел в камине огонь, навеяв мысли о тавернах, тушах на вертелах и шипении жира. Негромко играла музыка, что-то без слов, в неярком свете светильников на стенах две пары двигались в такт мелодии. В одной из них Эмиль узнал своих спутников из автобуса. За столиком в дальнем углу сидел пожилой полный мужчина, увлечённый ужином, в другом углу расположилась компания из нескольких человек. Они вполголоса смеялись, бросая кубики на доску для какой-то игры. За стойкой невысокого роста очень худой мужчина колдовал над кофейными чашками.

– Добрый вечер.

– Здравствуйте, – мужчина поднял глаза. На вид ему было чуть больше сорока, но коротко стриженные волосы отливали сединой.

– Я сегодня первый день здесь, пока ещё не представляю, как у вас тут всё устроено, решил начать с ужина.

– Вполне разумное решение для человека с дороги, – бармен улыбнулся, и Эмиль подумал, что такая улыбка не могла не нравиться женщинам. – Присаживайтесь, Анна сейчас принесёт вам меню.

На мгновение Эмилю показалось, что он прекрасно знал местную официантку. Потом неприятное чувство прошло. Он сел в единственном незанятом углу. Мелодия закончилась, её сменила другая, в похожем ключе. Пара из автобуса вернулась за свой столик, оставшиеся, мужчина в костюме и его спутница в вечернем платье, продолжили танцевать, мягко встраиваясь в новую музыку. Эмиль посмотрел по сторонам. Похоже, здесь не придавали значения связанным с одеждой условностям. «Что ж, ещё один плюс», – подумал Эмиль и подцепил пальцем ворот своего просторного свитера.



– Добрый вечер, меня зовут Анна.

Подошедшая девушка не имела ничего общего с носившей с ней одно имя. Осанка и широкие плечи выдавали в ней поклонницу спортивных занятий. Анна объяснила, что гостям всегда предоставлялся выбор из двух меню. Эмиль вновь приятно удивился, изучил предложенные варианты и попросил принести мясо с овощным рагу. Рыбу он отверг, не задумываясь, с детства относясь к ней с необъяснимой подозрительностью. В разделе напитков, самой собой, не значилось ничего, крепче кофе. Принесся заказ, Анна рассказала, что в баре хранилась неплохая коллекция настольных игр. Эмиль попросил время для размышления и занялся ужином. Только сейчас он осознал, насколько проголодался, проведя весь день в дороге, перебиваясь купленными ещё до отъезда запечёнными в тесте сосисками. Поев и вытерев со лба выступивший пот, он заказал кофе. Среди упомянутых игр оказалась любимая детская забава Эмиля, шашки, в которые можно было играть самому с собой, причём требовалось прилагать немалые усилия, чтобы оба игрока не остались в проигрыше. Эмиля всколыхнул приступ ностальгии, он сделал глоток и наклонился над картонной доской.

Когда он очнулся, счёт был 9:1 не в его пользу, и за столиками не оставалось свободных мест. Остатки кофе в третьей чашке стали тёплыми. Эмиль обвёл глазами зал и увидел знакомое лицо. Глория, повелительница приёмной, озиралась у стойки бара. Словно против воли, не осознавая, что он делает, Эмиль приподнялся и сделал приглашающий жест. Глория подошла, и он ощутил запоздалое недоумение.

– Очень любезно с вашей стороны, сегодня здесь аншлаг.

– Разве обычно по-другому? – Эмиль пододвинул девушке стул.

– Когда как. Бывает, многие допоздна гуляют в городе, там много хороших заведений.

– А зимой к вам приезжают?

– Да, и не меньше, чем в другое время. У нас, знаете, своеобразное место. На первый взгляд, здесь почти нет развлечений, город тоже не богат достопримечательностями. Всё дело в том, что мы стараемся создать для наших гостей особую атмосферу, если хотите, вырвать их из привычной жизни, напомнить, что кроме суеты, спешки есть и другие вещи.

– Вырвать? Звучит как-то...

– Да, согласно, напоминает какую-нибудь секту, – Глория рассмеялась. – Не переживайте. Уверю вас, здесь вам не придётся опустошать банковский счёт и переселяться в келью. Сама я, кстати, атеистка.

Появилась Анна. В руках её не было меню. Глория улыбнулась официантке и подняла в воздух два пальца. Анна кивнула. Номер два. Эмиль понял, что речь шла о рыбе. Предоставив Глории утолять голод в тишине, он задумчиво смотрел в пол. Что-то действительно было не так, не так с ним. Речь шла, конечно же, не о секте и распылённых в воздухе газах. Ему хотелось общаться, разговаривать с этой девушкой, не красавицей, не того типа женщин, к которым его обычно тянуло. У него не было мыслей о близости с ней, ему просто нравилось сидеть, подперев рукой голову, глядя на пятна света на паркете. Может, замысел владельцев «Дома солнца» и состоял в том, чтобы сблизить людей, лишив их привычных развлечений?

– Вам повезло с погодой, – голос Глории вывел Эмиля из задумчивости. – У нас в это время дожди совсем не редкость. Гости иногда спрашивают, почему мы называемся «Домом солнца». Я думаю, потому что мы хотим, чтобы люди чувствовали тепло, даже когда его нет на небе.

– Похоже, вы любите стихи, – прищурился Эмиль.

– Раньше не любила, а сейчас, по крайней мере, пытаюсь их понимать. А вы?

– С прозой мне приходится иметь дело значительно чаще.

– И что же вам нравится из прозы?

Позже Эмиль думал, что это было помутнение рассудка. Он рассказал Глории историю, сюжет, придуманный им много лет назад. В истории известный переводчик и девушка лежали в постели. Переводчик говорил о том, что долгими годами не покидал свою комнату. Он боялся разрушительных эманаций других людей, флюидов, которые проникали в душу, заставляя погружаться в тупость повседневного существования. Он хотел творить и обрёл себя на добровольное комфортное существование. Девушка, с которой он познакомился в сети, стала его первым отступлением от привычного распорядка. В конце истории девушка захлопывала за собой дверь, а переводчик закуривал, не вставая с постели. Эмиль говорил долго, трезвый и вдохновенный, он не подбирал слова, не старался произвести впечатление. Наконец, он закончил. Глория молчала.

– Ну, считайте, это было в качестве примера, – Эмиль внезапно почувствовал себя воздушным шариком, из которого постепенно выпускали воздух. – Мне нравится такой вот гротеск, минимальный,





только для того, чтобы подчеркнуть то, как мы живём. Но никто не знает, как правильно, и от этого ещё интереснее это всё исследовать.

– Автор вы? – Глория смотрела ему прямо в глаза.

– Да.

## СКАЗКИ ЦАРЯ

– Понимаешь, когда его не стало, образовалась трещина. Она пошла вначале по отношениям, потом по работе. Я стал осознавать, что всё это творчество бессмысленно. Ты страдаешь, выливаешь на бумагу свои страдания, другие читают, умиляются, даже сопереживают. Со стороны выглядит романтично, но на деле страдать никто не хочет. К чему тогда литература, что она даёт, чему может научить? И вообще, зачем учить, кто имеет на это право? Терпеть не могу, когда мне рассказывают, как надо поступать, и сам не собираюсь. Вот и всё, работа стала вызывать у меня отвращение. Я больше не пишу. Не просто не пишу, я никому ничего не даю читать из уже опубликованного, не говорю, где печатался, не раскрываю псевдонимов. Но осталось незаполненное место... Наверное, я и приехал сюда, чтобы попытаться хоть как-то его занять.

В номере всё утихло. Циферблат часов светился в темноте синим. Они просидели в баре до самого закрытия. Эмиль не смог сказать Глории, что все сюжеты, рождающиеся у него в голове, там и оставались. Он рассказал, что был профессиональным писателем, публиковался под несколькими псевдонимами в различных изданиях, это позволяло его семье вести более-менее комфортную жизнь. Потом их с женой годовалый ребёнок, долгожданный первенец, умер от вирусного заболевания. Врачи сказали, что жена больше не могла иметь детей. Они начали отдаляться друг от друга, жена впала в депрессию, Эмиль стал попивать. Он всё больше и больше разочаровывался в творчестве, которое не могло спасти от боли в реальном мире. Супруги разошлись. Эмиль бросил писать, вёл затворническое существование, продал остатки накоплений, периодически совершая изнурительные алкогольные путешествия. Ложь цеплялась за ложь, и Эмиль уже не мог остановиться. Глория внимательно слушала. «Зачем вы пересказали мне вашу историю?», – спросила она в конце. «Не знаю, – честно ответил Эмиль. – К тому времени, как я перестал писать, у меня было с десяток задумок, даже больше, и я вдруг решил поделиться одной из них с вами». В полночь бар закрывался. Глория сказала, что в «Доме солнца» было несколько комнат для персонала, в одной из них она нередко оставалась ночевать, если задерживалась и не хотела возвращаться в город. Пошатываясь, Эмиль добрался до номера 19. Там он открыл окно и долго курил. Голова кружилась. Он лёг в постель, но сон не приходил. Ощущение нереальности происходящего не покидало его, и когда раздался стук в дверь, Эмиль вздрогнул всем телом. На пороге стояла Глория. Они долго смотрели друг на друга, потом она перешагнула порог...

– Расскажи что-нибудь о себе, – сказал он, чтобы прервать молчание. Ему не хотелось слов, но лежать вдвоём на одноместной кровати и слушать тишину было невыносимо.

– Вечер откровений, перетекающий в ночь, – казалось, она немного охрипла. – Ты уверен, что тебе это нужно?

– Да, – солгал Эмиль.

– Хорошо. В конце концов, не имеет особого значения, ты всё равно не поверишь. Вот тебе ещё один сюжет. Имя Глория записано у меня в документах, но я его выдумала. В прошлой жизни я жила в богатой семье. Мой отец был финансистом, не из тех, о ком регулярно треплются по телевизору. Всё классически, как в фильмах. Мать жила за границей, с отцом они были в разводе. Она занималась своей жизнью, мной совершенно не интересовалась, я ею тоже. С детства сплошные няни, прислуга. Отца почти не видела и, если честно, как отца не воспринимала. С четырнадцати пошла клубы, тусовки. После школы отец попытался отправить меня учиться за границу. Я выдержала полтора семестра. В смысле дисциплины там всё было очень серьёзно, а я тогда уже привыкла регулярно заливать, плюс некоторые препараты. Ну и ещё один фактор, самый главный, пожалуй, но об этом я не хочу. Вернулась сюда. Был разговор с отцом, наверное, первый серьёзный разговор в моей жизни. Я ему сказала, что поздно начинать проявлять заботу. Он даже особенно не скандалил, захихнул меня в заведение, где в принципе можно было не показываться, и всё пошло по накатанной. Потом я попала в реанимацию, без подробностей, извини. Долго отлеживалась в клинике. Ты знаешь, до этого я не хотела жить, были свои моменты, и всё-таки испугалась. Человек такая скотина, до последнего будет за жизнь цепляться. Кое-как выкарабкалась, задумалась, даже на учёбу ходить стала. Прошло немного времени, и опять накатило, как только сгладилось



всё. Несколько раз крепко присосалась к бутылке. Думаю, до наркоты оставалось совсем немного, и тут у отца случился инфаркт. Представляешь, опять как в кино. Он после этого всего три часа прожил, я с ним даже поговорить не успела, хотя там и говорить-то было не с кем. И вот тогда всё перевернулось. Понятно, он постоянно работал, стрессы, любовницы чего-то хотят, но я подумала – а вдруг он на самом деле меня любил? Не знал, как об этом сказать, не умел, но переживал, и эта моя реанимация его и довела. На похоронах я упала в обморок. Дней десять из комнаты не выходила, думала. К бутылке тянуло страшно, но обошлось. А потом я поехала к Яну. Он мэр этого города, был другом отца. Я его всего несколько раз видела, но как-то отец о нём хорошо отзывался, да и других его друзей я не знала. И Ян мне помог, как ни странно. Я ему озвучила свою идею, он выслушал, сказал, что нужно подумать. Мы ещё раз встретились, кучу всего из моих предложений Ян отверг, но в итоге всё же согласился поддержать. Я понимала, что мне нужно было как-то искупать вину, я бы просто не смогла с этим грузом жить, но не знала, что делать. Благотворительность отменяла сразу. Непонятно, куда на самом деле идут деньги, да и вообще... И тут я подумала: можно ведь устроить такое место, куда бы люди приезжали отдохнуть, за небольшие деньги, и отдохнуть по-настоящему, не так, как я раньше. В общем, Ян помог мне исчезнуть. По официальной версии я уехала за границу. Настоящих друзей у меня никогда не было, мать пыталась наладить связи, из-за наследства, само собой, но я быстро её отшила. Отец всё оставил мне, когда оглашали завещание, я плакала. Ян распоряжается моими деньгами, кажется, его это вполне устраивает. Мне пришлось хорошенько кое в каких вещах разобраться, чтобы понять, не обманывает ли он меня. В первое время я не могла ему полностью доверять, ты понимаешь. Сейчас другое дело. Видимо, они действительно дружили с отцом, редкий случай в их кругу. По поводу «Дом»... Ян занялся материальной стороной, официально владелец он. Я сутками не вылазила из сети, продумывала, вспоминала какие-то убогие фильмы. Честно, я сначала не верила, что из этого может что-то получиться, но останавливаться себе не позволяла. Подбирала персонал, выискивала подходящих людей, ты позже поймёшь, я думаю. Без возможностей и связей Яна это всё, конечно же, было бы нереально. Ян сделал мне новые документы, и со дня открытия я стала работать в приёмной, наблюдаю изнутри, пытаюсь жить. Есть вещи, которые не лечатся и не забываются, ты должен знать, ты же писатель. Так как тебе сюжет, годится для рассказа или, может, повести?

Эмиль сглотнул. Это было достойное завершение дня. Бывший писатель лежал в постели с бывшей звездой тусовок. Зачем ей было придумывать эту дичь? Звучала ли ирония в её последних словах? Эмиль не знал. Ему хотелось отключиться, подумать о произошедшем следующим утром. Он неловко повернулся в кровати.

– Мы ещё увидимся? Как сейчас, я имею в виду...

– Не знаю, всё очень странно. По крайней мере, ты знаешь, что я часто остаюсь здесь на ночь. В любом случае, проснёшься ты завтра один. Смена начинается в восемь. Не хочу никаких разговоров, здесь, как ты уже понял, я для другого.

– Конечно. Но если вдруг нас опять занесёт, предлагаю следующее, – Эмиль снова ощутил, что скользил по наклонной. – Есть известная история. К одному царю каждую ночь приводили новую наложницу, а утром он приказывал её казнить...

– И одна из них смогла остаться в живых, ещё и стать женой царя, потому что рассказывала ему сказки с продолжением, останавливаясь перед рассветом на самом интересном месте.

– Именно. Так вот, я сегодня вспоминал с тобой мою историю, и мне понравилось, сам не пойму почему. У меня в запасе есть ещё не одна, так что готов поделиться. Опубликованными, прости, не буду, ещё рассекретишь меня.

– Это такая плата за ночные забавы? – Глория улыбнулась, хотя, возможно, Эмилю это показалось.

– Не совсем. Ты тоже расскажешь мне что-нибудь об этом месте, о людях.

– Годится. Если ты хочешь таким образом что-либо выяснить обо мне, у тебя не получится. Хорошо, посмотрим. Сейчас мне пора. Кстати, есть подозрение, что ложе у царя было значительно шире и удобнее.

Она ушла. Эмиль ещё недолго скользил по инерции. Потом он отключился, до следующего дня избавленный от необходимости задавать себе вопросы.

## РАБОТА ЧЕРЕПАХИ

Ночью погода переменилась. Сквозь щель между шторами в номер проникал серый свет. Когда Эмиль открыл глаза, на часах было начало двенадцатого. Он подумал, что опоздал к завтраку, а потом вспомнил о Глории, об их поцелуях и взаимной лжи. Он вспомнил о предложенной им игре, вырвавшихся словах,



которые нельзя забрать назад. Ворочаясь, Эмиль перебирал в голове возможные варианты развития событий. Он не знал, чего хотел больше. Снова увидеть Глорию, чувствовать в темноте её тело, бросать в воздух фразы, уязвая всё глубже и глубже, или уйти. Убежать, стараясь не встречаться глазами с попадающимися по дороге людьми, добраться до вокзала, если надо, переночевать в какой-нибудь гостинице, сесть на поезд и покинуть город на берегу реки. Постараться выбросить из головы неудавшуюся поездку, при необходимости соврать что-то Александру, а потом просыпаться по ночам от глухой тоски. Изрядно взвинтив себя, в итоге Эмиль всё же решил предоставить событиям идти своим чередом.

В ванной Эмиль снова задержался у зеркала, гадая, что могло заставить Глорию быть с ним. К его удивлению, чувства голода не было. Решив отправиться осматривать окрестности, Эмиль вышел наружу. Небо обложили тучи, но, казалось, холоднее не стало. Пройдя по застроенной домиками площадке, Эмиль попал на аллею, похожую на ту, по которой он пришёл в «Дом солнца». В конце аллеи от неё ответвлялась тропинка. Стелясь между деревьями, она привела Эмиля в сад. Посыпанную гравием дорожку обступали вечнозелёные кусты, совсем маленькие и доходившие до груди, карликовые деревья с узловатыми стволами, странные на вид растения, лезшие листьями прямо из земли. Дорожка петляла, извивалась, уводя вглубь. Реальный мир остался в другой жизни. Первая скульптура попала Эмилю через несколько минут пути. Каменные рыбы изгибались на дне наполненной водой чаши. За следующим поворотом был слон с огромным выпуклым лбом, потом свисавшая с дерева змея. Как замороженный, Эмиль шагнул от одного изваяния к другому, забыв себя, слушая, как ветер трогает ветки и листья. Внезапно перед ним открылась круглая площадка. С противоположной стороны ещё одна дорожка уводила в хитросплетения растений. На площадке стояли две скамейки, а в центре застыла огромная черепаха. Эмиль постоял над ней, потом присел на корточки, потрогал панцирь, погладил голову. Почувствовав, что ноги начали устать, он сел на одну из скамеек. Глядя на отдыхавшую рептилию, Эмиль задумался. Черепаха всегда казалась ему бессмысленным существом, бездумным созданием, ограниченным собственным панцирем. Теперь он понимал, что это было не так. Черепаха выполняла важную работу. Она несла на себе целый мир с его слонами, китами, океанами и змеями-искусителями. Она не могла сбросить эту ношу и в душе завидовала своему каменному подобию. Люди тоже тащили на себе тяжёлый груз, тюк, набитый фальшивыми личинами, обидами, образами умерших и предавших. Этот тюк мешал Эмилю любить людей, и всё же они вызывали у него жалость. Если убрать ношу, оставался только человек. Он был слаб, уязвим, брошен в мир без своего согласия и ведома, он нуждался в защите и поддержке. Лишённый понимания человек пытался найти его там, где мог, Эмиль хорошо знал об этом. Он вспомнил, с какой обречённостью шёл в магазин или принимал приглашения товарищей. Зная, чем всё закончится, предчувствуя головную боль, слабость, недосып, он пил, чтобы ненадолго забыться. Эмиль вспоминал об Анне, с которой был, чтобы не оставаться одному, о которой не думал, забывая, что она тоже нуждалась в понимании. Люди были разными, кто-то наслаждался жизнью и на вытянутых руках нёс себя через неё, но смерть уравнивала всех, и это тоже был повод для жалости.

Когда голод дал о себе знать, и Эмиль вернулся в реальность, стрелки на циферблате показывали, что прошло два с половиной часа. Решив продолжить исследования после обеда, Эмиль пошёл в бар, съел принесённое Анной и вернулся в сад. Дойдя до площадки, он пересёк её и снова углубился в царство растений. Пройдя обезьяну, дракона, существующих и выдуманных животных, он добрался до выхода. Сад обрывался у берега реки. На открытом пространстве ветер становился сильнее, под серым небом он гнал по воде волны. У самой кромки воды Эмиль заметил пару из автобуса. Женщина что-то говорила своему спутнику, протянув руку к горизонту. Охваченный порывом Эмиль подошёл ближе.

– Правда, здесь прекрасный сад? Мы подолгу в нём гуляем, и это никогда не надоедает, – ветер трепал светлые волосы женщины, острый нос делал её похожей на не желающего взростеть ребёнка.

– Вы бывали здесь раньше?

– Это наш четвёртый раз. Ник, – она тронула мужчину за плечо, – очень любит это место. Он почти не говорит, травма голосовых связок, но после «Дома солнца» ему всегда становится лучше. – Мужчина развёл руками, словно принося извинения, и улыбнулся. – Посидели у черепахи?

– Как вы догадались?

– Это не трудно, так делают почти все. Какая-то магия, накатывают мысли, и тянет задержаться. Бармен, кстати, рассказывал, что изначально скамеек там не было, их поставили позже.

– Сюда возвращаются многие?

– Думаю, да, я лично знаю семерых. Не подумайте, мы не начинаем потом дружить семьями, организовывать клубы. Иногда пишем друг другу в сети. Здесь вообще не принято навязывать другим знакомство,



звать в компанию. Кто-то, конечно, сблизается, но вообще это место располагает к одиночеству. Кстати, забыла представиться, Лана.

– Эмиль, – он пожал протянутую руку, потом обменялся рукопожатием с Ником.

– После сада мы с Ником любим погулять у реки. Это как возвращение в мир, только не резкое, а постепенное. Попробуйте.

– Спасибо, займусь этим прямо сейчас.

– Увидите, вам понравится. Одна из прелестей «Дома» в том, что здесь не нужно куда спешить. Можно просто отдыхать, а если в голову приходит идея, то осуществить её получается сразу же.

– Да, это редко удаётся в жизни. Ещё увидимся, я здесь на две недели.

– Мы уедем чуть раньше. Конечно, увидимся.

Эмиль бродил у реки до сумерек. На какое-то время все мысли ушли. Покой окутывал его под плеск волн и шум ветра. Когда он вернулся в бар, там было пустынно. Эмиль раз за разом смотрел в сторону двери. Он хотел и боялся увидеть Глорию. Придя в номер, он лёг в постель. Ноги ныли после долгой прогулки, приятная усталость наполняла тело. Мысли, в которых была Глория, начали мешаться в голове. Эмиль подумал, что совсем не похож на жаждущего красавицу любовника, и больше он ничего уже не помнил.

## НОЧНОЙ СВЕТ

– Наш бармен твой коллега.

Глория пришла около полуночи, разбудив его. Они бросились на кровать. Полчаса спустя он начал рассказывать ей историю про листовки. Больше всего мальчик любил слушать музыку. Ничего заумного, простые и не всегда хорошо записанные песни о жизни парней из гетто. У мальчика не было проигрывателя, у него вообще почти не было вещей, которыми он мог себя развлекать. Его отец воспитывал сына один. Школьный учитель, патологический педант и скупец, он установил в доме казарменную дисциплину. Однажды мальчик решил купить плеер, чтобы слушать его, пока отец находился на работе. Четырнадцатилетнего подростка никто не взял бы на работу, но однажды ему повезло. Старший брат одноклассника поручился за мальчика, и последний за небольшую плату стал раздавать на улице рекламные листовки. Деньги он прятал в старой книге детских сказок, стоявшей в самой глубине шкафа. Там же лежали несколько фотографий умершей матери. Однажды их класс вместо уроков отправился в исторический музей. Экскурсия закончилась рано, и детей отпустили домой. Мальчик вернулся в свою квартиру и обнаружил, что отец нашёл его тайник. Он долго сидел за столом, представляя, что произойдёт вечером, а потом взял карандаш и кипу листовок, которые ещё не успел раздать. Потом мальчик отправился в школу, где учился, и где работал его отец. По пожарной лестнице он залез на крышу, и когда раздался звонок с последнего урока, стал бегать по ней, разбрасывая листовки. Они падали в школьный двор, падали на головы играющим там детям и выходившим из здания учителям. На каждой было жирно выведено красным: «Папа, я тебя ненавижу».

– Коллега? В каком смысле?

Как и предыдущим вечером, Глория никак не прокомментировала его историю, чему Эмиль в душе был рад.

– Стю, его зовут Стю, он тоже писатель. И, кажется, очень хороший. В «Доме» я стала много читать, раньше не до того было. У нас, кстати, есть своя библиотека, она в здании галереи, ты должен сходить посмотреть. Помнишь, я говорила, что очень тщательно подходила к набору персонала. Это должны были быть не просто бармены или официанты, я хотела увидеть в них людей. Много помогал Ян, но Стю я нашла сама. В сети мне попала его анкета. Он искал работу. Там была такая странная графа «хобби», сейчас это модно. Даже с уборщиками проводят собеседование и выясняют, чем они любят заниматься в свободное время. Стю написал «литература». Я заинтересовалась. Подключила людей, они помогли найти о нём в сети информацию. Оказалось, он сам писал. Я почитала, обалдела и сразу бросилась ему звонить. Не писать, заметить, а звонить. Услышала его голос и положила трубку. Никакая из меня тогда ещё конспираторша была. В общем, с ним связались люди Яна, предложили очень хорошие условия, он сразу согласился. Между прочим, он тоже один ребёнка воспитывает, только у него дочка. С матерью там какая-то мутная история, она вроде жива, но я не стала выяснять, ни к чему. Дочку мы устроили в городе в интернат, дети там питаются и ночуют. Стю с ней видится после смен. Энди, второй бармен, тоже хороший парень, но немного попроще.

– Похоже, ты неравнодушна к творческим личностям.





– Не лучшая шутка. Я тебе принесла его книгу, сходишь завтра к черепахе, почитаешь.

– Откуда ты знаешь про черепаху?

– Это было предсказуемо, – Глория встала и щёлкнула выключателем. Мягкий свет ночника заполнил номер. Не стесняясь ноготы, она наклонилась над своей сумочкой, достала из неё книгу и протянула Эмилю. На обложке стояло имя автора и название «Не дай мне упасть». Вырезанный из бумаги человечек на картинке повис на парящем в темноте огромном белом кубе. Другой человечек, тоже из бумаги, летел, будто подхваченный ветром. Он тянул руки к своему собрату, борясь с воздушным потоком.

– Впечатляет.

– Это ты ещё не читал, – Глория погасила свет. – Хотя, возможно, я пристрастна. Это я помогла ему опубликоваться. Сам он, насколько мне известно, даже не собирался предлагать свои рассказы для печати. Ему пришло письмо, мол, кому-то из издателей они случайно попались на глаза в сети, и он решил продвинуть молодого автора, ну и попробовать подзаработать. Стю даже не поинтересовался размером гонорара. Вот тебе и творческая личность, и это при том, что растит дочь. Ему прислали пятьдесят копий, он их всем здесь раздарил, несколько экземпляров лежат в библиотеке. Остальное я распределила по магазинам. Продаётся плохо, рекламы никакой, но всё-таки что-то расходится.

– Не дай мне упасть, – задумчиво проговорил Эмиль. – Хорошее название.

– Всё как в жизни. Мы все однажды упадём, но если тебя кто-то держит, возможно, уходить будет не так страшно.

Когда она ушла, Эмиль ещё долго лежал с открытыми глазами в темноте и одиночестве.

## НЕСУЩАЯ СТЕНА

Утро снова выдалось пасмурным. Вначале Эмиль думал продолжить исследования острова, но рассказ Глории не давал ему покоя. Рассудив, что у него оставалось достаточно времени, чтобы побывать везде, он позавтракал и отправился по знакомому маршруту. Дойдя до черепахи, он сел на скамейку, выбрав ту же, что и день назад, и достал из сумки книгу.

«По ночам Дон стал просыпаться от треска на чердаке. Он лежал и думал о том, что поддерживающие крышу стропила перестали выдерживать тяжесть, и кровля вот-вот рухнет, пробивая потолок, погребая его под собой. В конце концов, Дон одевался и лез на чердак. Он открывал тяжёлую железную дверь и долго бродил с фонарём, ощупывая деревянные балки. На чердаке царил идеальный порядок, но мыслей о крысах, с писком прокладывающих себе путь в чердачной пыли, избежать не удавалось. Вернувшись в квартиру, с колотящимся в груди сердцем, Дон ложился в ещё неостывшую постель. Тепло не помогало уснуть. Первый трамвай оглашал своим дребезжанием улицу, стакан на столе дребезжал в такт, и Дон представлял, как вибрирует, угрожая рухнуть, несущая стена дома».

Эмиль оторвал взгляд от страницы, вспомнил о своих утренних похмельных бдениях и продолжил чтение. Когда-то Дон был примерным семьянином, обладал стабильным заработком, хорошим аппетитом и сном. Однажды, возвращаясь домой с работы, он засмотрелся на заходящее в багровом небе солнце и задумался о смерти. С тех пор на его жизнь легла тень. Всё, что он делал, казалось Дону бессмысленным, потому что рано или поздно он должен был исчезнуть. Не помогли ни визит к психиатру, ни разговор со священником. Дон всё больше уходил в себя. Жена оставила его, забрав детей, и тогда Дон начал побег от небытия. Свою квартиру он превратил в безупречно отлаженный автомат, ему казалось, что смерть могла придти к нему через капающий кран или неисправную розетку. С ним перестали общаться друзья, коллеги на работе перешёптывались. Потом Дон пропал. Его обнаружили на чердаке, скончавшегося от сердечного приступа, сжимавшего в руке стакан. Перед смертью Дон прижимал его к балке, вслушиваясь в одному ему различимый треск.

Глория оказалась права. Бармен Стю был хорошим писателем, значительно лучшим многих из тех, чьи книги рекламировали в витринах магазинов. Одну за другой Эмиль глотал его короткие истории. Почти в каждой присутствовала доля гротеска, совсем немного, ровно столько, чтобы подчеркнуть идею. Бармен писал о простых вещах – жизни, смерти, скуке разделённой любви и буйстве неразделённой. В его рассказах не было географических названий, упоминаний торговых марок, имён исторических деятелей. Города назывались просто городами, а реки реками. Эмилю не приходило в голову сравнивать истории бармена со своими собственными сюжетами, они лежали в параллельных вселенных.

На этот раз очарование вымысла оказалось сильнее голода. Эмиль встал со скамейки только тогда, когда дочитал последнюю страницу. Спрятав книгу, он отправился в бар. К обеду он опоздал, но офици-



антка, не Анна, невысокая блондинка по имени Сюзан, всё же принесла ему поднос с едой. Поев, Эмиль подошёл к стойке. Стю задумчиво протирал стаканы, глядя в окно, за которым начинал сгущаться туман.

– По всем признакам завтра должен пойти дождь, – негромко произнёс бармен.

– Вы думаете?

– Я работаю здесь уже три года. Осенью так всегда: вначале опускается туман, потом идёт дождь. Лёт здесь, правда, недолго, обычно ограничивается одним днём.

– Глория из приёмной посоветовала мне прочесть вашу книгу.

– Да, она всем её рекламирует, – Стю улыбнулся, его седые волосы серебрились в неярком электрическом свете. – И как вам?

– Честно говоря, я в восторге. Проглотил на одном дыхании.

– Правда? Приятно. Там, в сущности, не так много, я ведь пишу для себя, балуюсь. Когда обслуживаешь людей, мыслей особо нет, но потом люди уходят. Ты остаёшься в одиночестве и, чтобы себя занять, начинаешь что-то придумывать. Иногда эти выдумки увлекают, и приходится их записывать. Жалко, если пропадут, хочется поделиться с кем-то.

– А как вам удалось опубликоваться? – Эмиль подумал о Глории и своей несостоявшейся славе сетевого литератора.

– О, это интересная история. Я выкладывал рассказы в сети, о них вообще немногие знали, в основном друзья. И вдруг мне приходит письмо от издателя, это было, когда я уже работал здесь. Он предложил издать мою книгу, заплатил деньги и прислал пятьдесят экземпляров. Остальной частью тиража он имел право распоряжаться по своему усмотрению, не знаю даже, как он с этими книгами поступил.

– И вы согласились?

– Не раздумывая. До сих пор не понимаю, кого вообще могло это заинтересовать.

– Разве вы не считаете, что хорошо пишете?

– Дело не в этом. Я вообще не воспринимаю себя в качестве писателя, просто делаю то, что нравится, отвлекает. Мне просто всегда казалось, что чтобы стать популярным, нужно о себе заявлять, себя рекламировать. А я не хочу ничего никому доказывать, понимаете?

– Кажется, да, – сказал Эмиль, вспоминая шефа и секретаршу Лину. – Это как доказывать, что можешь стать достойной частью команды, поднять уровень продаж. Меня это тоже всегда раздражало.

– Вот видите. Я даже друзьям стараюсь не навязываться. Хочется, конечно, поделиться, очень хочется, особенно на первых порах, когда только закончил. Вкладываешься, эмоции текут, думаешь, не зря же всё это должно быть. А потом представляешь, как переводишь всё время разговор на своё, возьми, прочитай, а у человека ведь своя жизнь. Может, ему плохо в это время, или радость какая-то случилась, ему совсем не до тебя.

– Я заметил, у вас действие будто в каком-то параллельном мире происходит, очень похожем на наш, но другом.

– Знаете, Глория тоже мне это говорила и ещё несколько людей. Это как-то само собой получается. Не то чтобы мне не нравилась наша жизнь, просто иногда хочется чего-то другого, абстрагироваться от привычного. Хотя идеи как раз из быта и рождаются. Помню, шёл я однажды зимой по улице, очень холодно было, снег. Мне навстречу шла женщина, лет шестидесяти, хорошо одетая, ухоженная. И вдруг она останавливается, достаёт что-то из сумки и подносит к губам. Я сразу подумал о флаге с коньяком, и пошла мысль. Оказалось, это была пудреница, но дело не в этом. Представляете, история такой себе благообразной дамы, состоявшейся, с внуками, которая иногда на время выпадает из жизни. Почему она это делает? Интересно, не правда ли?

– Ещё бы. А что же по поводу сверхзадачи, идейного содержания, что вы хотите донести до жаждущего истины читателя? – Эмиль комически поморщился.

– Истина... – бармен опустил глаза, вода тряпкой по стойке. – Я понимаю вашу иронию. Об истине я ничего не знаю. Есть, наверное, люди, которые её видят, но не я. Всё ведь индивидуально. Есть мнение, что смысл жизни ищут молодые нации. Старым это не нужно, они давно поняли, что смысл в одном: вырастить детей и проводить родителей. Первым я занимаюсь сейчас, второе уже в прошлом. Мне нравится работать в «Доме солнца», воспитывать дочь, а на досуге я наблюдаю за жизнью. Не знаю, тот ли это ответ, который вы хотели услышать.

Они замолчали. Туман за окном плыл седыми космами. Эмилю хотелось курить, но он оставался у стойки, полируя пальцами деревянную поверхность.

– Вы здесь уже три года, – неожиданно сказал он. – Глория появилась позже вас?



– Мы оба старожилы, работаем с самого открытия. У нас таких три четверти штата. Кто-то уходил, но большинство держится за это место. Мы его полюбили.

«Оно не даёт вам уасть», – прошептал Эмиль, выходя из бара. Впервые с момента приезда он покинул «Дом солнца». Идя по мосту, он курил, и дым уплывал, становясь частью тумана. В городе Эмиль долго гулял по узким улочкам, останавливался у старинных каменных зданий, наблюдал за течением реки на набережной. «Я ведь едва не поверил в её сказку, – раз за разом приходило ему в голову. – Я спрашивал бармена о ней, а, значит, готов был поверить». Несущая стена реальности вибрировала, дерево трещало. Вечером он пообедал в городском кафе и, минуя бар, вернулся в свой номер. Щёлкая замком двери, он желал не открывать его до утра, не отзываться на ночной стук. Но у него не вышло.

## ИДЕАЛЬНАЯ ЛОЖЬ

Юный компьютерный гений, переживший грандиозный скандал, порицание общественности, треск и увольнение, наслаждался заслуженным покоем. Закат рдел обещаниями будущего. На заднем плане эксплуататор-шеф, потирая синяк на лысине, исходил ядом. Глория тихо смеялась, а Эмиль вспоминал рассказы бармена, ощущая всю ничтожность своей лжи.

– И что с ним будет потом?

– Не знаю. Скорее всего, в тот же вечер закатит грандиозную попойку с друзьями, станет бегать по квартире, размахивая компьютерным железом. Подозреваю, больших денег он в будущем не заработает, но собой останется.

– Возможно, в этом и вся суть. Ему, кстати, пошло бы твоё имя. Тебе оно нравится?

– Никогда об этом не думал. Всегда воспринимал его как-то отстранённо. Нейтрально, наверное. Хотя вообще Эмиль – это глава отряда повстанцев где-нибудь в сельве. Они борются с правительством, нападают на оружейные склады, собирают людей, чтобы идти на столицу.

– А Глория его боевая подруга, рука об руку до конца.

– Глория или смерть.

– Вот-вот. В конце солдаты загоняют их на край обрыва, и они прыгают в пропасть. Банально, но это тот самый случай. Хорошо, а что ты скажешь по поводу имени Конрад?

– Конрад... – Эмиль помычал. – Ну, Конрад – это старик, помесь учёного и философа. У него в комнате куча книг, всякие колбы, реторты. В городе чума, жгут трупы...

– Ты уверен, что трупы зачумленных можно сжигать?

– По-моему, да, не важно сейчас. Так вот, кругом огонь, дома заколочены, на улицах люди в чёрном, а он сидит и пишет трактат. Трактат, конечно, никто никогда не увидит, но он продолжает, потому что так легче ждать смерть. Как вариант, он мечтает оставить потомкам своё открытие, надеется, что его записи потом обнаружат.

– А комната находится в башне. Маленькой башне, откуда видны все эти пожары и трупы.

– Можно и в башне. А к чему вопрос?

– Нет, на самом деле Конрад пожарный. У него усы, широкие плечи, он весь блестит. Когда он проходит по городу, женщины укладываются в штабеля, а перед этим закрывают глаза, слишком сверкают его шлем и аксельбанты.

– Какие аксельбанты? Это вообще не отсюда. И ты не ответила на мой вопрос.

– К тому, что ты почти угадал. Только на самом деле Конрад художник.

– Само собой, а у тебя, похоже, сегодня был тяжёлый день.

– Сейчас поймёшь. У нас здесь есть маленький музей, выставка картин. Это здание с башенкой, совсем небольшой, но её хорошо видно из окна моей квартиры в городе. Если я ночую там, то по утрам всегда смотрю на эту башню, такой себе ритуал. Меня это успокаивает, если хочешь. Картины написал один талантливый человек по имени Конрад. Он погиб в автокатастрофе, совсем молодой, не было даже тридцати. Мне рассказал о нём Ян, просто так, даже не в связи с «Домом». Я посмотрела фотографии в сети и попросила связаться с его матерью. Она замечательная женщина, и у неё ничего не осталось, кроме памяти о сыне. Ян предложил ей устроить здесь постоянную выставку картин Конрада. Я знала, что она согласится. Построили здание в два этажа. Башню придумала я, мне показалась, что ему бы это понравилось. Ада, мать, живёт там же, для неё сделали комнату. Летом там замечательно. Стоишь в башне, смотришь на реку, на город, мимо пролетают птицы...

– А ты умеешь рассказывать, завтра обязательно схожу посмотреть.



- Мы здесь все по-своему рассказчики. Ты читал книгу Стю?
- Ты была права. Полный восторг.
- Даже с точки зрения профессионального писателя?
- Даже с неё.
- Спрашивал у него обо мне?
- С чего ты решила, что я с ним разговаривал?
- Я предположила. Когда тебя что-то впечатляет, то обычно хочется выплеснуть эмоции, а тут у тебя была возможность пообщаться с автором.
- Да. Я говорил с ним, узнал много интересного. В чём-то мы похожи. Потом долго гулял в городе, думал о прочитанном.
- Так ты спрашивал обо мне?
- Спрашивал. Он сказал, что вы оба работаете с самого начала.
- Так и есть. Я же говорила, что тебе ничего не удастся узнать.
- Не сказать, чтобы я пытался.
- Что же ты тогда делал? Ладно, это совершенно естественно, на твоём месте я бы тоже не поверила. Ты никогда не пробовал писать детективы? Идеальное преступление, ложь, которую нельзя раскрыть, там это, кажется, любят.

### БАШНЯ ХУДОЖНИКА

«Она замечательно всё продумала, – бормотал Эмиль, идя под дождём, – идеальная ложь. Никакого заговора молчания, просто никто ничего не знает, кроме мэра. Интересно, скольким людям до меня она всё это рассказывала? Кто из них ей верил? Зачем?».

С неба лило. Не выносивший зонтики Эмиль шагал по мокрому гравию с поднятым кашпошном куртки. Впрочем, зонтика у него не было даже дома. Шум дождя напоминал об одиночестве, стена воды словно бы навсегда отрезала остров от окружающего мира. Эмиль представлял, как в домиках с номерами люди смотрели из окон на город, думая, стоило ли жалеть о том, что там осталось. Здание галереи находилось на возвышении у реки. Двухэтажное строение венчала башня, вытянутая, с двумя окнами и шпилем. Эмиль позвонил в звонок у массивной двери. Послышался шум шагов, дверь отворилась, и на пороге появилась женщина.

– Заходите скорее, промокнете.

– По-моему, больше уже некуда, – улыбнулся мокрыми губами Эмиль, входя внутрь. Женщина была одета в джинсы и серый свитер, прямые светлые волосы забраны в хвост, и только морщины на лице говорили о том, что ей, вероятно, уже перевалило за шестьдесят. Закрыв дверь, она взяла Эмиля за рукав.

– Вы, похоже, не любитель зонтиков. Впрочем, большинство приезжают сюда, думая, что у нас здесь заколдованное королевство, где никогда не идут дожди. Снимайте куртку и проходите в гостиную направо. Я сделаю вам чай, согреетесь, а потом будете всё осматривать.

– Женщина исчезла, и Эмиль остался один в комнате со старинной мебелью, настенными светильниками и толстым коричневым ковром. Оглядевшись по сторонам, он пододвинул к себе одно из двух кресел и расположился за накрытым кружевной скатертью столом. Вошла женщина и поставила на стол поднос. Перед Эмилем возникла исходившая паром чашка, блюда с необычного вида печеньем. Эмиль осторожно отпил горячую жидкость с травяным привкусом и довольно звякнул краем чашки о блюде.

– Я понимаю, вы не ожидали посетителей в такую погоду.

– Честно говоря, нет, хотя я всегда рада гостям. Меня зовут Ада.

– Эмиль.

– И что же вас, Эмиль, вытащило из номера в дождь? Вы ведь живёте в «Доме солнца»?

– Да, я приехал совсем недавно. Мог бы, конечно, сегодня никуда не выходить, поиграл бы сам с собой в шашки, например, времени у меня ещё достаточно. Но не удержался. Глория из приёмной очень хвалила картины вашего сына. Да и дождь я люблю, хотя больше за ним наблюдать, чем мокнуть.

– Глория весьма приятная девушка, она часто сюда заходит. Иногда мы тоже с ней сидим за чаем. Знаете, у меня здесь есть всё для комфортной жизни: спальня, кухонька, вот эта гостиная. В библиотеке я беру книги. А в левом крыле выставка, она продолжается на втором этаже. Глория рассказывала вам про башню? Обязательно поднимитесь туда. Я, кстати, тоже люблю дождь. Когда он идёт, мысли становятся яснее, и не так печально, будто кто-то печалится вместе с тобой.





– Вам не одиноко здесь?

– Совсем нет. Главное, что сюда приходят люди посмотреть на картины Конрада. Знаете, я ведь всегда была атеисткой. Сомневалась, что он сейчас смотрит откуда-то на эту башню и радуется. Но для меня это действительно важно. Он так много вкладывал, когда работал, так переживал. Было бы очень обидно, если бы никто этого не увидел. Конечно, Конрад продавал свои работы, у кого-то они есть, но здесь я могу наблюдать, как люди на них реагируют. Если хотите, я включу музыку. Она негромкая, создаёт атмосферу, её специально подбирали.

– Конечно, с удовольствием.

Когда Эмиль допил чай, Ада проводила его в галерею. Он медленно шёл по ковровой дорожке, рассматривая висевшие на стенах картины. Звучала музыка, размеренная, меланхоличная. В неё можно было не вслушиваться, она сама проникала в сознание, будя в нём зыбкие образы. Эмиль ничего не понимал в изобразительном искусстве, технике, стилях, нарисованный им круг больше походил на квадрат. Главным для него был сюжет, всё та же история, переданная на холсте. Большинство историй Конрада казались незатейливыми – кусочек лилового предгрозового неба между волнующимися ветвями деревьев, бегущая на закате по степи лошадь, девушка-подросток, пристально изучающая своё отражение в воде пруда. И всё же Эмиль останавливался, замирал перед картинами, погружаясь в мысли, уплывая в несуществующие миры. Глядя на карандашный рисунок крестьянина с косой, одиноко бредущего по полю под дождём, Эмиль вспомнил, как впервые ехал в поезде один. Родители посадили его в купе, заставили повторить за ними множество наставлений, в сотый раз озвучили, что следующим утром на перроне его будут ждать бабушка с дедушкой, и, наконец, ушли. Вначале было жарко, солнце било в окно, а потом небо постепенно обложили тучи. Пошёл дождь. Эмиль смотрел на бесконечные поля за стеклом, на мокрую зелень деревьев и думал, что мог бы ехать так вечно.

На второй этаж вела узкая винтовая лестница. В самом конце выставки Эмиль увидел ещё две двери. За одной находилась библиотека. Книги на стеллажах располагались в алфавитном порядке, в воздухе стоял сладковатый запах бумаги. Эмиль гладил корешки, листал страницы, читал названия, знакомые и впервые увиденные. Здесь был и сборник бармена Стю, и Эмиль улыбнулся книге, как старой знакомой. За второй дверью начиналась ещё одна лестница. Она привела Эмиля в башню. В маленькой комнатке стоял стол. На нём лежал альбом в зелёной обложке без надписей, несколько карандашей и ручек застыли в прозрачной колбе. Эмиль подошёл к картине на стене. Замок на клочке суши со всех сторон окружала вода. На самом верху мужчина у ограждений смотрел вдаль. Капли дождя барабанили в окно башни, и Эмиль прижался к стеклу лбом. Он представлял, как силуэты птиц прорезают дождевую пелену на фоне бесконечно далёкого города, и у него сжало горло. Он догадался о назначении альбома, ещё не открыв его. С минуту он смотрел на чистую страницу, а потом размашисто вывел: «Спасибо, Ада. Надеюсь, он всё же смотрит». Эмиль знал, что потом ему, возможно, будет стыдно за свой порыв, но это будет потом. Он спустился вниз, поблагодарил хозяйку галереи, отказался от предложенного зонтика, попрощался и вышел за дверь. Дождь немного утих. Эмиль выкурил сигарету, прикрывая её рукой от капель, и отправился в номер. Там он лёг на кровать и стал перечитывать рассказы бармена. Потом он уснул прямо посреди предложения. Пальцы разжались, и книга мягко легла ему на грудь.

## ХОРОШИЙ ЧЕЛОВЕК

«При росте в метр пятьдесят восемь мать Кристины весила несчастных сорок пять килограмм, обладала бантикообразным ртом, носом-пуговкой и выбеленными кучеряшками. В любовниках у неё, напротив, ходили исключительно крупногабаритные особи – брюхатые владельцы отвислых задов и щёк. Надолго любовники не задерживались, исчезая из квартиры где-то полгода спустя своего там появления. После каждой такой передислокации оскорблённая женщина воздевала руки к потолку и, округлив рот буквой “о”, выдавала пафосный спич на тему “За что?”. На поиски следующего самца, достойного занять место на раскладном диване, у неё обычно уходило не более месяца».

Эти строчки Эмиль выучил наизусть. Однажды ему в голову пришла история школьной выпускницы Кристины, настолько яркая, что он даже сел её записывать. Дальше первого абзаца дело не продвинулось, и всё же Эмиль по-прежнему считал свой сюжет стоящим. Кристина обладала лишним весом, не отличалась хорошими манерами и больше всего на свете любила читать. Её страдавшая непроходимой глупостью мать собиралась при помощи одного из своих любовников захихнуть дочь в театральное училище, чтобы та сделала карьеру, играя роли провинциальных простушек. Кристина же мечтала уйти



из семьи и работать продавщицей в винной лавке единственного друга, пожилого жизнерадостного горца. По дороге на экзамен Кристина заходила в лавку, выпивала там первый в жизни стакан вина и долго бродила по улицам. Появившись перед приёмной комиссией, она неожиданно для самой себя читала на память одно из своих любимых стихотворений и в ответ на отеческую похвалу председателя посылала его в задницу. Эмиль сочувствовал этой девушке, ненавидевшей собственное тело, не хотевшей жить навязанной ей кем-то жизнью. Порой, думая о Кристине, он желал ей осуществить её мечту и при случае отправить по знакомому адресу родительницу.

– Позавчера был отец-тиран, сегодня дура-мать, – сказала Глория. – Психоаналитики точно не останутся без работы.

– Честно говоря, я об этом даже не задумывался. Сомневаюсь, что они бы много накопили, изучая моё прошлое. Отец – военный, конечно, пытался приучать к дисциплине, но, надо отдать ему должное, понял, что я не тот человек, и перестал ломать. Мама заботливая, всю жизнь посвятила семье, очень переживала из-за развода. Когда-то она казалась мне очень простой, знаешь, из серии «я счастлива, если счастлив муж». Потом я понял, как это непросто. Подстраиваться, округлять углы, и всё это годами, не каждый так сможет.

Меняя правду и вымысел, Эмиль рассказывал Глории о своём прошлом. Он говорил о женщинах, с которыми сходился и расходился, о давних конфликтах с отцом, о том, как однажды застал плачущую мать на кухне и понял, что это было из-за него. Он говорил об Анне, которую называл своей женой, потому что не знал, как выпутаться из облепившей его паутины лжи. Он говорил и думал, что не хотел быть один и не хотел жить семьёй, не понимал, как у людей получалось не возненавидеть друг друга за годы совместной жизни. Он говорил, словно подсудимый, пытающийся в последнем слове рассказать судьям о том, что никто так и не смог понять в ходе процесса. Он закончил. Глория села рядом с ним в кровати, поджав под себя ноги.

– Помнишь, я рассказывала тебе, что попала в реанимацию? Был один человек, есть, скорее всего, это всё из-за него. Мы познакомились в ночном клубе. Мне было шестнадцать, ему двадцать пять. До этого я уже плотно гуляла. Ничего серьёзного, сверстники, мужики постарше. Я ни о чём не задумывалась, мне казалось, жизнь нужна для того, чтобы ловить кайф. Впрочем, об этом я тоже не задумывалась. Он всё перевернул. Дело не во внешности, мускулах, они у него были, кстати, не в сексе даже. Он оказался сильнее. С другими всё казалось проще некуда, ночь, другая, разбежались. Кто-то влюблялся, забрасывал сообщениями, я их даже не читала. А он изучал. Жизнь, людей, меня, исследовал, анализировал, а потом растаптывал. Представь, как учёный рассматривает под микроскопом бабочку, что-то записывает, а потом кидает на землю, растирает ногой и говорит: «Это уже было, скучно». Он мог долго целоваться со мной, а потом отстраниться, посмотреть в глаза и спросить: «А зачем ты закрываешь глаза? Ни у кого ответить не получилось, может, ты объяснишь?». А я шла за ним, как под гипнозом. Понимала в глубине души, что это плохо кончится, но шла. Когда отец отправил меня за границу, я даже не закатывала истерику, просто знала, что скоро вернусь. Не ходила на занятия, шла и писала ему в сети. Он даже заключил со мной пари, говорил, что быстрее, чем через год, мне не вырваться. Я выиграла, на радостях обдолбалась. Он, к слову, ничего сильнее алкоголя не употреблял, берёгся. Потом он меня бросил. Просто позвонил и сказал, что всё кончено, что уезжает куда-то по делам, он занимал какой-то пост в строительной компании. Я прилетела к нему домой, ломилась в дверь, разбила в кровь руки, царапалась. Он не открыл. Следующим вечером меня уже откачивали. Когда я оклемалась, то узнала, что он действительно уехал. Надолго. Возможно, навсегда. Уехал продолжать свои исследования. Когда я немного пришла в себя, страх смерти отступил, то стала с ним спорить, в голове, конечно же. Доказывала, обвиняла, произносила все слова, которые мы никогда не проговариваем в нужный момент. А если бы и проговаривали, что это могло бы изменить? Внутренний ад. Миллионы людей проходили через такое до тебя, но разве от этого становится легче? Я чувствовала себя униженной, голой, без кожи. И знаешь, я по сей день задаю себе вопрос: «Почему люди закрывают глаза, когда целуются?».

Они долго молчали. «Ты хорошая», – в какой-то момент прошептал Эмиль и погладил Глорию по плечу. Он не знал, что сказать. Движение было неловким, словно кто-то пытался подступиться с тряпкой к драгоценной вазе.

– Ты многого обо мне не знаешь, вернее, не представляешь. Ты тоже хороший, раз так. Хороший человек, но мог бы быть лучше. Это из одной песни, я позже тебе расскажу. Всё дело в эйфории. Мы придумали много слов, любовь, страсть, вдохновение, но по сути это всё та же эйфория. Иногда без неё нельзя, но чаще она разрушает. Ты внушаешь кому-то надежды, ломаешь, а когда трезвеешь, ничего исправить уже нельзя. В первое время после смерти отца мне казалось, что я смогу перед собой оправдаться,



искупить вину, перестать его дышать. Это прошло. Иллюзии прошли. Нам нужны иллюзии и костыли. Жить без них тяжело, зато такого человека нелегко сломать, он уже готов к худшему. Свою эйфорию я пережила. Ты, кажется, тоже.

Эмилю казалось, что молчание длилось несколько часов. Он надеялся, что Глория не уйдёт, и долго лежал с этой мыслью. Потом он стал погружаться в сон, и на самом краю Глория потрясла его за плечо.

– Успеешь выспаться без меня. Набирайся сил, завтра вечером у нас концерт. Приезжает одна классная группа, они здесь часто играют. Обрати внимание на вокалистку, она запредельная, глаз не оторвать. Отдыхай.

После того как закрылась дверь, Эмиль пытался задержаться на краю, но очень быстро сдался и разжал пальцы.

## РАЗРУШИВШИЙ ВСЁ

С утра светило солнце. О вчерашнем дожде напоминали только лужи и мокрая земля. Позавтракав, Эмиль отправился в город. Там он сел на автобус и поехал куда-то на окраину, где долго бродил, вдыхая сигаретный дым, иногда останавливаясь передохнуть на попадавших на пути скамейках. Разгребая ботинком гору опавших листьев, он осознал, что с момента приезда ему никто не звонил. Эмиль поразмыслил и не удивился. У него мелькнула мысль набрать номер матери, и он уже потянулся к телефону, но рука замерла в воздухе. Эмиль не представлял, что будет говорить. Отдельваться общими фразами не хотелось, рассказывать о происходящем он не был готов.

Когда Эмиль вернулся в бар, там уже почти не оставалось свободных мест. У дальней стены возле окна трое музыкантов возились с инструментами. На полу стояла ударная установка, громоздились колонки. Один из музыкантов откинул с лица светлые волосы, и Эмиль увидел, что это была девушка. В начале девятого появилась Глория. Поймав взгляд Эмиля, она коротко кивнула ему и направилась к стойке. Они обменялись несколькими словами со Стю, тот ненадолго скрылся за дверью подсобного помещения и вышел, держа в руках высокий трёхногий табурет. Глория села, глядя на импровизированную сцену, время от времени отвечая на приветствия проходивших мимо гостей.

Когда музыканты появились перед аплодирующим залом, Эмиль вспомнил слова Глории. От невысокой девушки с бас-гитарой у микрофона действительно невозможно было оторвать глаз. Всю левую щёку её затягивала плёнка ожога, притягивая взгляд, заставляя задумываться, как она жила, как реагировала на поворачивающих головы прохожих. Барабанщик дал счёт, и они понеслись. Гитарист посылал в зал волны густого, окрашенного в тёмные цвета звука, бас пульсировал, извиваясь и ломаясь на фоне мощного бита. Потом басистка запела, и Эмиль замер, перестав поворачиваться в сторону Глории, перестав смотреть на чётко вырисовывавшийся в электрическом свете профиль. Голос, сильный, низкий, почти мужской, парил над музыкой, донося каждое слово. Голос пел ему о всё оправдывающем внутреннем адвокате и о «давай останемся друзьями», словах, перечёркивающих то, что было. Он пел о старшем брате, ненавистном цензоре и эталоне, и о хорошем человеке, который мог бы быть лучше. Где-то в середине концерта к микрофону шагнул гитарист. Музыка изменилась, стала мягче, барабанщик акцентировал слабую долю, заставляя вспомнить далёкие острова, где под раскалённым солнцем люди пели песни отчаяния и надежды. Эмиль слушал историю юноши, смотрящего на руки женщины, в которую юноша был безнадежно влюблён. На безымянном пальце сверкала узкая золотая полоса. Эмиль вдруг понял, что когда всё закончится, он сядет за стол и напишет рассказ, первый в своей жизни. Он сделает это, иначе всё не имеет смысла. Он слушал и видел юношу, разминавшего пальцами глину во дворе мастерской. Солёный ветер с моря перебирал листья оливкового дерева. К стволу прислонилась молодая женщина в длинном свободном платье. Она с улыбкой смотрела на работу юноши, временами поправляя ученика. Кольцо на пальце сияло в солнечных лучах. Женщина вспоминала, как предыдущим вечером рассказывала мужу о юноше за бокалом вина. Она знала, что он был влюблён в неё. Госпожа смотрела на слугу, метавшегося между водоворотом и чудовищем с шестью пастями, жалела его и наслаждалась своей властью. «Этот мальчик однажды разрушит всё», – сказал ей муж, внезапно посуровев лицом. Женщина беспечно улыбнулась в ответ. Пройдёт время. Одним днём она увидит своё лицо из алебаstra, итог бесконечных ночных бдений, и с ужасом осознает, что слуга стал господином.

Группа сыграла последнюю песню. Добавить было нечего. Зрители аплодировали, слышались крики, кто-то в восторге свистел. Эмиль не стал дожидаться выхода «на бис», переполненный до краёв и одновременно выжатый. Стараясь не смотреть в сторону Глории, он покинул бар, жадно затягиваясь по



пути к домику номер четыре. «Когда всё закончится», – басовыми нотами пульсировало у него в голове. «Когда всё закончится...».

## ТОЙ НОЧЬЮ

Той ночью они говорили обо всём. Об ожоге на лице басистки и разбивающихся на карнизе каплях дождя, о ковырянии в носу, когда тебя никто не видит, о запахе книг и страхе. «Я не хочу уйти непонятой, – сказала Глория. – Потом мне будет всё равно, но я не хочу». Эмиль промолчал. Он думал о грузе вины, который она несла на плечах, о том, что она заслужила понимание. «Заслуживаю ли я?», – спрашивал он себя. Вопрос оставался без ответа. Той ночью она ушла от него перед самым рассветом.

## УХОД ОСЕНИ

Дни бежали, оставляя Эмилю ощущение нереальности происходящего. Он много гулял по «Дому солнца», совершал вылазки в город, рассказывал Глории истории. «Кто у тебя был до меня?», – спросил он одной ночью. «Ты же на самом деле не хочешь знать», – ответила она, и Эмиль сжал кулаки, охваченный приступом ревности. Во время своих прогулок по дорожкам и улицам он вспоминал. Он думал об эйфории, воссоздавая в памяти лица женщин, с которыми был, думал о родителях. Эмиль не звонил им неделями, а потом, подгоняемый чувством вины, хватался за трубку, пытаясь заполнить пустоту. Стоя на берегу реки, он набрал номер матери.

– Привет, мама, прости, что давно не звонил.

– Здравствуй, сынок. Мы волновались.

– Мама, здесь много всего, по телефону не объяснишь. Я вернусь и всё обязательно расскажу, уже скоро.

– Мы ждём тебя.

Нажав на кнопку разъединения, Эмиль попытался представить, что ждёт его за этим «скоро», и увидел клубящийся над болотом туман. Их одиннадцатой ночью Глория рассказала ему о празднике. «Это будет послезавтра, – сказала она. – Вообще-то это день города, но все называют его прощанием с осенью. Как-то так сложилось. До зимы ещё есть время, но мы уже прощаемся. Так проще наслаждаться тем, что остаётся, словно получаешь от природы подарок. Ты должен пойти, там всегда собираются все наши. Погуляешь по ярмарке, купишь игрушечную мельницу и будешь крутить её на досуге». «Конечно, приду», – сказал Эмиль. В день ярмарки он проснулся поздно, слишком поздно даже для самого позднего завтрака. «Дом» был пуст, двери бара закрыты. Эмиля охватило ощущение, что он пропускает нечто важное. Он начал движение, шагал сначала медленно, а потом перешёл на бег. Эмиль пробежал через мост, нарушая тишину стуком ботинок по бетону, привычно свернул направо. Городского парка он достиг за пять минут. Его встречали люди, много людей, они переговаривались, смеялись, и воздушные шары взлетали над ними, как разноцветные ракеты. Замедлив бег, Эмиль оказался в толпе. Откуда-то ему махали Ник и Лана, Ада, смеясь, пожимала руку кого-то в костюме человека-мороженого. Он видел официантку Анну, которую обнимал за талию ещё более широкоплечий кавалер, видел бармена. За руку Стю уцепилась девочка с тугими косичками. «Интересно, он сам их заплетает?», – промелькнуло и сторело в сознании.

Внезапно собравшихся всколыхнуло. Один за другим люди потянулись в сторону остатков старой крепости. Подхваченный потоком, Эмиль двинулся с ними. Между двумя пустожерлыми пушками соорудили сцену. На её заднике маленький мальчик с увесистым рюкзаком за спиной махал солнцу. С неба падали жёлтые листья. По толпе прошёл гул. По деревянным ступенькам на сцену поднимался мэр. Несмотря на прохладу, он был одет почти так же, как и на плакате. Мэр остановился у микрофона, обвёл глазами людей, что-то сказал, и внезапно Эмиль увидел Глорию. Она стояла в стороне, опершись о ствол дерева, напоминая госпожу из пока ненаписанного рассказа. Мэр сказал ещё что-то, и в этот момент Эмиль увидел, как он кивнул Глории, совсем незаметно, не сделав и крошечной паузы между словами. Эмиль поймал взглядом ответный кивок хозяйки приёмной, такой же короткий, наполненный таким же смыслом. Сражающаяся с собой сомнамбула, Эмиль попытался попятиться, и тогда Глория, повернув голову, заставила его застыть неподвижно. Они долго смотрели друг на друга. Эмиль вспомнил, что сигареты остались в номере, и понял тех, кто был готов отдать жизнь за затяжку. Потом Глория тронулась с места. Ему казалось, она шла медленно-медленно, словно увязая в не желающей пускать её дальше земле. Эмиль увидел её улыбку, ещё раз пожалел об оставленных сигаретах и приготовился ждать.





И традиционное спасибо. Андрею и Саше за голову шефа. Группе «Нижний свет» за порицание общественности. Дет SI за рисунки. Группе «Чиж и К» за нехитрую снедь и вино. Андре Морю за рассказ «Отель “Танатос”». Дарье за убийц-любовников, блистательного пожарного и поддержку. Стивену Кингу за число 19. Группе «Тіага» за бумажных человечков. Группе «Anathema» за предфрозное небо. Группе «...и друг мой фрузовик» за всё, включая хорошего человека. Группе «Police» за госпожу и слугу. Андрею за готовность пропагандировать. Маме и папе за то, что они есть. Гафику Сукачёву за Дом солнца. Спасибо.

# СЕРГЕЙ ШЕЛКОВЫЙ

---

## БЕЛЫЙ С МУЗЫКОЙ ВОКЗАЛ

### ЛЕТНИЙ БОГ

Кто там шастает по саду,  
рыщет в чёрной тишине?  
Я не знаю, и не надо  
смалу знать про нечисть мне.  
Вот проснусь – с верхушек вишен  
брызнет розовый рассвет.  
И в окно почти не слышен  
гул сквозной протяжных лет...

Цепко вьётся повилка, –  
в граммофончиках змея, –  
пахнет пряная гвоздика,  
в травной гуще кошка Кика  
мнёт, терзает воробья.  
Я сибирскую тигрицу  
под веранду загоню,  
перистое тельце птицы  
в цветнике похороню.

Там, в пионе, жук жирует,  
изумрудный шахиншах,  
в ус не дует, хмель смакует  
на хитиновых губах.  
Я припас для экселенца  
из-под спичек коробок...  
И звенят тех птиц коленца,  
и сквозь зимы экзистенций  
мною владеет летний Бог.

### ЛЕТНИЙ ДОМ

Думы с утра – высоки и легки,  
словно из юности что-то воскресло.  
В домике летнем живут пауки –  
в рамах оконных, под ручками кресла.  
По деревянным трёхгранным углам,  
под потолками, блестит паутина,  
и отзываются всем сквознякам  
слабым дрожаньем чешуйки хитина.



Что-то случилось тут прежде со мной –  
 то ли из сумерек слышалось пенье,  
 то ли укропом, политым луной,  
 пахло мальчишества стихотворенья.  
 Так и вселилось в запущенный дом  
 это, казалось, ушедшее, время. –  
 Тихо бормочет в углу с пауком,  
 сушит на полках укропное семя.  
 А за раскрытым со скрипом окном  
 вспыхнет небесно наивный цикорий,  
 не позабывший ни духом, ни сном  
 детской любви, аллергии и кори...

\*\*\*

Деревянные перила, деревянные террасы,  
 деревянные ступени грустным голосом поют,  
 ибо время все бездушной – год от года, час от часа –  
 перемальвает в пепел перепончатый уют.

И зернистый, и слоистый, искры смол живородящий,  
 пыл наследный дом сосновый, зыбок и одушевлён.  
 В летнем коконе веранды, в древесине говорящей  
 перламутровой жилкой трепетал легчайший сон.

Были в сетке переплёта разноцветны ромбы стёкол,  
 терем склеен был из хвои и стрекозьего крыла...  
 Кто звенел там чайной ложкой, кто орех щипцами щёлкал?  
 Чья беседа по овалу вкрут столешницы текла?

Кто там в платье светло-синем загорелыми руками  
 над фамильною посудой рано утром ворожил?  
 Кто входил, ступая грузно, великаньими шагами?  
 Я один сегодня помню, кто до смерти в доме жил...

Я один на свете вижу те сосновые ступени.  
 На веранде – капли воска, брызги битого стекла...  
 И в саду, давно ничейном, холодны дерев колени,  
 и записка поминанья одинока и бела...

\*\*\*

Двор, полночь, юг. Цветок стихотворенья –  
 табак, горчащий нежностью неожиданно...  
 В султанах, – от луны и лампы, – тени,  
 на мел лачуги брошенные странно,

сплетаются причерноморской страстью  
 в любовные обманы-чародейства.  
 И лоз июльских пальцы и запястья  
 прильнули к известковым стенам детства,

где ничего – не поздно, не зазорно,  
 ни в брызги, ни в осколки не разбито,  
 где золотятся виноградин зёрна  
 сквозь мякоть, как зеницы неофита...



Уснула в доме Оля-оленёнок,  
 дитя-тинэйджер с Грузией в ресницах.  
 Слои кафкианской ночи Кафы тонок,  
 где – бархатцы, где сам я, байстрючонок,  
 пью пай свой меж хозяек лунолицых...

\*\*\*

Опускаешь глаза – а вокруг золотые монеты,  
 на траве, на асфальте, на вызревшей почве лежат.  
 То алтын, то пятак, то полтинник, горячий, как лето.  
 А отдашь иль возьмёшь – урожай и посеян, и сжат.

Поднимаешь глаза – над тобой безмятежное небо,  
 а минут через десять спущается гроздью гроза.  
 Это слёзы псалмов, это жизни тревожная треба.  
 И ни крайнему сдаться, ни выстрелить первым – нельзя.

Отче на небеси, да приникнет к земле Твоё имя,  
 да пребудет в душе моей великотрудный завет.  
 Я давно среди тех, кто ушли навсегда молодыми,  
 и уже среди тех, кто упорствует выслугой лет.

Догоняет война, и на спину бросается подлость –  
 с правоверным лицом родовой узнаваемый зверь.  
 И вишнёвою кровью кириллицы полнится повесть,  
 и распахнута сызнова в ад черноротая дверь.

Настигает война, но весна её перегоняет,  
 и царит над убитыми меченный вечностью май.  
 Стратотерпица мать лишь короткое Имя рыдает,  
 то, что помнил и ты. А забыл, так умри – вспоминай!

\*\*\*

Шмель на малине, на тополе горлица.  
 Старая хата застенчиво горбится.  
 В зелени двор.  
 Средь лебеды, лопуха, подорожника  
 да осенит меня, Отче, безбожника,  
 синий твой взор.

В этих краях бессловесно натруженных  
 не был я век на вечерах и ужинах. –  
 Дай же им днесь...  
 Выучил крепко иные законы я,  
 что же так просится в душу исконное,  
 цветшее здесь?

Что же щемит у предсердия прежнее –  
 солнечно-смуглое, зелено-нежное?  
 Боже, прости.



Нет их давно на земле скудно-ласковой,  
тех, кто крестил меня травною сказкою –  
глина в горсти.

Ты бы послал хоть на час своих ангелов –  
ягод набрать из малиновых факелов  
вместе со мной,  
весть бы подать о чете моей суженой  
из белооблачной жизни заслуженной  
послеземной.

Ты бы простил мне печаль и томление,  
это невзрослое стихотворение –  
зова наив...  
О, как по имени кликнуть мне хочется  
тень, что качнула вишневую рощицу,  
плач затаив...

\*\*\*

Уходят, что ни год, о смысле жизни споры...  
И нет уже тебя, кто был других верней.  
Трезвее воздух дней. Но юных женщин взоры  
всё ярче по весне – прощальней и пьяней.

Истаяла зима. И глина снег впитала.  
Просел, чуть покосясь, простой сосновый крест.  
И с тополя скворец, бесстыжий зазывала,  
опять, на весь погост, взахлёб зовёт невест...

\*\*\*

Между пламенем жёлтым и белым морозом  
возникает бубенчатый зов Рождества,  
между слабым ответом и вечным вопросом  
быть не может и нет никакого родства.  
Но и то хорошо, что морозно и снежно  
в некрещённой и тысячезвездной ночи.  
Пахнет хлев молоком, и колышется нежно  
то ли имя души, то ли пламя свечи.

А когда пеленает Мария младенца,  
очи добрых животных ледеют вертеп,  
и ягнёнок, ложась, подгибает коленца,  
и вдыхает ноздрями соломенный хлеб.  
Зазвенит бубенец, колокольчик на шее,  
а Иосиф ладонью потреплет руно,  
чтобы агнец тучнел, завитками белея,  
ибо взыщет горячего мяса вино.



Но ни лунам, ни глинам назад не вернуться –  
ночь Святая сбывлась, и все прежнее – сон,  
и назавтра во всём Вифлееме проснутся  
чада, камни, смоковницы новых времён.  
Между жизнью короткой и правдою долгой  
прохудилось до дыр одеяло родства.  
Нитка рвётся, и палец изранен иголкой...  
Но студёная ночь дышит хвойно и колко,  
но трепещет в пещере огонь Рождества.

### ВОЛОШИНСКИЙ ХОЛМ

Знойная сухость – таврийская муза,  
тысячелетник – лилов на холме.  
Чётки, насечки – жеребчика узы.  
Аве! – июлю, и август в уме.  
Платину плавит понтийское лето,  
цезий в изложницы Цезарей льёт.  
Царственна в полдень зенита монета –  
аверс ликует, звенит оборот.

А базилевс сухотравья, кузнечик,  
чалый скакун, цымбаларь да скрипаль,  
снова седлает бессмертника венчик  
и озорует, соломенный враль.  
Нет, не сидится в тени мне за чаркой –  
соли и зною ресниц вопреки  
снова взбираюсь на холм янычарский,  
море лаская у правой руки.

Здравствуй, Волошин, полынный мой кровник  
с привкусом дедовского «поб-побе»!  
Слышишь ли, глиняной правды виновник,  
вздохи и шорохи почв о тебе?  
Видишь ли, – брызжут кобылки над склоном,  
крылья расправив в хищном броске? –  
Рифмы, что шифром искрят потаённым,  
колером – алым, шафранным, лимонным  
и растворившим лазурь в молоке!

### БЕЛЫЙ С МУЗЫКОЙ ВОКЗАЛ...

Под цветущею софорой прячет спину бочка с квасом,  
в гуще зелени круглятся ярко-жёлтые бока.  
На тебя в упор, Одесса, я гляжу весёлым глазом,  
чую гул витых рапанов, шорох моря у виска.  
Слышу Бабеля с Олешей, Паустовского с Шенгели,  
и на всех углах бульваров, окликающих Прованс,  
с хрусталём в руке, поэты, в облаках цветного хмеля,  
всё рифмуют с Молдаванкой постмодерн и декаданс.



Хороши над Ришельевской поднебесные платаны!  
 Вмиг сыщу и чашку кофе, и в подвале интернет,  
 чтоб во все концы планеты разослать тобою данный,  
 на ходу новорождённый, элегический сонет.  
 Будут знать: я вновь в Одессе, в контрапункте Одиссеи.  
 Я опять в тебя влюбился – раз, два, три – в четвёртый раз!  
 Снова я, дыша тобою, белый шум средь сини сею,  
 раскрывая чарам чакры, зорко щуря третий глаз!  
 Где б я каялся, спасался, если б не было Одессы?  
 Средь каких воздушных улиц я бы духом прирастал?  
 Да продлится эта повесть, эта пьеса, эта месса:  
 звук уключины скрипичной, белый, с музыкой, вокзал!

\*\*\*

Пахнет гречкой, подгоревшей в коммуналке у соседей.  
 За подъездной драной дверью – двор, усыпанный листвой.  
 «Аз» – скажу пароль, а осень мне ответит «буки, вежи»,  
 грудь и плечи расправляя, как румяный постовой.

Словарю пословиц Даля лисьей шапкою кивая,  
 баснописца поминая с тонконогой стрекозой,  
 листопад унюхал рифму. А когда она живая,  
 сам я чую возбужденье гончей или же борзой.

В чаще веток – лепетанье алфавита, плески гаммы  
 и синичий, – в клюв из клюва, – дробной ноты перелив.  
 В ярком умиранье формы есть языческая драма,  
 но Завет благовещает, что Носитель сути жив...

И на полусбое ритма, на простудном переходе,  
 на изломе самописца – рисовальщика дуги –  
 я сутулую фигуру в промелькнувшем пешеходе  
 поспешу узнать... И ближним без труда прощу долги.

Кто любим, тот не уходит, даже если отлетает. –  
 Листопадом окликает и наклоном головы...  
 Ясной осенью, должно быть, мальчик мой меня узнает  
 из-под чёлки белобрысой... Дымной осенью, увы...

\*\*\*

Никого ни о чём не проси,  
 за пожухлую быль не цепляйся,  
 за кривое железо оси  
 в окоlesiще дробного пляса...  
 Жаль чего?  
 Разве радужных пчёл  
 на пиру травяного июня  
 да сверчка во хмелю маттиол  
 в голубом молоке полнолуныя?



Разве тени ступни на песке,  
бесполезно-жемчужного сора,  
пряди русой на детском виске  
да ничейного нежного взора?  
Вот и всё...  
Ни о чём не моли.  
Обнимись с корешками кривыми,  
что грызут в поднебесной пыли  
земляное шершавое вымя.



# ОЛЬГА АНДРЕЕВА

---

## «Я ПОЛАГАЮ, БОГ ЖИВЁТ В ОДЕССЕ...»

\*\*\*

Я полагаю, бог живёт в Одессе  
и по утрам один выходит к морю,  
чтоб солнце встало, несмотря на войны,  
шторма и катастрофы во вселенной,  
пока друг в друга целятся Дантесы,  
пока считают – с нами это можно –  
друг друга мирно подрезают волны,  
благоухает ночь самозабвенно.

Скажу сегодня городу и морю –  
стопа тоскует по твоей брусчатке,  
а глазу сухо без волны искристой  
и скучно без изгибов и лепнины,  
ажурных крыш, мостков, уютных моллов,  
когда опять запросит мозг пощады –  
сбегу туда, где зелено и чисто,  
где есть штрихи, нюансы, память, книги.

Конечно, здесь – в бутонах ранних улиц,  
варуг в площадь расцветающих несмело,  
в листьях и во дворах, в случайной фразе –  
я здесь дышу – уже не задыхаюсь.  
Со мной всё ясно, я пошла на убыль,  
на место духа прирастает тело,  
но ум да разум не даются разом,  
а бесов можно распутать стихами.

Он здесь живёт – где музыка рождается,  
где статуям кивают светофоры,  
где в перспективах сладко быть бродягой,  
где зыбок свет, дрожащий над веками.  
Равно свободны от идей, традиций –  
тот не утонет в луже, в ком есть море,  
по улице, к рассвету восходящей –  
как по лучу... Излечит белый камень,

срастётся всё, и город держит нежно  
меня в своих ладонях, как Венеру,  
шаги едва касаются брусчатки,  
пора отдать концы и взять начала.



\*\*\*

Кишка Фейсбука стала мне тонка,  
 вот-вот порвётся этот хлипкий пост  
 от нежности, от ярости, от звёзд...  
 Так мало говорю, и всё с рывка,  
 но вилкой чай мешать – гонять чертей.  
 Весна, цыгане шубы продают,  
 уже топнит от всяких новостей,  
 от честных – тоже. Выхожу к ручью,

топограф – он что видит, то поёт,  
 не брезгует ничем, рисуя план.  
 Я выдам свой невольный перевод  
 волны, и в ней створожится туман.  
 Не загоняйте человека в Гугл!  
 Бывалый конь вдоль выжженной стерни,  
 младенчество травы на берегу...  
 Но сломанной воды не починить.

#### АВТОБУС РОСТОВ-ОДЕССА

Золотые подсолнухи, тряска разбитых дорог,  
 серебристой маслины дичок раскудрявил пространство.  
 Это родина, мама, любовь, это дети и бог,  
 всё моё, всё, чем держится мир, соль его постоянства.  
 Павилицьего цвета растрескавшиеся дома.  
 Я вольна не спешить, не мудрить, быть блаженно неточной.  
 Но с другой точки зрения эта свобода – тюрьма,  
 значит, буду держаться подальше от названной точки.

Факты – вещь не упрямая, нет – их довольно легко  
 размешать, измельчить, выпечь с корочкой, слобрить корицей,  
 но всегда горьковато у дикой козы молоко,  
 и всегда виновата от всех улетевшая птица.  
 А в разреженном воздухе пули быстрее летят,  
 это если – в горах, там и мысли мелькают быстрее,  
 а в степи – зависают... Лишь дикий горчит виноград...  
 С точки зрения ангела – быстро летим. Всё успеем.

\*\*\*

Где же дяди и тётки, которых я видела в детстве?  
 Те же девочки, мальчики – что же я с ними на вы?  
 Эти бороды, эти седины, морщины... Вглядеться –  
 все, кому я так верила раньше,  
 похоже, волхвы –  
 не волшебники, просто учёные –  
 опытом жалким,  
 (был бы ум – меньше опыта было бы...)  
 Веки красны –  
 значит, завтра зима обнажит прописные скрижали  
 и к земле пригвоздит. Чё мы ждём-то? Растущей луны?



«Осторожно, ступеньки» –  
внезапно в музее. Спасибо,  
очень вовремя, всюду Италии тают холмы...  
...И кофейник внести, белой шалью прикрыв от росистой,  
зыбкой зорьки свой мир –  
тихий завтрак во время чумы.  
И пока под ковром обостряется драка бульдогов,  
пробираясь под брюхом баранов, я к морю прорвусь,  
быть в плену у баранов забавно, но очень недолго...  
Сыр сычужных сортов я не ем, но не жить же в хлеву.

Беззащитные красные веки у женщин Ван Дейка –  
это не обо мне,  
я гляжу исподлобья в упор,  
В этой цепкости рук, хоть и слабых, уверена с детства –  
не отвертишься, вместе,  
подумаешь – там светофор...  
Жизнь становится слишком короткой –  
была бесконечной.  
Нервным кончиком ветка вцепилась  
в последний листок,  
просчитавший лекало своей траектории встречной –  
что с того, что циклону на запад.  
Ему – на восток.

\*\*\*

Они не знают зеркал.  
Их отраженье – полёт.  
На волглых пролежнях скал  
небесной манны склюёт –  
и вновь вольна и легка,  
что в ней? – всего ничего.  
От сильных мира сего –  
к счастливым мира сего.

\*\*\*

Не мигрень – открылся третий глаз,  
под лопаткой больно – крылья режутся.  
то меня сослали на Кавказ  
за грехи кармические прежние,  
всё теперь смогу – поймала нерв  
тех стихий, что в реках льды ворочают,  
пьют от солнца, плачут при луне,  
молнию творят летящим росчерком.

Недисциплинированный мозг  
всё права качает – всё позволено,  
кто ему сказал, что он бы – мог?  
мы условиями обусловлены,



одурачены, обведены  
 вокруг пальца пущей осторожности,  
 только чтобы не было войны,  
 только чтобы мирно, по возможности.

Опрокинул кто-то Южный Крест,  
 нет контакта, только и останется –  
 отразиться в собственной сестре  
 через города, границы, станции.

\*\*\*

Я с годами сильней привязалась к Итаке –  
 я вольна иногда выбирать несвободу –  
 от чего захочу – в том и смысл, не так ли –  
 нам решать, кто нас радостно встретит у входа.

Полный дом переломанных стереотипов,  
 в нём и жить невозможно – немного традиций  
 всё же надо оставить – иначе увянет  
 и цветок на окне и гирлянда на ёлке  
 (не пора ли убрать?) – ну ещё полстраницы...

Полстраницы всего – и на выход с вещами,  
 душу тянет в воронку – не спрячешь, не скроешь.  
 Мне моя голова ничего не прощает,  
 мы по разные стороны линии фронта,  
 объявила войну, скоро вовсе забанит,  
 будут добрые ангелы в белых халатах,  
 затворюсь под живучей, как кошка, геранью,  
 чтобы весь этот мир объявить виноватым.

Vita brevis, а прочее – спорно, неточно.  
 Каждый день собираю себя из кусочков,  
 на которые ты меня к вечеру крошишь,  
 я срastaюсь всё дольше, теряются пазлы,  
 так и лезут, царапая, злые лушпайки –  
 нелегко отделяются зёрна от плевел,  
 плач дельфина – два вдоха и выдох – попробуй,  
 да помогут дельфины пройти этот левел.

\*\*\*

Бог есть! – а значит, всё позволено,  
 пусть даже неудобно кесарю,  
 запрет – в тебе, дели на ноль его  
 в геометрической прогрессии,

уже задела ссылку стрелочкой –  
 теперь терпи, пока загрузится  
 и разродится, и раскается,  
 отформатируй по возможности



---

весь диск. Дрожать над каждой мелочью?  
Всё, что держало – да, разрушено,  
пугает разве апокалипсис,  
всё остальное – просто сложности.

А что осталось – то и значимо.  
«Майнай!» – махни рукой крылатому,  
спустившись, улыбнись бескрылому,  
за безупречную сознательность.  
Будь я китайским иероглифом,  
я это так изобразила бы:  
мир рассыпается на атомы  
и разъезжается на роликах.

# АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ

---

## «ИЗ ТЁМНОГО ЛОГОВА МОКРЫХ САДОВ...»

\*\*\*

*«Если не будете, как дети...»*

Забыл о тусклых, его – запомнил. Он был недлинный.  
Как будто – день, и на ум пришло мне  
идти долиной.  
По палой хвое, по мягким тропам, не знавшим пала,  
и по полянам с густым сиропом  
нога ступала.  
Мело пылью над лесной округой, беспечной силой  
сияло небо и по заслугам  
наградой было.  
Горбатый корень, валежник влажный, резные лозы –  
всё отзывалось на эту жажду  
мгновенной грёзой,  
то муравьями, то муравою ступней касалось,  
плелось желанием и мечтою...  
Опять казалось,  
что спелым будущим день наполнен, как рот – малиной,  
и жизни полдень! Чуть-чуть за полдень  
перевалило,  
где сытно пахнет с корзинкой в рифму грибной мицелий,  
кораблик солнца минует рифы,  
чудесно целый,  
струится, светится напоследок спиральным светом,  
и хмель по вантам то так – то эдак,  
то там – то этам...

Одушевлённый и каждой частью во мне продлённый,  
он знал, как лёгок, красив и счастлив  
полёт подёнки,  
он был любовным напитком лета и аналоем,  
он звал ребёнка, он ждал приветов,  
он пах смолою,  
корой сосновой оттенка чая, лесным левкоем...  
Он жил единым своим звучаньем,  
своим покоем.  
Недолгий, он дорогого стоил. На белом свете  
мы были – целым, нас было – двое,  
и с нами – Третий.



## ВДОЛЬ РАННЕГО

*Ольге Андреевой*

И снова читал. И понял, как было.  
...Водой оставаясь, талой слезой,  
она узнавала поэзии силу  
и наш мезозой.  
И были русла уже тесны ей,  
любому клише грозил остракизм,  
но всё ещё ставила прописные  
в истоке строки.  
Она и вправду не представляла,  
как много умеет помнить вода,  
а память – «не знаю» переплавляла  
в негромкое «да».  
Свобода воли, свобода боли –  
соседи... Кому находить легко  
в запруде, луже, на рисовом поле  
морских светляков.  
Когда пересохла жизнь мелеет,  
мельчает строфа и струна хрипит –  
водой оставалась в сезон суховея,  
ему вопреки.  
Стихии голос, природы малость –  
искала единственно точный знак  
и соль. А соль навстречу старалась  
почувствовать, как  
в густом пространстве, в крутом растворе,  
опознанный ей пока на глазок,  
с рассветом припал к поверхности моря  
холщёвый мазок.

\*\*\*

*Ом мани падме хум*

...И никогда не знает свой шесток  
художник, гений времени и места.  
Однажды он нарисовал цветок –  
одним намёком, косвенно, окрестно.  
Вот луг, цветущий на разделе сред,  
заткавший заводь пологом узорным,  
а каждый лист листу другому вслед  
наследует пространство без зазора.  
И эта плоть роскошна и резка,  
она сверкает глянцево и рьяно,  
а лотос пуст... Ни одного мазка  
не положила в контур кисть Сарьяна.  
В нём только белый, то есть все цвета.  
Сияя полнотой неразделённой,  
чудесно проступает Пустота  
сквозь Лотос, белоснежный на зелёном.





Не угнетён обычая пятой,  
 послушный только внутреннему зову –  
 художник знал. И Будды дух святой  
 глядит из тела лотоса нагого.

\*\*\*

...и первое сопряжение тел.  
 Жестоким шквалом плоть полощет. Сердца пока ещё на ощупь,  
 их стук свиреп и оголтел.  
 Их плотный яростный огонь переплавляет меч в орало  
 в чудесном тигле.  
 Ночь начала...  
 Ладонь оправлена в ладонь  
 и сквозь клубящийся эфир, во тьме от края и до края  
 зрачками пальцев озирает и открывает встречный мир,  
 который срочно захотел родиться в новом варианте,  
 к другой вселенной толерантен в невыразимой нагоге.

Раскрыта бездна. Звёзд буран.  
 В клепсидре шторма парной тенью, сплочённой полем тяготенья,  
 несёт, как лист, катамаран.  
 И, серебром блестя над ним, оберегая их земное,  
 неуследим, неуловим, летит дозорный херувим,  
 солдат небесного конвоя –  
 но нет пощады тем двоим...  
 Им брезжит тайна бытия, их небо молниями дышит,  
 и влажным смерчем – выше, выше! –  
 встаёт великая змея.

...Бледнеет цвет ночных чернил. Уже восток беззвёздно-светел,  
 и красный гребень белый петел под гладью вод воспламенил.  
 Отлив качает колыбель. Едва струящееся время,  
 сплетая будущее, дремлет в новорождённой гольтыбе.  
 Синица в их руках тепла. Его и сонную подругу  
 любовно лечат от недуга, от ночи, выжженной дотла.  
 Узнавшим первые азы – им хорошо. Им сладко спится.  
 Под утро снится той синице другого времени язык.  
 Там всё меняет прежний вид, но страсти суть не умирает.  
 Страница повести – вторая.  
 Стомиллиардный том любви.

## ДОЗОРНЫЕ

*Даниилу Андрееву*

Вселенная, День седьмой. В гамаке лучей  
 совпав с резонансом светил, голубеет шарик.  
 Корпускулы солнц чужих по Системе шарят,  
 где он согревает бока, покуда ничей.



Звенит его бубенец, скорлупой обняв  
тяжёлый орешек, чей мрак обведён лиловым.  
Пылением чёрной дыры творится основа  
морей, континентов, снегов и опять огня.

И лаву вздымает с ней в унисон прилив,  
по плоти коры проходит невольный трепет,  
а солнечный шторм сплетает магнитные треки,  
мешая с эфиром цветные венцы Земли.

Планета моя, приют мириадов душ,  
ядро многомерных сфер, карусель событий,  
гнездо океанов, голодных страстей, сонтий,  
мельчайшая спора одной из астральных луж!

От горных седин до испода её глубин,  
от блеска духовных стран до свинцовой муки  
за каждую пядь или мысль сражаются руки  
и мощные воли. Клин вышибает клин.

Ошибки печальны. Покинутый жизнью Марс,  
моря под песками... Иголками гравитонов  
уже невозможно сшить куски Фэтона –  
кольцо астерондов, сонмы угрюмых масс...

Но юность её, удобренную золой  
вулканов и метеоров, злом и любовью,  
сейчас охраняет главное из условий –  
каскады миров, встающие над Землёй.

Просторную и прохладную колыбель  
под сенью Христа дозоры воинов света  
от морока лечат, чтобы жила планета,  
чтоб шарик её кружился и голубел.

И Братья Его, Сыны одного Отца,  
Которым других планет судьбу поручали,  
их зори хранят, встающие под лучами  
пресветлого Солнца, янтарного бубенца.

Когда-нибудь внятным станет вселенский зов,  
звучащий везде, где этот мир обитаем...  
Пусть Им поможет молитва твоя простая  
из нескольких тихих и благодарных слов.

### ГУСИ-ЛЕБЕДИ

Распахнувшись, синеглазым,  
как разбуженное дитя –  
над степями и над Кавказом  
караваны гусей летят.  
Неоглядным, холодным, длинным –  
посылают в далёкий край,  
то ли линией, то ли клином,  
узелковые письма стай.



Многомерным узлом завязан,  
 обнесён чешуёй границ,  
 удивляет наземный разум  
 тяготеющих к Югу птиц.  
 Над Алеппо и над Синаем,  
 над песками и над золой  
 гравитация их сквозная  
 проникает воздушный слой.

Не пытаясь понять законы  
 неопрятного дележа,  
 опасаясь стальных драконов,  
 изрыгающих рёв и жар,  
 полагая вражду позором,  
 обходя очаги огня,  
 неуклонно ведут к озёрам  
 оперившийся молодняк.

Покидая на срок лиманы,  
 перелётный ордер храня –  
 за Египтом и за Суданом,  
 где не рвётся в клочья броня,  
 на короткой точной глсссаде,  
 не задействуя тормозной,  
 на озёра Замбези сядут  
 в ослепительный блеск и зной.

### ПАРАФРАЗ

Безветренный вечер налит по края  
 зелёного неба. И звёзды-соседи  
 мерцают в доверчивой тихой беседе.  
 Поди, догадайся, которая чья.  
 Густеющей стаей в искряный садок  
 неспешно сплываются. Ветви раздвинув,  
 сквозь частые грозди незрелой калины  
 какая-то ищет себе половину,  
 от музыки сфер отрешась на чуток.

Из тёмного логова мокрых садов  
 искомый лицо подымает навстречу  
 зениту, где шарики света лепечут  
 на темени тьмущей вселенских ладов.  
 Ему не хватало к закату любви,  
 и этой звезде без него одиноко.  
 Он мог бы туда, но не выслужил срока.  
 И та обнимает, как Леннона – Йоко,  
 выюнками лучей осторожно обвив.

Чего же им больше? куда им спешить?  
 И хватит ли этим, печали вручённым,  
 огня, обречённого быть отлучённым  
 от суетной, глупой, бесстрашной души?



Но свет прибывает, и длится черёд,  
хоть он не старался... а, может, нарочно  
с серебряной ложкой во рту и в сорочке  
родился на краткие годы и ночи –  
услышать кремонские песни её.

Кастальский родник, оправданье стиха,  
летучий кораблик, лазурный колибри,  
безгрешное светлое пламя ex libri  
имён и гаданий...

Чиста и тиха  
июньская вечера. Воздух свежей.  
И пьётся, и дышится. Та, не другая –  
трепещет, и мрак безмятежно свергает,  
и каждое яблоко встречно сверкает  
с деревьев познания истин и лжей.

Гори, не сгорая... Он счастлив тобой,  
звезда Вифлеема, светило ислама.  
С тебя начинаются люди и храмы,  
и ты родилась от кого-то звездой.  
И медлит библейский архангел с трубой,  
беззуба химера распада и срама,  
не в силе надменная Белая Дама,  
когда обрамляет стемневшая рама  
доставший до сердца клинок голубой.

# МАРИНА МАТВЕЕВА

---

## ПЕРЕНАСТРАИВАНИЕ НЕРВОВ

### ЭГОИСКОННОЕ

Прости меня за то, что ты мне сделал.  
Хоть сам себя спаси и сохрани.  
Ведь оба – сгустки эгобеспредела.  
Земная ось. Ломающий магнит.  
Таких, как мы – младенцами *вбывали*  
за мудрых глаз чумную глубину,  
за пальчики из блеска готовален,  
чертящие квадратную луну.  
Да что луна! Трёхмерности шатая,  
идёт душа сквозь тучи напролом,  
пугая ангелов пушистых стаю,  
к Творцу на диспутический приём.  
Потом уходит, створкою шарахнув,  
ногой оттопав сказанное им.  
Из ножен – рыбоиглую Арахну! –  
ткать личный мир! – покуда нелюдим.

Ткать для... кого-то. Но они едва ли  
бойцы – для этой нутряной войны,  
что фреску белокаменной печали  
набьёт превыше белочек земных,  
поверх икон. Идносинкрязия  
Вселенной. Водка царская. Лимон.  
Прости, что для меня ты не Мессия.  
Но и не идолопоклонник мой.

Мышь, изо снега слепленная кошкой,  
растает от малейшего глотка  
тепла, – здесь будет голод – черпай ложкой! –  
покуда истина не съест. Лакать  
галактику ковёрнутой каверной...  
Хочу себя! Небесная кровать...  
Я никогда тебе не буду верной,  
пусть даже, изменяя, станет звать  
живое пламя гаслая лучина,  
социопатски рявкая: весла  
всем девушкам! Ко мне вот – немужчина.  
Да и к тебе неженщина пришла.



Но как бы ни кололи наши очи  
долги, стереотипы и фыр-чадь  
бабья, – я о тебе не позабочусь,  
а ты меня не станешь защищать.  
Тебя ограбят, избыют, расстригут –  
я так же не взобью в колокола,  
как ты по мне, когда рысак ноль-три на  
моей судьбе закусит удила.

И это так же верно, как собака.  
И это так же громко, как молчит.  
Эгоисконной нежности атака...  
Покуда смерть – нигде! – не разлучит.

\*\*\*

Мир горит, корёжится, коптит...  
Раздирая души, рвутся мины...  
Женщину ничто не защитит –  
лишь её мужчина.

Мир спокоен. Скука. Мелкий быт.  
Сорок градусов в стекле безвинном.  
Женщину ничто не защитит  
от её мужчины.

Дети. Им бы деньги. Им бы быть.  
Можно выжить рядом с юбкой-мины.  
Женщину ничто не защитит  
от её мужчины.

Мир свернулся. Старость. Всё висит.  
На лице и памяти – морщины.  
Женщину ничто не защитит  
от её мужчины.

Предавал и будет предавать  
каждое «прости», свою, чужую...  
Если больше не с кем воевать –  
с женщиной воюет.

Некому навешивать вину:  
Богу, Будде, Кришне, карме или...  
«Кто-нибудь, пошли ты мне войну,  
чтоб меня любили!» –

вот он, крик всех женщин – до святы,  
хоть молить об этом – дрогнет сила:  
перебей две трети, треть оставь –  
но чтоб нас любила.



Хоть без рук, без глаз, без ничева –  
вырви ген предательства и насилий!  
Ну и пусть останутся – дрова.  
Но чтоб нас – любили!

Мир не может. Мир не может. Не  
может мир. Не может мир. Не может  
мир. Не может мир не может. Мне  
мужественно тоже.

Скоро я доказывать пойду  
силушку свою и удаль водкой.  
Женщина, люби меня, я тут!  
Я твоё авоткуй.

Лесбиянки, где вас носит чёрт?  
Одинокой нежности звездалькам  
всем даю естественный расчёт:  
я к тебе с инсультом.

Или в руки мне гранатомёт.  
Или «Тополь-М» мне вместо свечки.  
Буду мир спасать (а то убьёт)  
от себя. Не думая о встречном.

### ДУХОВНЫЕ ЛЮДИ

Духовные люди хамят недуховным,  
как тётки с базара, а то и похуже.  
Наверно, решили: поскольку духовны,  
то можно нам всё – да спасёт ваши души.

Вы грешники, тёмные, злые неверы,  
продажники душ, слабаки, не твердыня.  
А бог... Или боги... Да станут примером  
для вашего роста – и присно и ныне.

В себе убивайте поганое эго.  
Ищите её, эту странную – «душу».  
Плывите за богом по небу без берега,  
в телах изживая желанную сушу.

Бывало. Плывала. Вокруг временами.  
А чаще по векторной функции бога.  
Но вот ведь какая оказия с нами –  
война. И небес очень много. Так много! –

особенно тех, из которых снаряды,  
особенно тех, из которых убийцы,  
особенно тех, что живущего рядом  
звереют, сдавая в рептилии-птицы.





Духовные мысли... Духовные взгляды...  
 «Разгневались боги – любили их вольно».  
 Духовные люди, подайте мне яду –  
 для вытравки «эго», которому больно.

Когда ты духовен, то всё тебе боже –  
 и гибель детей, и бабё в камуфляже...  
 Духовные люди, подайте мне ножик –  
 пускай моё сердце на жертвенник ляжет!

Да только и это ничем не оденет,  
 и зря изойдёт (паки крестные страсти?)  
 Духовные люди, подайте мне денег –  
 слаба. Не осилить духовное счастье.

### КУМИР-ОТВОРЕНИЕ

Цветаева была большой эстет.  
 Она сказала: «Муж. И он прекрасен!»  
 Быть может, и стоит на этом свет:  
 где бровушки вразлёт – там перец ясен.

А я скажу тебе: ты просто бог  
 языческого древнего разлива.  
 Не до бровей, где от тебя, с тобой  
 через тебя мне всё насквозь красиво.

С тобой мне даже камень оживёт,  
 чтоб умереть и бабочкой родиться.  
 И даже сердце не кричит – поёт,  
 когда болит исклёванной птицей.

Ты сам того не знаешь – не дорос  
 до сути сотворения кумира.  
 Всё просто: тот учитель и пророк,  
 кто нам раскрыл глаза на правду мира.

Мир так хорош! Хоть много в нём мерза...  
 Да нет, – учителей другого рода,  
 что тоже раскрывали мне глаза  
 на сущность человеческой природы.

Что доказали – да ещё и как! –  
 что я ничто, раз не сильна бровями,  
 раз никогда ни гений, ни дурак  
 не вознесет резца на мёртвый камень,

чтоб оживить в нём перси и персты  
 мои – и это обзвать Венерой.  
 Ты – тоже не персты. Сознание – ты,  
 перенастраивание самых нервов.



На них играть уверенной рукой –  
да чтобы слёзы – счастья, а не боли,  
сумеете, учителя? Тисков  
своих учений противу – слабо им...

А за – легко. И мне за этим за –  
прелегче лёгкого... Как трудно взверить,  
что ты совсем, совсем не обяза-  
ТЕЛЬНА, чтоб разрешили жить, – венерить!

И зверь во мне не верует пока.  
Грызётся с терпеливою рукою...  
Ты – выше и кумирнее божка –  
не всяк Господь возьмёт спасать такое...

И даже Тот, что на небе, – не рад.  
Он говорит: «Вот Я». И выбираем.  
Он предлагает рай. А там, где ад, –  
нужда во изнасилованье раем.

А где в раю насильники? Набить  
их поролоном – да по самы перья...  
Лишь человек умеет так любить,  
чтоб плакали от зависти венерьей

Парисовы избранницы в шелках,  
швыряя в пыть короны и алмазы...  
Пусть мир и дальше ходит на руках.  
Он всё равно прекрасен, как зараза.

# ЛЮДМИЛА КАЛЯГИНА

---

## ЧУГУННОЕ ЛИТЬЁ И СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЦЫ

### ТВОРЦОВОЕ

Сколько ни бейся, не станет лучше, прямо «tobe или nottobe». Хотя на болоте целуй лягушек, хоть во дворе Снегурку лепи, хоть из ребра вытачивай диву (выбери нужное – наугад!) – всё это мелко и некрасиво, и, по-серьёзному, плагиат.

В литературе ищу причины, нервно листаю за томом том: все эти куклы – Суок, Мальвина – мило, талантливо, но не то! Эти детали дурного тона – ключики, пальчики, глупый взгляд... Вы б предложили ещё Джоконду, что улыбается всем подряд!

Я же замыслил совсем другое, я же художник, в конце концов: нужно, чтоб в радости или в горе, телом, движением и лицом, словом, улыбкой, душой, конечно (ибо бездушных и так полно) – было б, простите за рифму, вечно это создание вдвоём со мной.

Как это всё-таки бестолково – в матовом мраморе пульс ловить. Тело прекрасно, лицо готово, дело за малым: дыши, живи! Не получается акт творенья, муки творца пропадают зря, если родное произведение не соглашается доверять...

Снова такая, как я оставил – вряд ли живей, чем была вчера. Эта игра, как бои без правил – сверхувлекательная игра! Кашляя, пачкаясь и потев, партию еле свожу вничью...

Я назову тебя Галатея – если до срока не разобью.

### МЕЖДУРЕЧНОЕ

Вот наказание человеку –  
Всё только раз дано!  
Это бы здорово – дважды в реку.  
Жаль, вероятность – ноль.

Впасть бы в неё, как впадают шустро  
Светлые ручейки...  
Что ты, давно утекли по руслу  
Воды твоей реки,

С края земного срывались в танце,  
Солнечно ослепив –  
На черепаший узорный панцирь,  
Глянец китовых спин.



Было – да сплыло. Зовёт – не слушай,  
Изгнанный человек.  
Ненаречённый, живёшь на суше,  
Маешься между рек.

Это бы здорово – а грешно ли,  
Нам ли о том судить? –  
Стырить с тарелки пирог вишнёвый  
И молоком запить...

#### ПОГОВОРОЧНОЕ

Пока держали – так над мостом,  
А уронили – пошли круги.  
А что блестело – то и в гнездо,  
А что не очень – то не с руки.

Пока летели – тепло да синь,  
А стали падать – секло дождём.  
А что созрело – косой коси,  
А что пропало – то ни при чём.

Пока горит – по огню и дым,  
Пока играешь – всегда ничья.  
А что имеем – то не храним,  
А потеряли – так в три ручья.

#### БЫТОВОЕ

Мощь свирепого рыка пронзает эхом  
Галереи, каморки и переходы.  
Предсказуемость новой шальной потехи  
Далеко превосходит прогноз погоды.  
Волны гнева – по окнам (летит слюда лишь),  
Сотрясают старинную кладку башни...  
Ты устало и ласково наблюдаешь  
Столь привычный, приевшийся рукопашный,  
Подбираешь осколки разбитой вазы  
В белоснежной, тобою белёной, спальне.  
Предки смотрят с портретов, слегка чумазы –  
Осуждают за копоть на покрывале...

На лугу за мостом – голосина трубный:  
Снова чучело с палкой, в стальных доспехах.  
Ах, «на бой» – начинаются танцы с бубном!  
Значит, кто-то кого-то спасать приехал.  
Если мост развести и закрыть ворота,  
Да следить, чтобы ров не мельчал под кручей –  
Он забудет и сам, что хотел чего-то.  
Покричит и уедет – не первый случай.  
Пара миль до трактира, и пиво – к вобле...  
Наболтает с три короба, спляшет с саблей.  
Утром выйдут газеты: «Огонь и доблесть!»  
(Нам сперва их носили, потом отстали).



Ты – останешься.  
 День перельётся в вечер.  
 Тень от замка коснётся опушки леса.  
 Мы зажжём в канделябрах витые свечи –  
 Почитать про дракона и про принцессу...  
 Белоснежная спальня в привычном шоке,  
 Впечатлений хватило б на том преданий.  
 У тебя на ладонях следы ожогов.  
 У меня – неизбывный комок в гортани.  
 Наши земли обширны, права исконны,  
 По легендам в деревне слагают песни.

Ты всю жизнь приручаешь моих драконов...  
 А своих завести – недосуд, и тесно.

### ТАВР

Попить бы... будь прокляты привязи и столбы.  
 Укрыться б от солнца, но пальмовой тени мало.  
 Высокая рощица смотрится светлым залом –  
 С колоннами, этими, как их?.. опять забыл.

Забыть бы навеки. Смотреть бы не вверх, а вниз.  
 Пустить бы здесь корни, в любом из возможных смыслов.  
 И ныне, и завтра – и даже, пожалуй, присно.  
 Найдись, оказаться – пожалуй, и обрестись.

Почистить бы карму и зубы, наладить быт,  
 Пойти на усиленный выпас, прийти бы в тонус...  
 Зудит и кусает мушиная монотонность.  
 И будешь ли, право, травойю единой сыт?

Забыть бы. Но память нелепая дорога:  
 Вот здесь, где хвостом по морщинистой шкуре хлопал,  
 Сидела, дрожа, перепуганная Европа,  
 Схватившись покрепче ручонками за рога.

### ОСТРОВ

*Kob Sichang, Thailand – с любовью...*

Камни растут из земли, а из них – растения.  
 Камни не собраны: видно, ещё не время им.  
 Солнце редакций Deluxe, Enterprise и Premium  
 Жгучим слепящим шаром виситверху.  
 Камни в сухой траве, их нашли и бросили.  
 В наших краях эта гамма была бы осенью:  
 Медное с золотом перетекает в прозелень.  
 Небо – Kingsize, атласное, на пуху.

Логово мира – тайник, сторона обратная.  
 Птицы кричат незнакомое, непонятное.  
 Камни из тонкой земли проступают пятнами,  
 Трещины держат свечи сухих стволов.



Сказки слагаются, не притворяясь добрыми.  
 Чтоб не с огнём – может, лучше и вправду с торбою.  
 Камни разбросаны, камни ещё не собраны.  
 Время ещё не вызрело, не пришло.

### ЛЕСТНИЧНОЕ

*Одесской голубой лестнице в доме на улице Гоголя*

Чужие города – познание миров.  
 Притихшая душа за пазухой прирелась.  
 В парадном полумрак; такая акварельность,  
 Что нищешь взглядом кисть, бумагу и перо.

Здесь золотая пыль, семь красочных слоёв,  
 Чугунное литье и солнечные зайцы –  
 И так нетрудно быть, и так легко казаться,  
 И полной горстью брать, и отдавать своё.

И кажется, что мир давно погряз в долгах  
 Пред сонной тишиной, где жили и кружили  
 Густая синева стихов Бараташвили,  
 Руан, собор Моне, танцовщицы Дега.

### ПРЕДЛОЖНОЕ

*Живёшь себе, вся в себе, не выходя из  
 Анна Галанина*

Проснувшись, смотришь – город совсем слепой,  
 Хоть в окно гляди, хоть глаза в глаза.  
 Веришь, живёшь невидимо, под, из-под,  
 Не выходя из, не выходя за,

Сдавшись течению пёстрой тугой реки,  
 Не поймав волну, не нырнув до дна.  
 Это же просто – между, не вопреки,  
 Не говорить про, не посылать на,

Сжаться, остаться дома, где свет и чай,  
 Не увидев ночь, не дожив до дня.  
 Главное – не закончить бы, не начав,  
 Не умереть без, не прогореть для,

Не пережить согласно, благодаря,  
 Вдоль, поверх, ввиду, вследствие, насчёт.  
 Главное – чтобы через, и чтоб не зря.  
 Не забывать о, не уходить от.



## НЕКРОЛОЖНОЕ

за окном неживое нетёплое серый тон  
мой пароль не подходит и некрологин не тот  
мысли в формы записаны рондо терцет сонет  
некроложные принципы истина ли в вине  
недосолнечно в лужах разлив в облаках раскол  
некрологика женская запах такой мужской  
это скоро пройдёт потерпи родной не молчи  
некроложечка звякает кофе слегка горчит

## БЕЗВРЕМЕННОЕ

Важно ль, кем был незнакомый гость  
и о чём  
пел?  
Мне наливают времени в горсть,  
Говорят: пей.  
Время горчит, обжигает гортань.  
Жадный вдох сух.  
Каждый второй из выживших – пьян,  
Каждый четвёртый – глух.

Важно ль, о чём на словах был спор  
и о чём –  
меж?  
Мне насыпают времени в горсть,  
Говорят: ешь.  
Пряная пыль на тощей земле,  
Крошево стен.  
Каждый пятый из выживших – слеп,  
Каждый десятый – нем.

Важно ль, кто видел в ночи огонь  
и в набат  
бил?  
Тёплое время кладут в ладонь,  
Говорят: люби.



# ВЕРОНИКА КОВАЛЬ

---

## ПОТЕРЯННЫЕ рассказ

В разгар студёного октябрьского дня Пётр Петрович грелся в углу облезшей деревянной скамьи в приёмном покое. Не спеша глотал ещё горячий кофе из картонного стаканчика, благо, буфет был в соседнем помещении. В другом углу, как обычно, примостился бомжик, которого персонал считал чем-то вроде домовёнка. Из-под капюшона его куртки торчала только куцая бородка. Но Петра Петровича никто не мог принять за бомжа. Одет аккуратно: пальтишко из кожмита, фетровая кепка, ботинки начищенные. Он здесь при должности!

В больницу его, бывшую мелкую военную сошку, пристроил кум: «Деньга, ясен перец, аховая, но всё же не баклуши бить». Кум не верил, что Петрович не может делать физическую работу. А тот лет с десятка тому грохнулся на приснеженном льду. Локоть пронзила такая боль, что наплыла тьма. С той поры, хоть ни перелома, ни трещины в кости правой руки снимок не показал, даже молоток из руки выпадает. А куда ещё мужику податься? Вот и приходилось ему забивать козла с бездельниками, чего он терпеть не мог, потягивать пиво, что тоже было ему поперёк горла. Ему хотелось быть при каком-то нужном деле, а то сам себя перестал уважать. Поэтому Петрович несказанно рад был этой работе – всё же в обществе, на людях. Да и работа не пыльная. Всего-то: когда дежурная медсестра заканчивала оформлять поступившего больного, она кричала:

– Петрович, лор!

Или:

– Петрович, кардиология!

Или:

– Петрович, терапия!

Тогда он, как солдат, готовый к бою, резво вскакивал, командовал: «За мной!» и выходил с больным из приёмного покоя. Его нужно было довести до соответствующего отделения и сдать дежурному. Дело в том, что больница, ровесница города, прирастала с годами всё новыми и новыми территориями и корпусами, по которым впору было изучать смену архитектурных стилей. Военная косточка, Петрович отнёсся к делу с величайшей серьёзностью. На плане изучил дислокацию корпусов, потом собственными ногами вышагал каждый маршрут. Приходилось и постоянно корректировать его с учётом того, что без конца копали землю, взрывали асфальт, перекладывали трубы.

Пётр Петрович осознавал важность своей миссии – вести человека к выздоровлению. Он не изучал греческую мифологию и потому не знал, что иногда в его тело вселялся Харон – перевозчик людей из мира живых в мир мёртвых.

Поначалу Петрович пытался заговаривать с больными, рассказывать им о старинных зданях, но те не слышали его, застыв в панцире свой беды, и теперь он молчал. Просто шёл рядом и, если нужно, поддерживал, вёл за руку.

Вот и сегодня он вдохнул всей грудью сухой осенний воздух с примесью горечи палой листвы и неспешно повёл больную к самому дальнему корпусу – кардиологии. А путь – «три загиба на версту». Петрович звонко цокал подковками ботинок по асфальту. Вспомнилось ему, как много лет назад они с Володькой рыбачили на лимане, и дул такой же свежий ветер, и они радовались, что сумели вырваться из города. Клёва не было, но они не расстроились. Набрали по кульку мясистого пунцового шиповника, чтобы как-то оправдать свой вояж в глазах жён...



Увлёкшись воспоминаниями, Петрович незаметно для себя прибавил скорость. За вторым поворотом он оглянулся. Что за чёрт? Больная пропала. Он бросился к первому повороту – её не было. Конечно, Петрович к ней в приёмном покое не приглядывался, но заметил пучок обесцвеченных волос, перехваченных чёрной бархоткой. Вполне ясная примета. Никого похожего на асфальтовых дорожках не наблюдалось.

Петрович похолодел.

В кардиологию, прикинул он, собравшись с мыслями, больная пройти, минуя его, не могла. Значит, вернулась в приёмный покой. Он бросился туда. Как раз на «Скорой» привезли двух пострадавших в аварии, вокруг них мельтешили санитары и спасатели, в толпе трудно было сориентироваться, но всё-таки блондинистая женщина как-то бы выделилась. Нет. Петрович с трудом выпросил у дежурной сестры номер мобильного телефона поступившей минут двадцать назад – как оказалось, Валентины Ананьевны Приходько, 67 лет... Дрожащими пальцами тыкал в кнопки, но отвечали длинные гудки.

Что делать дальше, Петрович не знал. Придётся признаваться.

Кум, услышав невнятное бормотание родича, побагровел:

– Потерять большую? Мать твою! На раз вышвырнут, и меня вместе с тобой! Ты головой думаешь или задницей?

Вместе с Петровичем кум прочесал территорию, спросил сестёр в кардиологии. Никто такую большую не видел. Как будто её корова языком слизала.

Что оставалось? Только идти домой к Приходько, хотя не хотелось Петровичу до ужаса. Если она не появлялась, родственники всех на уши поставят. А его вообще четвергуют.

Частный неказистый дом, однако, словно вымер. Стучал Петрович во все окна, колотил в дверь. Бесполезно.

Вернулся Петрович, готовый к новой выволочке, но кум уже поостыл. Присели родичи на скамейку и стали думать дальше.

...А Валентина Ананьевна, плетясь за провожатым, вдруг почувствовала жгучее желание помочиться. Острый цистит ждать не мог. Перешагнув через бордюр, она хотела присесть за ближним кустиком, но эта точка просматривалась со всех сторон. А неподалёку виднелся островок густой зелени. Валентина еле дошла туда. Облегчившись, натянув трусы, колготки, тёплые рейтузы, расправив юбку, она постояла у кустов, потом вышла на асфальт и не смогла вспомнить, где она оказалась и зачем. Почему-то пошла к воротам. А оттуда до дома – рукой подать.

По дороге Валентина вспомнила мысль, которая терзала её. Соседки поговаривали, что скоро выйдет закон про то, что государство не будет платить пенсию работающим. То есть или пенсия, или зарплата. Валентина ни на день не уходила на заслуженный отдых. Последние лет шесть она торговала хлебобулочными изделиями в ларьке на Прогонной улице. Нужно было в семь утра принять по накладной эти самые ещё тёплые, пахучие изделия, разложить их по полкам в соответствии с ассортиментом и ровно в восемь снять с окошечка табличку «Закрывать». С той стороны окошка уже ждала баба Настя, с которой можно было посудачить об уличных новостях. А теперь надо выбирать. Если отказаться от работы, то оно, конечно бы, лучше: ноги стали так опухать, что Валентина могла в ларьке только сидеть, кардиограмма никудышная, опять же одышка. Но на пенсию не проживёшь. Выбрать работу? Тоже, конечно, не прожить, но всё же чуток поболе. А когда то и другое, можно и коммуналку оплачивать.

Мысли эти разрывали голову, и не заметила женщина, как оказалась в своём приделке. Сам дом она отдала сыну с семьей. Ей и восьми метров на всё про всё хватало.

Валентина машинально открыла холодильник и увидела, что там есть все овощи. А сумка картошки – под дверью. Почему бы постный борщ не сварить? Принялась крошить капусту, свёклу, морковь, зелень. Делала это с охотой, споро. И тяжкие мысли, и боль сердечная куда-то внутрь ушли.

Только присела отдохнуть, Валерий ввалился из чулана, который соединял дом с приделком:

– Мам, ты картошку жареную с нами не будешь есть?

Он всегда так угощал: «не будешь?».

– Давайте ко мне на борщ, а сковороду с картошкой сюда тащите!

– Есть, товарищ командир!

Пришёл со Светкой.

Ели они борщ, а Валентина любовалась: могут ведь ладить, а то без конца собачатся да собачатся.

Серёжка из школы подоспел:

– Ба, что-то вкусненькое есть?



Валентина достала из сумки рогалик с клубничным вареньем:

– Только после обеда! – вмешалась Светка.

Что ж, матери виднее.

Когда дети встали из-за стола, Валерий даже приобнял мать, чего за ним никогда не водилось.

А Валентину вдруг начало клонить в сон. Скинула она розовое с оборками покрывало прямо на пол и удивилась: на кровати новый матрас в голубом наматраснике и такая же подушка. И набиты они свежим пахучим сеном. Такое сено оставляли на сушку в загоне, и в нём она девчонкой кувыркались до изнеможения. А вот и мама: косит разнотравье, коса поблёскивает на солнце, мама, в выгоревшем ситце, со щеками, как печёные яблоки, кричит:

– Валька, подь сюда!

Валентина прилегла прямо на матрас. Сухие стебли приятно покалывали. От духмяных трав закружилась голова. Женщина прикрыла глаза и впала в забытье...

Петрович сидел на лавочке, понурив голову. Кум шумно выдохнул:

– Не миновать идти с повинной к главврачу. Так бы и дал тебе по шее, отгрызок!

Поднялись, потопали. В эту минуту кто-то закричал:

– Труп нашли! Санитаров давайте!

Петрович ринулся во двор. Лёгкие ботинки казались ему солдатской кирзой, так тяжело было бежать. Задыхающийся кум семенил следом. На газоне толпился народ. Какой-то мужчина с собакой кричал, что она вдруг загавкала и бросилась в заросли.

Под кустом лежало тело женщины. Петрович сжался: крапшие волосы разметались по траве. Она! Зрелище было жуткое. Чёрная куртка, чёрная спущенная юбка, а между ними белый-белый оплавивший живот и толстые ляжки.

Приблизилась, не спеша, санитары с каталкой. Петрович позорно бежал в приёмный покой.

Кум, отдышавшись, спросил:

– Она у тебя отпрашивалась по нужде?

– Её богу, нет!

– А ты где был в это время?

– Да только за угол завернул!

– Сиди, пойду к главному решать твою участь.

Петрович сидел, ссутулившись. Он с отвращением вспоминал сползший на бок толстый белый живот потерянной. Его нутро вдруг залила горячая волна злости. Дурында! Приспичило ей! Оставалось-то метров тридцать. Могла сама его окликнуть! Из-за неё он работу теряет. Что, опять с мужиками под матерщину пиво педить? Опять с женой толочься в кухне и слушать упрёки? Но чем сильнее разжигал он в себе костёр злости, тем нахальней пиццал внутренний голос: «Ты, ты, ты виноват!». Если бы он тогда контролировал ситуацию, дети и внуки Валентины сейчас сидели бы в палате и утешали её, стараясь улыбаться: «Всё будет хорошо, мама!».

Тошно стало Петровичу. Он опустил голову и прикусил лацкан пальто, чтобы сдержать рвущийся наружу стон.

# АЛЕКСАНДР ХИНТ

## СИЛОМЕР рассказ

Что можно усвоить, будучи не бог весть каким учеником 7-го класса? Лёша усвоил следующее: велосипед он получит при выполнении двух условий. Во-первых, когда исправит тройку по алгебре. Во-вторых, к моменту папиной зарплаты надо не нахватать новых. Если первая часть императива выглядела трудно, но не смертельно, то вторая... Лёша не понимал, как у Людмилы Михайловны получается давать чудовищные задания ровно в начале месяца. Специально они с отцом договариваются?

Майским утром пыльные солнечные трассы рассекают комнату, только в воскресенье и можно выспаться. Но не сегодня: с восьми на кухне хлопанье дверцы, а в половине девятого Лёшу растолкали. И, для верности, брызнули водой.

- Чё, с ума сошли?
- Кто-то говорил, хочет со мной на Староконный.
- Нет, не знаю... Ну папа!
- Там есть велосипеды, «Орлёнок». Можно посмотреть.
- «Орлёнок»...
- Бегом умывайся. Мама сделала сырники.

Староконный рынок в мае оживает, а по выходным он просто, как ручей с карбидом. Здесь торгует заводским инструментом дядя Боря, у папы с дядей Борей общие дела. Он немного картавит и глаза у него словно присыпаны песком, как у актёра Заманского. Дяди Борин брезент лежит на асфальте, там свёрла, резцы, стамески, зубила и прочие средства социалистического производства. Как здесь оказались заводские свёрла? Этот вопрос отношения к делу не имеет.

Лёше нравится проходить Староконный насквозь, мимо клеток с неумными канарейками и попугайчиками, вдоль аквариумной секции черепашек и вуалехвостов, по рядам рыбацкого инвентаря. Он всегда задерживается у входа, там шевелятся пухлые клубочки, щенки и котята. Рядом взрослые особи, их рефлексy доведены до автоматизма. Основные рефлексy – лень и высокомерие, что удачно сочетается с медальными опейниками.

Вдоль стены змеится барахолка, а, верней, фантастическая лавка антиквара. Кто-то щедро распахнул сундуки человеческих жизней, где любая вещь – закладка во времени. Лёша видел костяные пудреницы и гребни, изумрудную табакерку, траченное молью манто, веер из павлиньих перьев, резные трости, пластинки Шаляпина и Карузо, графские шахматы, морской треснувший бинокль, портсигар «Чтобы помнил меня», игральные карты времени нэпа, фамильные ложки с ятями, пробитую каску и части от «шмайссера», программку 1908 года, открытки «Героям Шипки – 25»... И книги, покрытые оспинами книги, собрания, справочники, старинные атласы, тома Брокгауза с вырванными листами, детские издания, поваренные клоны Молоховец – книги, книги, книги.

Пока папа обсуждал судьбу штангенциркуля, Лёша наблюдал текущую действительность. Вот поставили чучело совы с янтарными глазами, оно увешано галстуками. Вот дама предлагает собрание Грибачёва, торговец реагирует скептически. Вот мужчина в очках пронёс обезьянку, ему вдогонку: «О-о! Капитан появился». Вот прохожий с бинтованным запястьем вынул руку из кармана, оттуда что-то выпало. Лёша поднял и расправил бумажку. Двадцать пять рублей. Можно всё лето хавать мороженое. Можно купить футбольный мяч. Или фотоаппарат. Прохожий стремительно уходил, спортивный костюм колыхался в такт движению.

«Извините, вы потеряли!» «Шо я потерял?» На Лёшу смотрел худощавый парень универсального возраста, может 18, а может и 30. Он достал из кармана жменю таких же купюр – и кивнул, возвращая блудный четвертак.



- Да, в натуре. Спасибо, мальй.
- Не за что.
- Шо ты здесь, птичек смотришь?
- Не, я с папой. Он обещал мне велик посмотреть. «Орлёною».
- Хочешь лайбу взять?

И Лёша выложил незнакомцу всё, что наболело, о велосипеде и о математике, рассказ получился короткий и трогательный. «Гарик», – он протянул здоровую руку. «Лёша». «Если надо лайба, приходи. Спроси Гарика, шо-то вымутим. Давай». И он исчез, подобно шару в лузе.

Лёша плавл за отцом на площадку двухколёсных машин. Сбоку энергично спорила группа мужчин неформальной наружности. «Ты больше 50 никогда не делаешь. Иди тренируйся». «Тем лучше для тебя. Ставлю петушок». «Отвечаю». «Ну давай». «Чего я первый?» «Ты же крутой». «Ладно. Держи, 59». «На тебе 62. Вася, свободен». Из рук в руки переходил силомер, никелированный, вроде тех, что висят рядом с уличными весами и можно за пять копеек проверить руку. Здесь играли по пять рублей.

Надо сказать, Лёшин папа отличался физическим развитием и имел спортивные разряды. Он весело подмигнул Лёше, а Лёша машинально моргнул в ответ.

- Простите. Можно попробовать?
- Можно попробовать в ресторане.
- Здесь очередь, уважаемый. Кто следующий к доктору?
- Я за него. Жорик, тебе не пора отдохнуть?
- Не, я потомственный трудоголик.
- Замазали. Плавно давите на газ.
- 60 ровно. Хватит тебе?
- Ну смотри... Блин, 58.
- Нормально.
- От я фуцин! Мокрая рука соскользнула.
- Всегда так делай.

Непрерывно сыпались прибаутки и комментарии, игроки подначивали друг друга. Рыжий приземистый Жорик повернулся к отцу. «Вы сильно хотели зайти». «Если можно». «Пять рублей – и можно». «Пожалуйста». «Из пожалуйста шуба короткая». «Правила знаете? Жмём медленно, сливаем быстро». «Можно?» «Уже давно можно». Папа взял силомер, поставил руку под углом и нажал. Под материей было видно, как округлился бицепс.

- О-о... 72. Нормальный заход.
- Ты понял? Жорик, твой петушок, кажется, улетает.
- Если кажется, надо идти на Свердлова.
- Надо идти на рекорд.
- Не мешай!
- 64... За попытку спасибо. Я думал, у Жорика штаны разойдутся.
- У Жорика торжественный цвет лица.
- Уважаемый, извините. Вы что, спортсмен? – рыжий выглядел раздражённым. – Если вы спортсмен,

надо говорить заранее.

- Слышишь, я могу Давида Ригерта привести. Он будет играть, а я с ним в пополаме.
- А ты знаешь Давида Ригерта?
- Его знает вся страна.

Папа с трудом убедил кворум, что он не атлет, не сбежал от тренера и не зарабатывает здесь на новую штангу. Ему неохотно разрешили забрать выигрыш.

- Не, ну ты сильный. Видно, здоровенький такой.
- Здесь Алик есть, тоже сильный. Мы с ним не мажем, он всех раздевает.
- Алик? Та ладно, Алик до 70 не доходит.
- Мажем, что у Алика будет 70?
- Неважно. Я бы на него поставил, против Алика.
- Отвечаешь? По чирику.
- Легко отвечаю. Вы хотите побороться с сильным противником?
- Можно попробовать, – отец выдержал паузу.
- Отлично. Алё, позовите Алика! Не бойся, ты круче его, сто процентов. Он бухает в последнее

время.



– Я не боюсь.

– Я на тебя поставил, ничего? Это малый твой? Похож на батю.

Лёша наблюдал с восторгом и ужасом, как Пьер Безухов на Бородинском поле, он был в ступоре. Но сейчас к Лёше вернулась речевая функция. «Папа, идём. Мы хотели велик посмотреть». «Десять минут и пойдём». «Пап, ну не надо. Лучше идём». «Лёша, не мешай. Сказал, чуть позже».

Алик говорил с лентой, на левой руке укоренился массивный перстень, на правой была татуировка «АЛИК». Образ довершала красная кофта, из-под неё кучерявились седоватые волосы. Договорились по десять рублей, бросили монету. Начинал Алик. Он слегка наклонил корпус, руку опустил почти вертикально. «74». «Ты понял?» «Алик уллучился. Ты что, тренировался?» «С бутылкой он тренировался». «Игра приобретает интерес, товарищи». «Да. Ждём, что скажет генштаб». Количество людей вокруг утроилось. Отец погрел прибор между ладонями, положил его в руку, сделал вдох. Движение получилось тугое, с акцентированным усилием. «Опа! Тут 77». «Твою ж мать». «Я нажил чирик! Спасибо, уважаемый». «Отлично»... Раздались аплодисменты. Алик процедил «сегодня не масть» и ушёл.

– Реально сильный чувак.

– С вами тут больше мазать не будут.

– Я могу помазать, – из-за Лёшиной спины скользнул силуэт и остановился там, где только что был Алик.

– О, Гарик нарисовался.

– Гарик, не смехи народ бесплатно. Продавай дорогие билеты.

– Это местный клоун, не обращайтесь внимания.

– Я сказал, могу выиграть.

– Вряд ли, – отец косился на паренька с перевязанной рукой.

– На левых руках.

– Вы у меня не выиграете ни левой, ни правой. Никакой.

– За нормальные деньги выиграю.

– Ни за какие деньги.

– Отвечаете, шо ни за какие?

– Отвечаю.

– Голимый базар, отвечайте деньгами, – Гарик достал пригоршню банкнот. – Три суслика.

Лёша понимал абсурдность ситуации, но его опять посетил столбняк. Гарик смотрел насмешливо, у носа образовалась складка – так, видимо, смотрит жизнь, предлагая перемахнуть пятиметровую пропасть. Потянуло испариной разогретых тел, сзади переговаривались. Отец улынулся, помедлил, достал кошелек: «У меня двести». «Маза», – Гарик вернул сотню в карман. Договорились оставить четыреста рублей у надёжного человека, на роль гаранта был выбран торговец запчастями. Число болельщиков достигло полусотни. Жорик бросил монету.

... Движение выглядело забавно, но никто и не думал веселиться, подпитывая гипнотический транс молчанием. Гарик напевал монотонно, будто впивался в податливый воздух, раскручивая кисть вокруг точки, не смещая голову, не размораживая взгляд, он гудел что-то вроде: «Поверь, я напишу тебе, родная, когда растают белые снега, когда колода выпадет другая и серый день разгонит облака...». Больше всего это напоминало языческий обряд. Внезапно он оборвал гипноз и сделал пассы рукой, вверх-вниз, резко падая на колено. Хмыкнул: «На тебе 84». Он впервые обратился к Лёшиному папе на «ты».

Надо ли описывать восторг публики, затравленного отца и его попытку отыграться? Через минуту на пятачке остался только Лёша, он смотрел на папу. Покачивая головой, в их сторону поглядывал гарант...

– Слушай, я считал тебя за серьёзного человека.

– Боря, как это может быть! Он вот такой шкет.

– Шкет... Зачем ты вообще туда полез?! – потенциальный покупатель стамески зыркнул на дядю Борю и ретировался.

– Чёрт меня дёрнул.

– Нашёл, у кого нажить! Это их зарплата, понял?

– Не понял. Я не понимаю, как эта штука работает.

– Она отрегулирована, это их станок. Фраером быть не надо...

Дядя Боря матюкнулся под нос, долго менял инструменты местами и зачем-то сказал: «А ты куда смотрел, Алексей?»

Обратная дорога горька, если душа изранена и не забавляют её боле красоты прилегающего мира.





Кто это сказал, Бонапарт? Вряд ли, ведь он не говорил по-русски. Лёша брёл к выходу, прочь, подальше от этих чудес. Мужчина в очках курил сигару, обезьянка нежно обнимала его за шею. Лёша в сердцах показал ей язык. Мартышка пошевелила губами.

У выхода папу остановил парень в тельняшке. «Можно вас на минуту?» «Что надо?» – папа не входил сейчас в пятёрку самых приветливых граждан. «Отойдёмте в сторону». «Только быстреей». «Меня просили передать», – и он выкатил велосипед с надписью «Украина». Папа озлобился: «Хватит шуток на сегодня!» «Это не шутка, а подарок для сына. Меня попросили, я передал». «Кто попросил?» «Ваш знакомый, с бинтом на руке». «Пусть он сам придёт, я его забинтую». «Это ваши дела, я не в курсе. А машина отличная, пацану понравится», – тельняшка сделала жест рукой и отчалила. Лёша помедлил, подошёл осторожно, как масан идут к неизвестному зверю. Отец смотрел в землю: «Хочешь велосипед?» «Идём, папа».

Фильм Витторио де Сика и его финальную сцену Лёша увидел гораздо позже. А сейчас он обнимает чёрную раму, внутри поют скрипки и тромбоны, отец рядом и держится за седло – так они идут, рядом и молча, не разрушая магию случая.

Странно, но после появления велосипеда учёба пошла в гору – до такой степени, что Лёша полюбил математику. Или математика полюбила Лёшу, исследуя влияние правильной лайбы на производную логарифма?

Однажды в конце 80-х Алексей шёл из своего НИИ. Сентябрь ещё подбирал с тарелки лакомые кусочки лета. Группа «спортсменов» изображала шапито, с тремя-четырьмя зазывалами и напёрсточным солистом. Прохожие игнорировали балаган, но Алексея заманила эстетика речёвки, достойная обзорютов.

«Кручу-верчу, обучаю алычу, – исполнитель декламировал почти без пауз. – Один крутил, другой говорил, третий выбился из сил. Где ты видел, здесь? Хорошо смотрел, увидеть успел. Хорошо смотрел, дорогой. Кручу-верчу Леониду Ильичу...»

Руки его сновали беспрерывно, как детали смазанного агрегата, глаза цепко следили за периметром. Годы не изменили его, только лицо стало ещё суше и темней.

«Один не пьёт, шарик найдёт, другой бухает, шарик потеряет. Внимательно смотрел? Ошибался, ошибался, дорогой. Внимательно смотрел, но ошибался. Закрутили-завертели на голимой карусели. Один молчал, другой отвечал, третий деньги получал. Не уставал, не уставал, дорогой. Отыгрался, не уставал...»

– Можно поставить? – Алексей вышел из-за спины зазывалы.

– Внимательно смотрел, уважаемый. Играем по десять рублей.

– Я играю только по двести рублей. На Староконном базаре.

Гарик поднял голову. Во рту блеснула фикса. «Один начал, другой продолжил, третий не очень много прожил, – за время, равное пяти вдохам, он собрал инвентарь. – Спорткомитет ушёл на обед».

Его фигура стремительно удалялась, спортивный костюм колыхался в такт движению. Ветер бабьего лета инспектировал свой шафранный, свой медово-охристый облетающий гардероб. Алексей подумал, должно быть неплохо скользить сейчас по велосипедной дорожке и наблюдать, как вода у горизонта смешивается с закатом.



# ГАЛИНА СОКОЛОВА

---

## КУПАВА рассказ

Это небольшой тихий городок на берегу Днестровского лимана. Вёснами вода там доходила до самых мостков и зарастала кружевом купав. А я, любуясь разливом, бродила по берегу и, как сомнамбула, бормотала стихи. Влетали они в мою голову сами собой, будто кто-то бросал их сверху щедрой рукой.

Вот одно:

*Тёплый дождь, торопкий, меткий,  
Как шершавый гребень, редкий  
Расчесал черешен ветки  
И кудрявый клён соседний...*

Или вот:

*Ночь повисла, как чёрное яблоко,  
С перезревшими зёрнами звёзд  
Волны плещутся зябко-зябко,  
Согревая ладони о плёс.  
У причалов скучают ялики,  
Петухи не дождутся зари.  
Звёзды светят, как зёрна в яблоке,  
Освещая его изнутри.*

И много другого всего. Про воробья в луже, про соседского Бобика... А ещё про Генку Никитина и Тёмку Благовского из нашего класса. Генка был красивый, а Тёмка – хулиган. Его в четвёртом классе даже из пионеров исключили.

Жизнь, как теперь я понимаю, есть точка наложения различных фокусов. Мы всегда на чём-то сосредоточены. И часть событий как бы проходит мимо нас. Особенно когда голова наша забита мечтами. Или ожиданием чего-то, что кажется нам самым главным. Даже просто погружённостью в самих себя. Я и не придавала значения охашкам цветов, которые добывали для нас мальчишки. Одаривать девчонок первыми цветами к восьмому марта было заведено в школе. И самым простым, не требующим денежных средств, были купавы. К началу марта все подступы к лиману были ими усеяны. И когда я входила в класс, моя парта представляла собой зелёный стожок с золотистыми звёздочками. Чтобы сесть на своё место, мне приходилось сначала делать раскопки. Втайне мне хотелось, чтобы это было делом рук Генки Никитина – красивого мальчика, светлые глаза которого смотрели на меня серьёзно и даже строго.

Обычно имена дарителей не разглашались, но всем и про всех было всегда известно.

– Это прикалывается Тёмка Благовский, – разрушила мои иллюзии подруга Линка Галкина. – Я видела, как он хихикал.

Я представила конопатого Тёмку и скривилась. Куда ему до Генки Никитина! Тот круглый отличник. И ходит в модном джинсовом костюмчике. Да ещё и с транзисторным приёмничком в руках. И когда мы всем классом ездили на море в Заток, толстая Галкина под его «Кукарачу» наяривала «чарльстон» так, что прямо засыпала всех песком.



– А Генка кому дарил? – нарисовала я на своём лице беззаботную мину.

– А Генка – мне! – гордо понюхала Галкина большой красный тюльпан. Он был магазинным и на верняка стоил кучу денег.

«Ну и плевать», – сказала я себе и тут же в Генке разочаровалась. На свете есть много чего другого поинтереснее!

Интереснее для меня были стихи. Я их сочиняла дни и ночи, и главным было не забыть их вовремя записать. Что я и делала. Из-за этого многие меня считали чокнутой и не звали в свои тусовки. Так что большую часть суток я витала в облаках. На землю я спускалась разве что от Тёмкиных проказ. Где бы я ни находилась, он выскакивал из-за угла и, давясь смехом, ставил мне подножку. Из-за чего у меня были вечно разбиты коленки. Плакать я убегала на лиман, где, если бы не козы, внаглую изучавшие меня вертикальными зрачками, была бы для всех в полной недосыгаемости. И можно было от души обижаться хоть на Тёмку, хоть на Генку, который на прошлой контрольной опять не дал мне списать. Не подбрось шпаргалку чёртов Тёмка, зачёт бы мне видать, как собственные уши. А тому было всё одно – единицей по поведению больше, единицей меньше. В классе он единственный ухитрился передавать шпаргалки прямо под носом учителя. Он сунул мне её даже на выпускном экзамене. Чего-чего, но от Генки Никитина такого не дождёшься – он никогда не делал недозволенного.

Когда мы окончили школу, многие из Аккермана разъехались – кто поступать, кто отдыхать. Только Тёмка да я всё ещё слонялись по его тенистым паркам. Он – потому что готовился к экзаменам в местный рыбтехникум, а я – потому что не прошла творческий конкурс в Литинститут. Подножки свои он, слава богу, забыл и я могла бродить по улицам, уперев невидящие глаза в небо. Он даже благородно не замечал, как я что-то бормочу, быстро набрасывая это на бумагу. Я писала даже на трамвайных билетах.

По субботам я иногда выбиралась на танцы – из Одессы как раз приезжал Генка Никитин. Вообще-то он был ни при чём, я туда бегала просто от нечего делать. И если уж честно, я и там по-прежнему больше плала рифмы, чем крутила румбу – Генка всё равно танцевал с другими.

– Почему ты всё время что-то пишешь? – спросил как-то Благовский, по своему обыкновению попавшись мне на пути. – Что за странный зуд? – Скрыть блокнот в лёгком сарафане было непросто. Тем более, то из кармана торчала ещё и длинная шариковая ручка.

Я пожалала плечами. Я действительно не знала, почему. Скорее всего, это была мания, с которой я не могла бороться. Стихи, как Тёмка когда-то, подстерегали меня всюду, только успевай достать блокнот. Они как кубик Рубика из слов: одно туда, другое сюда – и уже всё новое. Не надоедает. Генка же Никитин мне почти разонравился

– А ну, почитай что-нибудь, – предложил Тёмка, глядя на меня с любопытством. Я опешила. Одно дело послать свою абракадабру незнакомым дядям из толстых журналов. Другое – Благовский, который знал меня как облупленную.

– Почитай, – повторил он, протягивая мне зелёный флажок первоцвета. И откуда он достал его в конце июня? – Я хочу знать, чем ты дышишь, – добавил он, не спуская с меня глаз.

– Зачем тебе? – удивилась я, судорожно подыскивая в памяти что-нибудь поэфффектнее.

Глаза у него были такие же рыжие, как он сам. Только в крапинку. Будто в блюдец с чаем нечаянно просыпали мелкие чаинки. И сам он, как растрёпанный ветром одуванчик – вихры во все стороны над остренькими, почти заячьими ушами. Наверное, они так вытянулись из-за моего старшего брата, который за мои коленки не давал Тёмке спуску и таскал его за уши. Я смутилась. Но, ещё раз взглянув на Тёмкины уши, глупо хихикнула и отважилась.

*Очень странно, нелепо я с тобой обхожусь,*

– проговорила я с лёгким придыханием, наблюдая, как в чаинках его радужек вспыхивает солнышко.

*То пылаю, как лето.*

*То, как осень, сержусь.*

*То цветущим апрелем*

*Шлю стихов лепестки,*

*То по целым неделям*

*Ни единой строки...*



Я с шумом набрала воздух, чтобы огласить заключительную, ударную строфу и грянула изо всех стволов:

*Но внезапно опамнясь,  
В телеграммы трублю  
И где требуют подпись,  
Ставлю трижды –  
Люблю!*

Последнее слово я выпалила, как залп «Аврорь»! Мне казалось, это усилит впечатление – я гордилась этим стихотворением. Однако... солнышко в Тёмкиных глазах вдруг затянулось тучками. Он как-то криво усмехнулся и очень быстро пошёл прочь.

– Видишь, какая ты чокнутая, – с торжеством резюмировала мой рассказ Галкина, – Он подумал, что ты это сочинила Генке Никитину – ты же все годы за ним бегала. А Тёмка – за тобой. Это весь класс знал. Одна ты из-за своих дурацких стихов ничего не замечала. Так что теперь, будь уверена, теперь его любовь – ку-ку. Тёмка в тебе разочаровался. И никто больше на тебя, чокнутую, не взглянет! А вот Генка на мне женится. Походит с другими, походит и – жеенится. Э –эх, ты... – И она постучала в мой висок.

Я оглушённо смотрела на Тёмкин цветок. Он стоял в бутылке из-под кефира и смотрел на меня конопатым жёлтым глазом. О чём он говорил мне, этот ранний весенний первоцвет?

*Что же он сказал?*

Этот цветок зовут купальницей. Купавой. Красив он не тогда, когда распустит свои крохотные лепестки. И не тогда, когда затянёт золотом разливистое весеннее половодье. Золотистый, туманный цветок. Заманчив он и неповторим, когда в кулачках будущих соцветий зажмёт он будущее солнышко. Когда с зелёного древка флажок его просигналил: будет! Будет земляничное спелое лето! Будет непостижимая в своих ликах любовь! Будут! Молнии встреч и трепетная нежность! Бездонные ночи и птичий звон рассветов! Будут строчки стихов, светлых и чистых, как первый снег! Всё обязательно будет! Этим и неповторим, этим и красив загадочный весенний первоцвет. А чем ещё мерять её, красоту?

## ЩЕЛКУНЧИК

### рассказ

Моё знакомство с этим немецким городком состоялось ночью. Мы с родителями прибыли туда в канун Рождества. Вернее, не Рождества, а местного «Кризмаса». Чёрт знает, зачем им понадобилось пилить в такую даль (триста с лишним миль – три часа в пути), да ещё и через перевал, если питейных хватало и дома. Но родители у меня русские, а русским сидеть дома в праздник скучно. Кроме того, в ту пору мне не минуло и шестнадцати, потому моего мнения никто не спрашивал.

Мы поселились в мансарде некоего дорогого отеля, из окон которой только и видны были крыши с разноцветными гирляндами да пики занесённых снегом гор. Погуляли по феерически украшенным рождественскими – или, в нашем понимании, новогодними – декорациями улочкам. Их тут раз-два да обчёлся. Поужинали в какой-то забегаловке с громким названием «Щелкунчик» – было не очень и вкусно. А дальше я видел хоть отца, хоть мать только утром, когда оба, злые от головной боли, отмокали в джакузи и в голос поносили хозяев за хиленький бойлер, горячей воды в котором хватало разве что на одного. Ну, в самом деле: камин с живым огнём был, всякие мебели с гнутыми спинками – тоже. А бойлер – на одну помывку! Наверное, администрация отеля считала, что в их узенькую лоханку, по иронии торгового тренда названную громким наименованием «джакузи», можно было поместиться втроем. С моим папаней, пузо которого возвышалось далеко над ограничивающей воду чертой. Хи-хи!

В общем, с раннего утра я просыпался от громких проклятий и с неудовольствием натягивал на голову простыню. В номере, несмотря на минус за окнами, жарило, как в духовке – хитеры щедро качали горячий воздух. И лампы на потолке (я их насчитал больше дюжины), жрали электричество как бешеные. Я тоже мысленно отрывался на этой странной немецкой «практичности». Да, городок был немецким, точнее, баварским. Эта маленькая Бавария в самом сердце американского штата носила романтическое имя Лиленфельд и привлекала любителей сосисок и пива со всего побережья. Но я не любил ни пива, ни сосисок и потому все вечера слонялся по сонным улочкам в ожидании, когда же, наконец, наш «Мерс» двинет в обратный путь.



Так бы оно и было, если бы... Ну да, если бы не вмешался Его Величество случай, который и заставил меня потом, уже весной, когда я получил водительские права, в один из свободных от школьных занятий день самому погнать в Лилиенфельда.

Она шла по заснеженной улочке Лилиенфельда, то и дело скользя белоснежными сапожками по скрытой в позёмке гололедице. Глаза её были полны печали. Возможно, мне это показалось? С чего бы печалиться молодой девушке в канун Рождества?

В тех усыпляюще-медленных снежинках, что падали к её ногам, она словно выпорхнула из моих снов. Я как раз домусолил книгу «Страдания юного Вертера», найденную у матери под подушкой, и весь был полон смутных ожиданий, – они у меня возникали всякий раз после прочтения очередной любовной ерунды. Дело в том, что наш сосед Джимми, который был основательно старше меня, каждые выходные гонял в Канаду к некой филиппинке (чем сделал себя притчей во языцех для моих родителей!), а у меня девушки ещё не было. Правда, в прошлом году я вздыхал по одной старшекласснице из нашей школы, но мой платонический пыл быстро иссяк. Её стал возить на джипе носатый парень из дома напротив, и мою влюблённость как рукой сняло.

...На знакомке были пушистый белый капюшон и такие же белые сапожки. Напоминала она то ли Белоснежку, то ли Алёну Игоревну из новогодних «Чародеев» (родители часто смотрели советские фильмы). Может и ещё кого-то – тут я терялся, потому что сказки мне читали разве что в детстве. Если бы она так отчаянно не скользила, всякий раз всплескивая руками, то я, наверное, и вспомнил бы кого. Но времени не было – она вот-вот могла и носом зарыться.

– Помочь? – вызвался я, хотя не представлял, что будет, если она изъявит согласие. Город я не знал, скажи она мне, что, к примеру, заблудилась и её надо проводить на такую-то улицу, я попал бы в затруднительное положение. Но неизвестная красавица довольно ловко ухватила за мою руку, повиснув на мне всем своим небольшим весом. Между прочим, я почему-то всегда знал, какой у моей девушки будет цвет лица и какой формы зубы. Её зубы отвечали всем моим представлениям – они были, как океанские жемчужинки: белоснежные и ровные.

– Я хочу посмотреть гирлянды, а тут так скользко. На Рождество всегда такие красивые гирлянды и всегда такой лёд...

И сама потащила меня к огромной, полыхающей синими звёздами ёлке. Я повиновался, самым срочным образом придумывая тему разговора. Погода? Банально. Как вас зовут? Вот так с бухты-барахты? Вроде неприлично. А, впрочем, была не была.

– Пол, – сунул я руку в её тепловатую ладонь. – Пауль типа. Павлик, вообще-то.

– Одного моего чешского друга тоже Пауль зовут, – обронила она запросто, глянув на меня такими пушистыми от мерцающих снежных хлопьев глазами, что у меня защекотало под ложечкой – именно такие глаза я и представлял у своей девушки.

– Давай пойдём вон туда, где петушок, – не назвав себя в ответ, потащила она меня дальше. Я понял, что дал маху – моё имя ей было ни к чему. Но с какой-то несвойственной себе дерзостью я вдруг брякнул:

– А тебя зовут... Хочешь, угадаю?

Она поправила выбившийся из-под капюшона локон и устремила на меня глаза в ожидании: – Ну?

Я лихорадочно перебирал в памяти имена, но в голову лезли только Вертер и его Шарлотта.

– Шарлотта?

От изумления она даже поскользнулась и снова повисла на моей руке. При этом мы чуть было не свалились возле ёлки, опрокинув муляж того самого весёленького разнопёрого петуха. Хвост у него кто-то видимо ободрал в драке.

– Почему «Шарлотта»? Ты из туристов? Ведь ты не из нашего городишки, – она помогла мне подняться. – Я местных всех знаю.

Я сделал загадочное лицо – я читал, что девушки это любят. И подумал, что мои родители не такие уж лохи – в их книжках можно найти и что-то для себя полезное.

Она ещё с пару минут изучала меня. И вдруг торопливо распрошталась:

– Ну ладно, будь здоров, Пауль-Пол. – и к моему изумлению, помахала рукой какому-то типу в спортивной куртке чуть ли не вдвое меня старше. Он как раз околачивался возле того петуха, делая вид, что просто дышит свежим воздухом. После чего они вместе и ушли. А я остался.

Карма у меня такая: стоит облюбовать девушку, тут же явится какой-то хмырь и враз всё разрушит. Вообще-то ей и самой уже лет двадцать, угрюмо констатировал я, чтобы не очень досадовать.



Как известно, о человеке можно многое угадать даже по улицам, где он часто ходит. Ничего удивительного, что домой я не пошёл. Тем более что слоняться в одиночестве по «Лилейному полю» (что и есть Лилиенфельд в переводе на русский), было, как плавать по лиловым облакам. Моё воображение разыгралось не на шутку. В блужданиях по кипенно-белым пространствам появился новый смысл. И я ошалело мурчал себе под нос какие-то совершенно дурацкие песенки и, отстукивая ногой ритмы, представлял, как вдруг... вот возьмёт она и станет тонуть (неподалёку протекала какая-то порожистая речка), а я, как Том Сойер, спасу её. Я неплохо плаваю. Или случится что-то ещё, и я её выручу. Правда, в этом городке, затерянном среди горных отрогов и исполинских сосен, вряд ли что-то случится. Хотя, вот, например: вчера я вышел на террасу в майке и шлёпанцах, а дверь возьми да захлопнись, и кричи не кричи, никто бы не услышал, не окажись матери дома. Наш номер, как и прочие в отеле, находился от портье в противоположном крыле. А там по вечерам ни души, потому что люди едут сюда не дома сидеть, а есть сосиски и пить пиво. И танцевать шупплаттлер. Кроме того, напротив нашей террасы – паркинг, где машины стоят до утра. И кому взбредёт в голову, что какой-то ненормальный окажется зимой на террасе голым?

В общем, блуждал я таким образом долго. И были лишь я и город. И тишина. Которую можно было мазать на хлеб, такая она была густая. Бродил до тех пор, пока румяный, как Дед Мороз, полисмен (я прошёл мимо него уже в пятый, наверное, раз) не спросил, знаю ли я куда идти.

– Знаю, – отозвался я бодро, потому что заплутаться в этом городке-табакерке было просто точно. Тем более, теперь, когда я точно знал, что здесь живёт моя девушка.

\*

– Этот негодник совсем забросил учёбу, – сокрушилась мать, обнаружив в моём рюкзаке отпринтованные листки со стихами на английском. Я сочинял их всю зиму, потому что увидеть снова Шарлотту стало моей идеей фикс. Всё это время я жил как бы с крыльями. Душа моя постоянно блуждала меж звёзд, выглядывая её оттуда – сверху видней. И странички с рифмованными строчками выскакивали из челюстей принтера почти каждый вечер. Может, если бы мы ездили в Городок чаще, моя муза давно бы упорхнула. Но шли густые снегопады, дорога на Лилиенфельд стала опасной и перевал закрыли.

– Нормальные стихи, чего ты? – не согласился папа. И тиснул одно в ближайшем номере своей газеты под рубрикой «Творчество молодых». Когда-то он тоже рифмовал и даже слугу окончил славянскую лингвистику, которая тут, в американском дампе, была никому не нужна. Но всё равно льстил себя надеждой, что хоть из меня в этом плане будет толк. Я с гордостью прочитал своё имя на вощёной страничке Рождественского номера, который для православного населения выходил на пару недель позже католического. И был потрясён новизной и выразительностью каждой своей строфы, после чего ходил по школе гоголем. Самые первые стихи у меня были посвящены той хорошенькой старшекласснице. В них было что-то про её шейку и рыжие волосы. Но напечатали именно эти, про Снегурочку, у которой то и дело скользили сапожки.

– Кто-о-о? – вылутился на меня сосед Джимми, не донеся до рта недоеденный сандвич. – Что за Снегурочка?

Он был парень простой и русских сказок не читал. Когда он увидел мешок подарков в руках нашего красноногого старца в длиннополой шубе, он прямо офонарел.

– У ваших и Санта Клаус пьяный?!

Стихи мои, насколько я теперь понимаю, были никудышные, но соседу они понравились, и он даже взял парочку себе, чтобы подарить своей филиппинке.

Дружба с Джимми завязалась у меня ещё летом, когда он чуть было не затащил меня на дискотеку. Вообще-то до двадцати одного туда не пускают. Но Джимми сунул мне свой ай-ди, надеясь потом проскочить по второму – у него их оказалось два. Хоть лицом мы были немного схожи, рисковать я не стал – всё-таки тридцать восемь, как указано в его ай-ди, мне не дашь. Хотя в коварном вечернем освещении он выглядел куда моложе. Но я заглянул через стеклянную дверь внутрь и объявил ему, что мне здесь не нравится – какие-то потные жирные девки, хмельные парни... Потому что, если бы меня засекали, возникла бы куча неприятностей. Родители как раз укатили к каким-то своим приятелям, а оставлять детей одних (у нас тут до совершеннолетия все дети) запрещается. Джимми жил от нас напротив и часто, пока старших не было дома, за мной приглядывал. Постепенно мы сдружились. Разница в возрасте его особо не смущала, а по виду я был даже внушительнее – метр девяносто против



его метра восьмидесяти. Но был он сухопарый, стройный – и из-за этого казался выше, чем был. Кроме того, он играл в баскетбол и плавал, как дельфин. А потом съедал целый яблочный пирог, оставаясь при этом в том же весе. Кое в каких делах у него опыта было куда больше, и, случалось, он демонстрировал мне свою поцарапанную грудь, многозначительно поверяя, что не поладил со своей филиппинкой. При этом усиленно мне подмаргивал. И, запивая свои рассказы безалкогольным пивом, трепал про свои запои. Правда, они остались в глубоком прошлом, потому что одно время от него стали открепиваться все работодатели. Боясь оказаться под мостом, он принял курс лечения, «запился» и с алкоголем «завязал» навсегда. Теперь вся жизнь Джимми состояла, в основном, из работы, которую он панически боялся потерять. А работал он где-то в порту, хотя вообще по образованию был пожарником. Но о запоях он рассказывал с удовольствием и особенно рекомендовал филиппинское пиво «Сан Мигель», которое предпочитала его подружка. С девушками у взрослых парней всегда проблемы – никто не хочет нищобродов, у которых нет собственного жилья, а Джимми жил в съёмном апартаменте-студии. Томиться в обществе кого-то старше себя и слушать про его престарелых подружек было иногда занятно. Ей за тридцать, и она никогда не была замужем. Джимми взял её девственницей – так принято у филиппинок: до свадьбы ни с кем. Но свадьбы-то как раз и не было! Некоторые пикантные подробности разогревали моё воображение. Как-то после таких его рассказов одна известная кинодива почти наяву целовала меня в живот, куда-то ниже пупка. И это было сладостно-приятно! Хотя на девчонок я и внимания не обращал, а если о них заходила речь, бросал с миной глубокого пренебрежения: «Мне эти девки – во!». И приставлял ребро ладони к горлу. На что Джимми плотоядно ухмылялся и посматривал на меня вроде как даже с завистью. Я делал вид, что ничего этого не замечаю. Хотя сам только и ждал получения водительских прав, чтобы вернуться в немецкий городок Лилленфельд, на этот раз одному. Ведь, если в твоей жизни что-то складывается не как у других, значит жди чуда – это я где-то читал.

Таким образом мы общались с Джимми чуть ли не год: вечерами моим родителям дома не сиделось, а ему не с кем было поговорить. Американцы – не большие любители навещать друг друга и встречаются только в барах. Но там дорого. И никого твои дела не интересуют. А тут – нате вам: свободные уши, да ещё и я сам, всегда готовый присмотреть за его дворнягой! Кто-то из бывших русских руммейтов Джимми не выдержал здешней тоски и умотал назад в Пермь, оставив на его попечение своего ожиревшего от безделья пса со странным именем Ельцин-Гад. Мордой пёс и правда походил на опухшего от пьянок Ельцина. Но такие нюансы были не для Джимми. Он просто переименовал собаку в Эльгато (хотя по-испански «El Gato» – кот). Для языкового удобства.

Так Джимми и жил – он да Эльгад, как называл пса я. И когда уезжал к своей филиппинке, с Эльгадом я и нянчился. Пёс имел сквальжный характер и требовал постоянного к себе внимания. Потому я носил ему дорогой «органик» собачий корм. И водил его гулять.

– А если у неё ещё и дом свой появится, так и быть, женюсь, – пообещал Джимми, раздумывая о филиппинке и дальних перспективах – своих и Эльгадовских.

И когда я, уже с водительскими правами, да со всё ещё неиссякшим желанием скатать в «Лилейное поле», отказался от взятой на себя повинности сидеть с его псом, он был вне себя.

– Ты что?! – вознегодовал Джимми, будто сам только что не собирался семь вёрст киселя хлебать до канадской границы. – Да ты и имя её не знаешь! «Шарлотта», ну так – «Шарлотта». А сама, небось, какая-нибудь Келли, Кристи или того хуже Бекка.

Имя *Бекки* означало «заманивающая в ловушку»...

– Много ты понимаешь, – не замедлил я восстать. – Никакая не Кристи и, тем более, не Бекка! Возможно, Анжелика. Ангел. В крайнем случае Салли, а сало – оно вкусное и полезное... как и салки.

Джимми покрутил пальцем у виска, но спорить не стал. К тому же, мою малоудачную шутку про сало он и не понял. Он вкалывал в порту и сала сроду не видел. И в салки не играл. И книг никогда не читал.

Но надулся. Весь его взъерошенный вид давал понять, что между мной и им пролетела опасная трещина, которая способна разломать нашу мезальянсную «дружбу».

Я уже был возле самой двери, когда и его Гад-Ельцин шкрябнул лапой мою кроссовку. Он нервничал – хозяин продолжал терзать ключи от машины, а я того гляди переступлю порог. С кем же останется Гад?! Пёс насторожённо переводил свои маленькие чёрные глазки с красными точками в уголках с меня на него и с него снова на меня. Он уже привык, что раз в неделю мы остаёмся вдвоём и бегаем по комнате – играем в салки. Это было весело. И сейчас не мог взять в толк, почему я ухожу?! Ну а мне было абсолютно до фонаря, что думает пёс, и едет ли Джимми в Канаду к надоевшей филиппинке. Мне предстояла встреча с Шарлоттой.



– Ладно, ездай, – обиженно отвернулся к окну Джимми. – Но знай – все бабы – дряни.  
Я захлопнул дверь. Джимми имел отвратительную привычку обобщать.

И снова я понёсся по тому же сероватому серпантину дороги между двух отвесных скал, на которых лепились пики молодых ёлок. Из динамика, пробивая узкие лучи солнца, к горным вершинам взвивались золотые трубы фанфар – родители любили классику. Сам же я ещё не знал, что именно люблю. Я просто слушал и вспоминал, как однажды мы ходили на балет, и там тоже звучало нечто подобное. Чайковский вроде. В Америке Чайковского любят и, наверное, если бы не его слишком уж русская фамилия, давно бы присвоили себе. Давали «Щелкунчик» – детскую Рождественскую сказку, которую американцы дают в декабре везде, потому что, наверное, других, как и я, не знают.

Мы сидели в темноте, а сцена была ярко освещена, и по ней носилась на цыпочках сказочная девочка в пышной юбке. А рядом со мной смутно белело платье какой-то молодой женщины, чем-то напоявшей мне сейчас Шарлотту. Тогда я даже не заметил, что балет кончился и пора уходить.

Я и сейчас не зафиксировал время. И три часа дороги показались мне несколькими минутами. Хотя выехал часов в семь утра, когда ещё было хмуро и розоватый туман стелился прямо под колёсами. А сейчас почти белый шар солнца светил в самое темя.

...И чего ради мчался я туда, в тот маленький городок, в котором у меня никого не было? Кто сейчас разложит это на причины и следствия?

Теперь-то я понимаю, причина была в том, что мне хотелось поскорее вырасти. Меня гнала тайная сила моего тела – чувственность, разогретая рассказами Джимми. И в то же время жажда идеальной любви, про какую я читал в книжках. Я был свободен и дерзок. Какими бывают все юные, грешные и одновременно невинные, которых жизнь ещё не зацепила своими когтями. Плюс: в Америке от скуки можно было рехнуться, тем более подростку, ведь заняться совершенно нечем, всё дорого и малодоступно, кроме травы и кокаина.

«Неужели я снова увижу её? – думал я, тормозя на парковке вблизи главной улицы и тарахась на расписанные красками стены совершенно кукольного городка. – Неужели это возможно?»

Я боялся, что вообще простою впустую, и что никакой Шарлотты здесь нет и не было, потому что она – плод моего воображения. И чтобы не выглядеть перед самим собой полным идиотом, я отправился в кафе и уселся так, чтобы наблюдать в окно всю улицу. Люди по ней сновали, как муравьи возле муравейника. Много людей. Но среди них не было никого, кто напоминал её хотя бы отдалённо. Мне даже не верилось, что она способна вынырнуть из моего *брёда* – именно так сосед Джимми окрестил мои надежды. Потому что сам он понимал отношения между мужчиной и женщиной исключительно как отношения плотские. И если мою Шарлотту нельзя пощупать, значит это просто «бла-бла-бла». Иногда я с ним даже соглашался. Хотя все эти зимние месяцы воровал из bookstore – книжных магазинов – учебники и загонял их студентам за полцены. Благодаря такой, не вполне одобренной моей совестью практике, сейчас у меня в кармане уютно свернулось золотое колечко с кубиком циркония, которое я жаждал ей подарить. Стыд меня не особо мучил – воровал, да и воровал. От них не убудет. Это же прямо беспредел: в Америке со вчерашних школяров дерут по 40-50 долларов за один учебник. За один! А сколько их надо на каждый курс обучения? За 4-5 лет! А тетради-ручки? Узаконенная коррупция!

Хотя... Ну а если я не найду Шарлотту, что делать с этой ненужной мне безделушкой?

Так я сидел и выматывал себе кишки.

И можете представить радость, когда, ещё не прожевав сосиску, я вдруг увидел, как толпа расступилась, и она, будто Афродита из пены морской, ступила на порог того самого кафе, где сидел я.

– Хай, Шарлотта! – стараясь выглядеть независимо-бывалым, хрипловато промычал я и, чуть не опрокинув стул, махнул ей рукой.

Но она меня не услышала.

– Две порции сосисок «того», – сказала она, водружаясь на стул. Минут пять подождала, торопливо хлебая из прозрачного, как тот лёд зимой, стакана. И, схватив долгожданную коробку с заказом, снова ускользнула из поля моего зрения.

– Официант, счёт! – пришёл я в отчаянье, потому что медлительный немец так долго проверял что-то на экране компьютера, а потом так аккуратно это вписывал в чек... Бросив на стол десять долларов, я ринулся за Шарлоттой.





Я нагнал её возле одного из кукольных домиков, в дверь которого она чуть было не улизнула и, крепко ухватив её за свободную руку, брякнул первое, что пришло на ум:

– Шарлотта, пошли на «Щелкунчика»...

Она растерянно уставилась на меня, пытаясь выдернуть руку. Но – дудки! Я-то знал, что интеллигентность – свойство хлюпиков, и держал её крепко.

– Ты кто? – выдохнула она, не сводя с меня пухлых глаз, которые столько времени виделись мне в моих мучительных снах.

– А? – опешил я, всё также не желая терять её руку. – Аааа... Ты меня не узнала?

Она хлопала непонимающими глазами. Вот же чёрт!

– Я... это. Я – Пол! Пауль. Павлик. Помнишь: зима, петух, гололёд. Ты ещё скользила и падала... Это был я!

– Ааа, – теперь уже протянула она озадаченно, и в её взгляде появилось что-то осмысленное.

– Так, это... – Я не знал, как ей заговорить зубы, потому что – убей меня – опять не мог придумать ничего путного, кроме того, что уже сказал. И, отчаянно краснея, промямлил: – Это... На «Щелкунчика» пошли?

– О, май гот, – засмеялась она. – Так это же вечером! «Щелкунчик» открывается только на ужин. Ладно, давай у самой высокой ёлки в семь. Пока!

И убежала. А я, будто пришибленный, ещё долго стоял и всё не мог решить кроссворд: почему «Щелкунчик» открывается только на ужин? Что это вообще может даже значить? И кому она несла те сосиски? Мужу? А как же тогда театр? Или не мужу? А кому? Кого кормить? Не придёт? Или придёт? Или это не имеет никакого значения?

Наверное, у меня был странно-идиотический вид, потому что она пришла, беспшабно размахивая сумкой, из которой торчали покупки, и среди них – громадный пакет чипсов. И хотя я разлетелся к ней всё с той же безотчётной нежностью, но какая-то двойственность моего состояния сказала в том, что я на этот пакет взглянул с неожиданным для себя разочарованием. Всё было так и не совсем так. Ни сосиски, ни, тем более, чипсы не укладывались в мои представления о ней. Моя девушка должна питаться амброзией, нектаром. Она должна была индуктивно отражать моё высокое психическое напряжение и принять его форму, как принимает вода форму вазы. А этого не было! Йеэж!

– Так ты в театр звал?! – уставилась она на меня с нескрываемым разочарованием. – Но ведь там даже столиков нет...

И обескураженно переступила с ноги на ногу.

– Ладно, пошли, – после минутного сомнения всё-таки согласилась она. – Но уж лучше бы в кино. Там хоть чизбургеры продают.

И у меня заныло где-то в животе. Или в сердце? И ныло оно потом всё первое действие, до самого антракта. Потому что слева от меня сидела девушка. В белом платье! Белоснежка. И глаза её были устремлены на сцену с таким вниманием, что я пренсполнился умиления и благодарности. Может, я ошибся и принял за свою совсем чужую мне Шарлотту? Я скосился вправо. Шарлотта несколько удивлённо смотрела на сцену, хрустела чипсами и качала ногой. Кроме того, у неё оказался чересчур большой нос. А разглядеть это можно было только в профиль.

После того, как занавес закрылся и все двинулись к выходу, я пытался не потерять свою соседку слева из виду, но Шарлотта, громко хрустя чипсами, принялась болтать...

– А я было подумала, ты приглашаешь меня в ресторан «Щелкунчик»! На Фронт-стрит. Он у нас самый престижный и дорогой, я никогда в нём не была... – донеслось до меня. – А я голодная! Хорошо, хоть продукты домой не занесла – тут и поела. Предупреждать же надо...

Я вспоминаю ту девушку-Белоснежку с безнадежностью, потому что совершенно запомнил её лицо. Мне ведь виден был только её контур. Такой тонкий и нежный. Как и должен быть у моей девушки.

Но она... исчезла. Я ещё много раз ездил в Городок в надежде столкнуться с ней. Но так и не столкнулся. Попадались другие. Но не она. А её я больше не видел. Наверное, у меня такой потомственный ген – искать идеал.

– А! Те же яйца только в профиль, – хмыкнул Джимми, который был очень удивлён, что я всё-таки нашёл мою Шарлотку. Хотя я ему объяснял, почему она уже не моя. Но ему это было пофиг. Он с удовольствием поглощал свой яблочный пирог, заливая его кока-колой. – Ты слишком большой придумщик,



Пол. Продай-ка лучше мне колечко, я своей загоню. Сколько оно, баксов пятьдесят? Загоню за тридцатку. А что, зачем кольцами разбрасываться, если никаких отношений с дамой?

И откусил ещё один кусок от пирога.

А я сделал первое в своей жизни открытие – взрослые совершенно не понимают нас. Любовь не имеет ничего общего с отношениями. Любовь – это состояние.

Я вернулся домой поздно. Мои домашние из-за меня опять не поехали на парти и были очень расстроены. Из чего я ещё и заключил, что настроение – это уровень серотонина, – при его нехватке в кишечнике люди смотрят на мир особенно мрачно. Потому американцы так много едят. И потому же они такие толстые. Я залез в холодильник и съел всё, что там нашёл. Стало намного легче.

«Загоню своей за тридцатку, чего кольцу пропадать?», – вот и вся любовь американская.

Ночью мне снились дома. Много домов, насквозь пронизанных окнами. В которые заглядывала только луна. Никого другого не интересовала жизнь в этих слепых глазницах. Слишком много там было всяких шкафов, холодильников, стен и перегородок. А я всё лежал и мучительно думал о своей отчаянной потребности в любви. До которой в Америке нет никому никакого дела...

# РЭНА ОДУВАНЧИК

---

## ПРОДЛЕНИЕ КРУГА

### ОКНО В ДОМЕ НАПРОТИВ

В доме напротив всё время темно.  
Чёрной дыры неживое окно.  
Форточка в вечность утрюмо открыта.  
Кто-то забыт или что-то убито.

В городе шумном ты тихо забыт.  
Тайной большой синтепонной укрыт.  
Где эта улица, где этот дом,  
Где ты любим, окрылён и влеком

Маминым взглядом из первых чудес? ...  
В доме напротив гнездится прогресс  
Фирмочек нужных и быстрых авто.  
Но об окошке не помнит никто.

В доме напротив нездешний сквозняк.  
Бабушка Рая, подайте же знак!  
Хочется верить, что живы Вы, живы,  
Что мои домыслы праздны и лживы!

Поезд аукнул и в дымке исчез.  
Поезд, пришли мне хорошую весть!  
В окнах плацкартных, как в детстве, светло.  
Бабушка Рая!!! Вам слышно? Алло!!!

\*\*\*

Пронзительно-глубокий ветер.  
И в нём – забытых два листа.  
И понимаешь, что на свете  
Ещё таится красота.

И мы, беспечные, как дети,  
Надрывно или мягко – ждём  
Родных ветров условной клетки  
И одиночества вдвоём.



В банальном этом и простом  
И бытовом, как сериалы,  
Царит Вселенское начало,  
Едва прикрытое листом.

\*\*\*

В лазоревом небе Афона  
Молитва хрустально текла.  
И пела простые законы.  
И рушился мир из стекла.

И новая песня звучала  
В соцветьях пяти голосов,  
И солнце конца и начала  
Кроила из искренних слов.

В лазоревом небе Афона,  
В соцветиях греческих звёзд  
Дух музыкой вышил икону  
И в радость созревшую врос.

О, новая песня послушна  
Могучим незримым крылам.  
Душе только этого нужно –  
Искать свой таинственный храм...

\*\*\*

Чувствовать Бога каждой строкой.  
Чувствовать Бога каждой тоской,  
В каждую синь заповедную мчаться.  
Вот оно, странное певчее счастье.

Будь же удачен, мой звонкий маршрут.  
Пусть не от горя поплачем мы тут,  
В рамках-объятых родных берегов.  
Нет для меня настоящих врагов –

Только туманом украшенный путь,  
Солнце, в котором не можешь заснуть.  
В каждую синь законную мчаться –  
Вот оно, странное певчее счастье!

\*\*\*

В этой жизни нельзя быть печальным.  
Слишком много печали и так –  
В сиротливых осенних ветвях  
И в посёлке заброшенном дальнем.

В этой жизни не важно успеть  
Заработать, потратить, нарушить.  
Это будет. Но главное: спеть  
То, что вылечит хмурые души...

Пусть отважно поёт Трубадур,  
И Давид, и Орфей подворотни...  
В тесной ярмарке звонких культур  
Важно то, для чего вы поёте.

\*\*\*

Цыганка Рэна. Путь пою безбрежный.  
Моя Любовь – благая высь дорог.  
Несёт меня мой голос безмятежный  
Туда, куда сквозь звёзды смотрит Бог.

Ничто не нужно. Я и так богата  
Растущим небом, искренней землёй.  
В моей груди пылает солнца золото,  
И ветер носит розы надо мной...

\*\*\*

Как трудно вырваться из круга!  
Высоки звука купола.  
В них нет ни хлада, ни тепла,  
А только радужная мука.

Во мне шепчет Мандельштам,  
И Рильке ангелом клубится.  
Я здесь и там, я здесь и там –  
Не человек, не дух, не птица,

А колокольчик озорной,  
Обитель искреннего звука.  
Весь мир, что за моей стеной, –  
Продление круга...

\*\*\*

Тихие сиреневые чувства.  
Праздник лета громко отзвучал.  
Я бреду к началу всех начал,  
Уходя в работу, как в искусство,

Уходя в себя, за горизонт  
Августа. От образов, понятий  
К тёплой повседневности объятий,  
К радости непризнанных высот.



Флейта сентября. Ни *до*, ни *фа*  
 Нет ещё. Персидский лад мелодий  
 Вторит нежной сказочной погоде,  
 Ширится пространство волшебства.

Тихие серебряные нити.  
 Песню незатейливую тку.  
 В детство мира медленно бегу,  
 Чтобы окунуться в сад открытый.

В сонной школе красят потолки.  
 Ждут детей задумчивые парты.  
 Я смотрю в желтеющее завтра.  
 И, как море, дали глубоки...

### САМОЛЁТ

Самолёт в щемящей глубине.  
 Неба расплостёртые объятия –  
 Что это: проклятье или счастье –  
 С высотой быть наедине?

Плыть невзрачной звездочкой в ночи,  
 Познавая мир крылом огромным.  
 Самолёт исчез! И высь кричит.  
 И земля застряла в горле комом...

Самолёт в распятой глубине.  
 У судьбы дрожат, дрожат ладони.  
 Ты летишь в закона беззаконье,  
 Лётчик, самолёт! Тебе видней,

Всё видней – и далее дальних ширь,  
 И людских характеров узоры.  
 Точечка-душа, где ни души.  
 Звездочка в ночи. Болят просторы.

\*\*\*

Те небеса, что в нас самих,  
 Растут, взбираясь вверх по строчкам,  
 Загадочны. Мы видим их,  
 Когда гуляем в одиночку.

Те небеса, что в нас самих,  
 Не ведая преграды, зреют,  
 Умеют нашептать нам стих  
 Лазоревый, простить умеют.

Те небеса, что в нас самих,  
 Болят нездешней синевою.  
 И дольше жизни длится миг  
 Бездонной встречи с глубиной.



С сиянием очей ночей,  
Слиянием с пропавшим садом.  
Что откровенней, горячей  
Лазури, что больней, чем рядом?...

### ПОСЛЕДНИЙ ЗАКАТ ЛЕТА

На то и осень – скрыться от других  
В тиши бумаг, в звенящем храме сердца.  
Я вас люблю. Боюсь. И каждый миг  
Мне в вашу душу хочется смотреться...

И Рильке в небесах, и в пене цвет Бодлера,  
И солнце по воде к родной черте идёт.  
И осень на часах, нездепняя, как вера,  
И таинство, и плач, и свято вещей вод –

Всё пламенно слилось, всё обещает сбыться.  
Что выживет: душа – иль то, что пелось ей?  
А я плыву в закат, во мне трепещет птица,  
Грустит, звенит вопрос: что всё-таки важней –

Улыбки в зеркалах иль тьма горсти, держащей  
Распахнутый цветок, в котором спит размах?  
Пустынный пляж в веках, за горизонт скользящий.  
Очередной виток. Сентябрьский сладкий страх –

Всё в музыке Твоей, в богатой чаше цвета,  
Где в каждой ноте – луч, где в каждом чувстве – сон.  
В закате все сильнее похожи на поэтов.  
Сквозь мощный праздник туч мы пели в унисон.

Над пламенным Днепром жила строка Бодлера.  
Над пламенным Днепром шепчущая мечта  
Всходила голубой, лиловой новой эрой.  
Мы плыли здесь и *там*. В закатокрылом *там*...

\*\*\*

Не нужно падать на колени.  
Ему не нужен тайный знак.  
В песочном крошечке мгновений  
Он понимает нас и так.

Порой не нужно и причастья,  
Молить и вороха бумаг.  
Покой и мир, любовь и счастье,  
Он всё даёт нам просто так,

Чего мы даже не просили.  
Простится горькая вина.  
И будет хлеба изобилье,  
Небес и сладкого вина...



# ВЛАДИМИР МЯЛИН

---

## ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ. МОНОЛОГИ

поэма

1.

Гуляю в роще, воздухом дышу.  
Он, как кристалл; устойчив запах хвои...  
Смотрю под ноги: всюду пинеоли,  
Взгляну наверх – везде на фоне неба  
Грозятся шишки между нежных игл...  
И кажется: среди лазурных кущ  
Хожу давно уж, позабыв про время.  
Мне надо «Рай» закончить... Всякий путь  
Конечен на земле. Но забываешь  
О том, бродя по рощам близ Равенны.

Сирокко дует горячо, стволы  
Скрипят задумчиво. Прибой доносит,  
Как будто песни рыбаков, пшениье  
Далёких волн... Года согнули спину.  
И без того меня моя сутулость  
Всегда смущала... Вот и дровосек –  
Лесной мясник, разделыватель пиний.  
Зимой в печи куски смолистых туш  
Поест огонь... Счастливая Пинета!  
Ты, пошумев, несёшь в дома тепло.

2.

Вчера зашёл в аптекарскую лавку,  
Взял в руки книгу – так и простоял,  
Часов шесть кряду. Вечер заалел,  
В окно подул; на небе ни пушинки,  
Ни пятнышка – разлитая лазурь  
И золота вкрапленья, как у Джотто.  
А между тем, на улице народ  
Стал расходиться, празднество затихло –  
И пение, и звуки мандолины  
До слуха моего слегка касались.  
Вот так весной, на празднике, с полвека  
Тому назад увидел я синьору  
В нарядном алом платье; девять лет  
Ей было отроду – и мне не больше.  
В кружке детей жемчужиной она

Из шёлка алого, как праздничный подарок,  
В ажурном обрамлении сияла.  
Мелькнувший праздник! Чуден мир с тех пор,  
Как запах розы в доме Портинари.

## 3.

Явил нам краткий переулочек  
Разлуки образ дорогой.  
Так узок был он и так гулок,  
Так полон сладкою тоской.

Наутро яркие торговки  
Брели с товаром на базар;  
Днём он пустел, а вечер робкий  
Над камнем пламя раздувал.

И сердца уголёк каминный  
Он распалил всему назло,  
И дом твой светлый и старинный  
Скрывал как ангела крыло.

В окне твоём мелькали свечи,  
И ты темнела у окна...  
О Беатриче, как далече  
Ты от меня унесена!

Стремится жизнь моя к закату;  
Проулочек узок и высок.  
И по нему иду куда-то,  
Как лавр увядший, одиноко.

## 4.

Счастлив тот человек, кто жизнь свою  
Провёл на родине, пускай не выезжая  
В края другие и в иные земли.  
Пусть улицу одну он каждый день  
В окошко видит узкое – и время  
Из колбы в колбу золотой песок  
Нешадно сыпет... Пусть горячим утром  
Он близ лица увидит не лицо –  
Подушку, мокрую от слёз, пролитых  
Бессонницей – супругой дорогой.  
Пусть ласточки, крича как будто дети,  
Под крышей гнёзда вьют; пускай очаг  
Зимою стынет, запах – как в коптильне,  
Пускай... Но он Флоренцией своей  
Живёт и дышит. Сам – как воздух свежий  
С её холмов, как утра дух кедровый.  
Она – жена ему; когда домой  
Приходит он, уставший от работы,  
Она зовёт его детей к столу.  
Как ангелки, в крахмаленных рубашках  
Садятся в круг... Она глядит в окно  
На счастье, подаренное ею...



## 5.

Кансоны старых провансальцев  
В себя впитал я с молоком –  
Весёлость нищую скитальцев,  
Их блеск, как в камне дорогом.

Но юмор смерти не преграда.  
И всякий день уносит та  
То трубадура, то прелата,  
То кавалера, то шута...

И каждый раз недоумённо  
Ей гордый разум смотрит вслед,  
А сердце мечется влюблённо,  
И видит то, чего уж нет...

Не верит в страшную потерю,  
Скорбя до самых поздних дней.  
И я, любовь моя, не верю  
Могиле – до сих пор – твоей.

## 6.

Два друга давние, Гвидо и Лапо,  
Где вы теперь? Где нынче ваши дамы:  
Мадонна Ванна, монна Ладжа? Где  
Моя любовь, тридцатая по счёту  
В сирванте юности?.. Покинув свет,  
Вы, может быть, с толпой шумливой  
Одетых в белое – в десятый раз –  
От врат небесных Санта Феличита  
Идёте с танцами и песнями, в цветах.  
Играют цитры, трубы возвещают  
О новом стиле и о новом веке...  
А спорщик Бонаджунта на углу  
Стоит и вслед глядит живым укором.  
Живым?.. Друзья, в танцующей толпе  
Вы Беатриче часом не встречали?  
Девятую по счёту в той сирванте...

## 7.

Коснётся розы тленье; красота,  
Как лепестки душистые, увянет.  
Источит жук живую плоть листа,  
И свежий цвет морщинами изранит.

Малютка донна, с нежных лепестков  
Давно ль росу поэта губы пили?..  
Но дом мой срыт, и лавровых венков  
Листву жуки чужбины источили.



8.

Что скажешь, Каччагвида? Каждый раз  
Пророчеством меня ты удивляешь.  
Ты прочишь мне заслуженный венец  
Из листьев лавра, что растёт в Тоскане?  
Нет, мой отец – помпезных этих веток  
Не надо мне вне родины моей.  
Завянут листья, зелень жук источит,  
Засохнут стебли от несчастных мыслей.  
Флоренция глуха ко мне. Не хочет  
Мои канцоны ни читать, ни слушать.  
В лучах свечи давно милее ей  
О дрязгах дня досужие рассказы.  
Вот тот и тот застал жену свою  
В постели с братом – заколол обоих;  
Ту обсчитали, эту обнесли,  
А Уголино в башню заточили  
С детьми и с внуками – и поделом!..  
Цветущая моя, в цветах сурепки  
То место, где когда-то рос  
Зелёный лавр, достойный Алигьери.

9.

Вчера, как роза вешняя, свежа,  
Сегодня, смотришь, горькие морщины  
У рта легли: два алых лепестка,  
Тихонько превратились в плод  
Сушёной смоквы, волосы поблекли.  
В глазах, лучивших небо – блеск  
Лучины тусклой; щёки – как земля  
Во время засухи... Пустыни аравийской  
Не так печальны зыбкие пески,  
Как с розовой головки лепестки  
Слетевшие – для взглядов флорентийских.

10.

С тех пор, как ад в гармонию терцин  
Я облачил – красны мои одежды,  
Как пламя – а лицо ещё смуглей  
И суше стало. Слышу за спиной:  
«Он был в геенне – опалил огонь  
Ему лицо; глаза же, словно угли...»  
Да, «Ад» мне дался мой не так легко,  
Но рай куда трудней – он всех гармоний  
Гармония. Ему не нужен звук,  
Чтобы звучать, не нужен свет, чтоб видеть.  
Он сам себе – и звук, и свет, и слово;  
И всюду он, и нет его нигде.  
Да, сложно ад писать, но рай сложнее:  
Нет подходящих красок для него.



11.

В приходе Сан-Мартино-дель-Весково,  
Неподалёку от дворца Барджело,  
На стенах коего бунтовщиков  
Частенько вешали, налево от Кастаньи –  
Высокой башни – в яслях двухэтажных  
Ягнёнок вдруг заблеял... В первый раз  
Зацвёл в саду лимон и апельсин,  
Цветами белыми вздыхая, а инжир –  
Цветами розы... В узеньком окошке  
Проснулся мир, не знающий конца,  
Как ангел первый с лютней наготове.  
Вот миг – и слово чудное Творца  
Коснётся струн – и вновь родится в слове.

12.

Один учёный укорял меня:  
«Не на латыни, на простом *volgare*  
Написана “Комедия” твоя.  
И что на это бы сказал Вергилий?»  
А вот что, мой учёный буквоед:  
«Латынь – моё законное оружие.  
У Данте же такого больше нет,  
Да и оно теперь совсем не нужно:  
На языке любом поэт – поэт».

13.

Вчера забрёл на рынок городской.  
Прилавки все завалены товаром.  
Там мидии живые, там лангуст  
Шевелится; как шар раздута  
В колючих перьях рыба, острый шип  
Нацелил скат, распластанный на досках...  
Живу, как в море, в мутной глубине,  
Уловом сыт иль голоден уловом.  
И жду когда жемчужиной во мне  
Из извести простой возникнет слово.  
Тогда, как мир, яснее глубина,  
Мне не страшны чудовища немые.  
И так спокойны воды голубые,  
Как будто небо достигает дна.

14.

Кричит петух... Вставать уже пора.  
Я «Рай» закончил. Звонкие терцины  
Меня измучили, грозя исчезнуть  
Как свет небес, как звук от топора...  
Вот пинии дохнули мне в лицо;  
Бежит озноб по телу малярный...  
Как душно тут, вокруг чужие лица...



Нет никого теперь... Один. Ау-у!  
За хворостом пришла ты в лес? Зачем?  
Зачем ты здесь? Тебя в раю оставил  
Дня два тому назад я, Беатриче.  
Ты хворост собрала, кому?  
Где дом теперь твой? Фолько Портинари  
Ведь умер, помнится... Как пинии шумят!  
Сирокко дует жарко... Горячо!  
Дай лёд к вискам тебе я приложу,  
Его в горах я Фьезоли сколол...  
Он так легко теперь мой лоб венчает.  
Гвидо, Гвидо! Присядь, скажи хоть слово!

# НАТАЛИЯ КРАВЧЕНКО

---

## ТИШИНЫ ОБУГЛЕННЫЕ ГУБЫ

\*\*\*

Летняя лень моя, лютня июля,  
песня без слов и мечта ни о ком...  
Скрыт за вуалью оконного тюля  
мир, что покуда со мной не знаком.

Знаю, недолго продлится истоме,  
скоро развеется облачко нег.  
Снова разрушится карточный домик,  
замок воздушный растает как снег.

Звёздные искорки неба ночного –  
будто бы ангелы курят во тьме...  
Завтра откроется занавес снова –  
мир, наконец, улыбнётся и мне.

\*\*\*

Чтоб никогда не прервалась нить,  
что нас ведёт, скрепя –  
я нажимаю на «сохранить»  
где-то внутри себя.

Знаю, в реальности так нельзя,  
но через все клише –  
я нажимаю на «взять в друзья»  
всё, что мне по душе.

А чтоб никто не смог разозлить,  
радость во мне убить –  
я нажимаю на «удалить»  
всё, что нельзя любить.

\*\*\*

Перед зеркалом красуюсь,  
От тебя я слышу: «Рубенс!»



Огорчилась: неужель?  
А мне мнилось – Рафаэль!

Вот истаяю, словно воск, –  
Будет Брейгель или Босх!

\*\*\*

Средь кошёлоч, клеёнок, пелёнок  
жизнь проходит быстрее всего.  
Дома ждёт меня старый ребёнок,  
позабывший себя самого.

Я любовь не сдавала без боя,  
были слёзы мои горячи.  
– Помнишь ли, как мы жили с тобою,  
как на море купались в ночи?

Мы пока ещё вместе, мы рядом,  
как друг друга нам вновь обрести?  
Ты глядишь затуманенным взглядом:  
– Очень смутно... Не помню... Прости...

Драгоценность бывшего «а помнишь?»  
для меня лишь отныне одной.  
Больно видеть, как медленно тонешь  
под смыкающейся волной...

Раньше домом нам был целый город,  
перелески, тропинки, лыжни,  
звёздный полог и лиственный ворох,  
укрывая, к нам были нежны.

А теперь мы одни в этом горе,  
в этом замкнутом круге, хоть вой,  
словно в бочке заброшены в море,  
где не вышибить дна головой.

Достучаться, нельзя достучаться,  
свою горькую участь влача,  
до плеча, до улыбки, до счастья,  
до дубового сердца врача!

Не теряя надежды из вида,  
и поглубже запряча беду,  
я внимаю псалому Давида,  
я в Давидову верю звезду.

Было – не было... Тело убого,  
ненадёжная память слаба.  
Но нетленны в хранилище Бога  
наши юность, любовь и судьба.



\*\*\*

Прозрения, полные тайны,  
дремавшие сладко в груди...  
Я верю, что всё не случайно,  
я знаю, что всё впереди.

Проснуться, исполняясь доверья,  
по жизни идя без затей,  
пригнуться, чтоб слушать деревья  
и исповедь старых людей.

Любить без конца и без края,  
взбираться на личный Сион,  
и верить тому, что вне правил,  
вне логики и аксиом.

Нарвём себе свежей черешни,  
заварим покрепче чайку...  
И, кажется, мир уже прежний,  
где ангел стоит начеку.

Где жить удивительно просто,  
не мудрствуя хитро.  
Сползает земная короста,  
а там только свет и добро.

\*\*\*

А будущее, прежде чем войти,  
стучало в окна, пряталось в портьеры,  
удерживало нас на полпути,  
пересекало сны и интерьеры.

И вот вошло и объявило бой  
душе, что мы не чаяли друг в друге.  
Еврейский ангел плачет над тобой,  
по-детски робко стискивая руки.

Засов закрыт, потеряны ключи...  
Мне остаётся жизнь автопилота –  
как тетерев, токующий в ночи,  
и, как кулик, любить своё болото.

Жить медленно, мгновеньем дорожить,  
лавируя среди рвачей и выжиг.  
И – высший пилотаж – пытаться жить,  
взмывая выше, где уже не выжить.



\*\*\*

Гаснет жизнь, как лампа на столе...  
 Но давай мы будем не об этом –  
 радоваться проблескам во мгле,  
 редким озареньям и просветам.

Знаю, не откроется Сезам,  
 ты закрыт на тысячу засовов.  
 Но читаю мысли по глазам  
 и ищу врачующее слово.

В изголовье жду, когда уснёшь.  
 Пролепечешь что-то, словно маме...  
 Хорошо, что ты не сознаёшь  
 весь кошмар случившегося с нами.

\*\*\*

Рвётся где тонко, а тонко везде.  
 Дыры зияют в нашем гнезде,  
 ставлю на них заплатки.  
 Мы уже где-то поодаль, вне.  
 Жизни осталось чуть-чуть на дне.  
 Только остатки сладки.

Бедный мой ангел, тяжело тебе  
 нас из болота тащить на себе,  
 вправо сбиваясь и влево.  
 Ты уставал, выбивался из сил,  
 и голосил, и пощады просил,  
 но всё же вытянул в Небо.

\*\*\*

Жизнь безлюдней к концу и безлюбней,  
 мы срываемся в тартарары.  
 В небе ангел играет на лютне  
 и зовёт нас в иные миры.

В небесах высоко и красиво,  
 там легко обитать не во зле.  
 Но какая-то нищая сила  
 крепко держит меня на земле.

Расступается мёрзлая яма  
 и вздыхает душа: наконец!  
 Из тумана встаёт моя мама  
 и даёт свою руку отец.

Я теперь понимаю, как просто  
 быть счастливым и ношно, и днесь.  
 Облетает земная короста...  
 Мой любимый, не бойся, я здесь.



\*\*\*

Строчка в книге, набранная слепо,  
мне подскажет будущую даль  
и покажет, как она нелепа,  
как невечны – радость ли, беда ль...

Время, нам отмеренное скупю,  
тень ладьи на дальнем берегу.  
Тишины обугленные губы  
мне прошепчут: «дальше – ни гу-гу...»

Но строка, не знающая фальши,  
выведет меня из немоты.  
Я прорвусь туда, за это «дальше»,  
где мы будем вечно – я и ты...

# ЕЛЕНА ТЕМЧЕНКО

---

## ПЛЫВЁТ БЕЗДОННАЯ РЕКА

### ЛЕСНАЯ ПЕСНЯ

Я качаюсь в твоей колыбели...  
Тихо белые кружат снега,  
И стоят неподвижные ели.  
И немеют вдали берега...

Сладким зельем твоим не напиться,  
Не проникнуть в твоё бытие.  
Будет свет этой ночью ложиться  
На бездонное сердце моё...

Я замру в ожидании чуда,  
Ты отдашь мне своё волшебство.  
И лесной берегиней я буду,  
Принимая такое родство.

### САД

...Такая тишина...  
И даже город смолк...  
Но мудрая луна  
Молчит, что в мире ты  
Не одинок...

Пусть дышится навзрыд,  
И мается вина.  
И пусть душа болит,  
Она в объятьях тишины  
Обнажена...

Невидимый исток,  
И времени вода...  
И даже город смолк...  
Но в небесах зажглась в ночи  
Твоя звезда...

И выльется в строку  
Дрожавшее во мне...  
Так на своем веку  
Мы возвратимся в сад наш –  
Бытие...



## ПОЛЁТ

Давай оторвёмся от этой земли –  
Здесь столько разлук и страданий...  
Давай полетаем до новой зари,  
Давай полетаем...

Прольётся дождём еженощная боль,  
Людская пленённая мука...  
Тебя, мой любимый и самый родной,  
Я вырву из крута.

И страхи, сомненья, и беды твои  
Растают, как ночь у порога...  
Давай полетаем до новой зари  
В объятиях Бога...

## НАЙДИ СВОЙ САД...

Найди свой сад среди земных сует,  
Взрасти мечту свою в его ладонях.  
И будет сад твой ливнями согрет...  
А ночь придёт чернее и бездонней...

И ты обнимешь сердцем тишину,  
Ведущую ещё до колыбели.  
И ты услышишь тайную струну,  
Когда утихнут все мирские трели.

Исчезнет боль... И рукотворность дней  
Наполнится невиданным покоем.  
Найди свой сад внутри души своей,  
И он всегда останется с тобою...

## АРБАТУ...

Сливаясь с твоим дыханьем,  
Качая в ночи звезду...  
Сквозь беглые расстоянья  
К тебе одному иду...

И дремлет Арбат... Полмира  
Объявши в своих огнях.  
И словно застыла сила  
В седеющих фонарях...

Усталые переулки  
Расходятся по домам...  
Потянется ветер гулкий  
К пустеющим площадям...



И буду слагать я слово  
 Заветное о тебе...  
 И будешь созвучьем новым  
 В моей ты, Арбат, судьбе...

Нечаянным утром ранним,  
 В звенящем потоке дня  
 Я слышу твоё дыханье...  
 И греет оно меня...

#### БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ

Я сегодня пришла к Булату  
 Каждый камень обнять строкой...  
 В них таится душа Арбата,  
 И звучит тихий голос твой...

И, внимая дыханию слова,  
 Молча рядом с тобой стою...  
 В сердце музыка льётся снова  
 Про надежду и боль твою...

А дома, принакрывшись тенью,  
 Вечереют в толпе людской.  
 Всё сменяются поколения,  
 И идут в малый дворик твой...

#### АВГУСТ

Касаюсь августа душой,  
 Он блещет звёздными глазами.  
 И льёт невиданный покой  
 Пока невидимое пламя...

И так расплескан небосвод,  
 И серебром, и синевою.  
 И если небо упадёт...  
 Ты станешь им, оно – тобою...

Ни бездны нет, ни высоты...  
 На целый мир – одно дыханье.  
 Наполнен август... И цветы  
 Ликуют в пышном созерцании.

\*\*\*

Я в зеркалах не узнаю  
 Ни прошлого, ни настоящего...  
 А руку вещую даю  
 Сну уходящему...





И возвращаюсь: этажи  
И небо – синие...  
И океан медовой ржи,  
Ладони-линии...

Томится утро: облака...  
И тишь – заветная...  
Плывёт бездонная река,  
И мысли – светлые...

\*\*\*

Отпускаю вас, рубежи...  
Вам пристанищем станет время.  
Отпускаю вас, у межи –  
Я не с вами, и я – не с теми.

Отпускаю, у этих стен  
Ещё будут толпиться люди.  
Так предчувствие перемен –  
Затаившийся бич распутья.

Отпускаю вас – навсегда...  
Всё, что было со мной, теряю...  
Но как прежде стоит вода,  
Высь небесную отражая...

## ДВЕРИ

В игре зеркал даются роли,  
В них словно всё предрешено...  
Где есть – злодеи, есть - герои,  
А жизнь похожа на кино.

Фрагменты дней стяжает память,  
И миг на кадре восстаёт.  
Ведь то, что было – не исправить.  
Тому, что будет – свой черёд.

Но съёмка в суете событий  
Вдруг замедляет скорый бег...  
И роли больше – не прикройте,  
И так растерян человек...

Какую б маску не примерить,  
Всё превратилось в тленный дым.  
За декорациями – двери,  
Перед которыми стоим...

# ГРИГОР АПОЯН

## ИСКОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛОГОСА

эссе

Литература есть продукт деятельности особого подвижника, про него когда-то было сказано, что писатель – это человек, одержимый потребностью делиться, и страсть эта вполне сравнима с потребностью влюблённого беспрерывно касаться объекта своего вожделения.

Инстинкт – а это на самом деле инстинкт – делиться информацией, как один из важнейших механизмов выживания вида, пришёл к нам из далёкого животного мира: криками, движениями тела, распространением экскрементов и иных пахучих веществ представители дикой фауны передают друг другу сигналы опасности, или, наоборот, – о благоприятных условиях для размножения.

Изначально человек мало чем отличался от диких животных, и обмен информацией для него имел те же практические функции. И по сей день эта важнейшая функция – предупреждения – в обществе за информацией сохраняется. В частности, – за литературой, как бы далеко от реальной жизни она сама ни пыталась уйти.

Одним из принципиальных отличий человека от животных является его способность накапливать опыт предыдущих поколений, и качество это реализуется посредством литературы – назовём это так. Уже первые письменные памятники – будь то высеченные на скалах восхваления великих царей, исторические свидетельства летописцев, или старинные рецепты кулинарных изделий можно считать сугубо литературными источниками (но, конечно, не литературой в нашем, современном понимании).

Постепенно из всего этого «литературного» творчества человека должно было особо выделиться художественное повествование, то есть тексты, создаваемые лишь (или преимущественно) воображением автора и предназначенные исключительно (или, опять же, преимущественно) для эстетического наслаждения читателя – именно такое повествование сегодня мы и называем собственно литературой. То есть человек начал делиться не практической информацией, полезной для некоторых конкретных целей, а, скажем так, сказками собственного сочинения, и делал он это потому, что не делать не мог (это и есть баццлла писательства), хотя, надо полагать, за свои фантазии нередко был и бит – первые литературные критики – они же охотники, хлебопашцы и пр. – вряд ли были такими уж толерантными и за своё зря потраченное время авторов «сказок», наверняка, по головке не гладили. Не будет ошибкой сказать, что литература выделилась в письменном (изначально, конечно, в нарративном) творчестве человека примерно тем же путём, как изобразительное искусство родилось из мистических наскальных изображений, первоначально имеющих исключительно практическое (в понимании тех времён) назначение – задобрить духов изображаемых животных, на которых люди собирались охотиться.

Существует такое мнение, что история впервые возникла в древности как жанр художественной литературы, но простая логика подсказывает, что всё было ровно наоборот. Несомненно, изначально родилась история, как потребность передавать последующим поколениям не только цепь происшедших событий, но также логику этих событий и – по возможности, в подтекстах – способы противодействовать, с учётом накопленного опыта, нежелательным тенденциям. Труд историка имел исключительно практическое предназначение, перед ним не стояла задача сотворения Красоты, что является главной, можно сказать, единственно ожидаемой от неё функцией литературы. Роберт Стивенсон, например, справедливо противопоставляет «веренищу плоских суждений летописца прежних времён» образцам истинной литературы, которую он представляет «плотным, светящимся потоком в высшей степени организованного повествования, немислимым без изрядной доли философии и остроумия».

Самое интересное, что вплоть до Нового времени литература, как сфера деятельности человека, не входила ни в какие классификации, правда, ещё древние греки включали в них поэзию, но скорее, как



прикладную часть красноречия, или логики, которые были крайне важны для осуществления политики – главного занятия «благородных» людей тех времён. В классификации Платона – одной из первых в мире – поэзия в качестве подраздела вообще включена в категорию «музыка» – запомним и этот примечательный факт.

Литература, как и искусство в целом, является выплеском неизбежного стремления человека к Красоте. Иррациональное, совершенно необъяснимое очарование красотой (вот, кто рискнет дать ей объективное определение?), наверное, также пришло к нам ещё из животного мира; во всяком случае, уже первые люди были готовы многим жертвовать во имя того, что представлялось им красивым. Доказательство – воодушевление, с каким абorigены отставших в своём развитии районов Земли меняли всё своё достоинство на копеечные бусы бессовестных колонизаторов, обирающих тянущихся к прекрасному простодушных туземцев.

Набоков говорил, что на самом деле вся литература – вымысел, а всякое искусство – обман. Для чего? На самом деле, это часть общего обмана человека о себе самом. Человек нуждается в этом обмане, возможно, более, чем в хлебе насущном: жизнь его тяжела и безрадостна – несбыточные мечты искусства создают для него прекрасные иллюзии, пусть призрачные, но надежды. Что тоже идёт издалека. Когда измученные тяжёлой охотой на мамонта, или другого крупного животного, первобытные люди наполняли наконец свои желудки мясом убитого зверя и заваливались отдыхать, наверное, не было для них, ещё помнящих о растоптанных мамонтом своих братьях, большей отрады, чем рассказы какого-нибудь фантазера из их среды, вдохновенно сочиняющего небылицы о чудо-копьях, поражающих гигантских животных с одного удара – эти рассказы помогали им преодолевать свой страх в следующей охоте, поддерживать веру в собственные силы. Той же цели, как известно, служили наскальные изображения животных, со временем становящиеся всё более и более эстетичными, художественными, приобретая самостоятельную ценность, как предмет искусства, Красоты.

Помимо того, по мере развития человеческого общества, утверждения в нём – по крайней мере, формально – некоторых нравственных императивов, росло в более или менее продвинутых людях, в интеллектуалах и чувство неудовлетворенности собой, горькое осознание собственного несовершенства, порочности и пр., и здесь искусство, вымысел, от щедрот своих великодушно презентуя этим страдальцам потрясающие образцы высокого поведения идеализированных героев, реально помогало им примириться с собой, поверить в лучшее в себе. И стремиться к нему. Древние греки хорошо понимали воспитательную, очистительную функцию искусства – они завещали нам слово «катарсис».

Как таковая, эта функция утешения человека, внушения ему надежд на лучшее, в принципе, сохраняется за литературой, искусством и в наше время, но выразительные их средства за многие столетия, конечно, претерпели изменения, так же, как менялись сами представления о Красоте, которые, кроме всего прочего, чрезвычайно разнятся у разных народов и религий.

Что касается литературы, то на пути от «вереницы плоских суждений летописца прежних времён» до «плотного, светящегося потока в высшей степени организованного повествования, немислимого без изрядной доли философии и остроумия», как это определил Стивенсон, она прошла через немалое количество пертурбаций, разветвляясь в многообразные стили и направления, нередко ведущие между собой непримиримые войны. Но при всём этом были и вещи неизменные; самая первая и самая главная из них – наличие в повествовании конфликта. Человеку интересны только те истории, которые построены на конфликте. Уже в первых рассказах первобытных охотников в обязательном порядке присутствовал естественный конфликт, а именно, непримиримое противоречие между человеком, желающим убить животное, и самим животным, так же остро желающим сохранить свою жизнь. Суть и природа отражаемого литературой конфликта естественным образом менялась с развитием человеческого общества, всё более перемещаясь из столкновений героя с внешним миром в проблемы его личного внутреннего дисбаланса. В сущности, неизбежная потребность человека разобраться в себе самом и создаёт главное поле деятельности для всякого искусства. Но есть, конечно, и масса других побудительных мотивов для творчества; в литературе социальные вопросы – первые среди них. Социальная тематика, а именно, проблема социального неравенства начала появляться в литературе с начала 19-го века по мере пробуждения угнетённых масс, жизнь которых дотопе вообще никем не принималась во внимание; эта тематика оставалась едва ли не самой главной в течение почти полутора веков, привлекая писателей глубоко заложенным в ней острым конфликтом. Яркими образцами произведений этого направления являются романы Стендаля, Диккенса, Достоевского, ближе к нам – Горького, Стейнбека, и многих-многих других.

Со времён революций середины 19-го века и особенно после Второй мировой войны Европа всерьёз вознамерилась исключить из своего бытия социальные конфликты, и до недавнего времени это ей в значительной степени удавалось. С другой стороны, писателям стран советского блока в административном порядке был навязан так называемый «социалистический реализм», который исключал отражение социального конфликта в принципе. Всё это естественным образом повлияло на литературу, принуждая её в поисках необходимых ей для существования конфликтов всё больше концентрироваться на внутренних противоречиях и переживаниях индивида. Дело не в том, что ранее эта сфера не имела для литературного творчества первостепенного значения – отнюдь! – просто со временем она осталась едва ли не единственным объектом для исследователя. Соответственно драматическим образом меняется смысл и содержание литературного творчества. При том, что все многообразные стили и направления, которые напитывали литературу со времен Египетских собраний народных мудростей, поэм Гомера и текстов Священных писаний, в том или ином виде сохраняются в ней по сей день, уже довольно длительное время вполне определённо проявляется тенденция к установлению примата самого слова, его звука над действием, событием, а вечный спор между «что» и «как» почти однозначно решается в пользу последнего – непрекаемый авторитет весьма спорных, на самом деле, Пруста, Джойса и многих, им подобных, почти не придающих значения смыслу, но только форме, звуку, тому подтверждение. Чтобы выглядеть современным, писатель должен играть со словом, пытаться извлечь из него музыку, звуки. Смысл почти не имеет значения, только звук. Тот же Стивенсон примерно полтора столетия тому назад так определял назначение литературы: «Художественные произведения пишутся для двоякого рода восприятия – и с их помощью: для некоего внутреннего слуха, способного улавливать “неслышные мелодии”, и для зрения, которое водит пером и расшифровывает напечатанную фразу». К нашему времени сотворение «неслышных мелодий» стало, по существу, доминирующим требованием к литературе. Дошло до того, что известный российский политический деятель, инкогнито подвизающийся и на литературной ниве, без обиняков заявляет о своих эстетических пристрастиях: «меня не интересуют приключения людей, меня интересуют приключения слов». Оставим психологам рассуждать, в какой степени это признание выдаёт глубоко запятанную мизантропию данного деятеля, нам важно только зафиксировать приоритетную задачу современной литературы – сотворение «неслышных мелодий».

А теперь посмотрим, что происходит с самой музыкой, какие там доминируют тенденции.

В 1956-м году Чак Берри записал на пластинку собственную песню под названием «Подвисься, Бетховен!» (Roll Over Beethoven), которая имела бешеный успех не только у слушателей, но и у других известных исполнителей, её включили в свой репертуар такие знаменитости, как Битлз и Роллинг Стоунз. Из самого названия песни можно сделать вывод, что широко расправившая свои крылья попса вознамерилась выкинуть на помойку за ненадобностью для себя всю классическую музыку. На самом деле, это был дешёвый эпатаж (эпатаж никогда не бывает иным), и классическая музыка – никогда не претендующая на чужих фанатов – конечно, сохранила и сохранит навсегда свою собственную аудиторию. Однако, возможно, именно эта песня Чака Берри – который, скорее всего, не имел каких-то особых амбиций и не подозревал о подобных перспективах музыкального творчества – знаменовала собой появление новой тенденции в популярной музыке – всё больший акцент в ней не на мелодию, а на слово.

При строгом подходе «чистой» музыкой является симфония; опера уже «разбавлена» словом, а в песне слово порой имеет не меньшее, но даже большее эмоциональное воздействие, чем музыка. О смещении акцента с мелодии на слово и идёт здесь речь.

Не зная французского языка, можно получать почти равное с французом наслаждение от исполнения песен Эдит Пиаф, так же как от Фрэнк Синатры, не зная английского. Но чем ближе мы подходим к нашим временам, тем важнее становится восприятие именно смыслового содержания музыкального произведения, которое и музыкальным порой назвать очень трудно. Вряд ли, слушая некоторых довольно популярных современных англоязычных певцов, можно получить хоть какое-то удовольствие, если не понимать смысла слов (что не получаешь никакого удовольствия, даже понимая смысл текста – это другой разговор). Конечно, есть и множество прекрасных песен с изумительной мелодикой и глубоким смысловым содержанием, речь лишь об определённых тенденциях. Вот, что такое реп – музыка, или декламация? А ведь реп – основной тренд в современной музыке (здесь как-то хочется это слово взять в кавычки). Короче, в музыке мы можем зафиксировать такое же движение в сторону слова, как в литературе – движение в сторону звука, музыки. Характерный пример: когда молодого Азнавура спросили, что является приоритетным в его песнях – слова, или музыка, он ответил, не колеблясь – музыка, но когда этот же вопрос ему задали в пожилом возрасте, он так же уверенно отдал предпочтение слову. Тенденция?



Конечно, на веки вечные сохранятся все стили и направления и в литературе, и в музыке, включая самые консервативные и, так сказать, «ретроградные»; они будут конкурировать друг с другом, перенимать что-то друг у друга, нередко сливаться в отдельных произведениях, как это происходит и сейчас; в данной работе сделана лишь слабая попытка проследить некоторые интересные, на взгляд автора, пересекающиеся тенденции в этих важнейших сферах человеческой активности.

А делая такие довольно смелые обобщения, невозможно не коснуться вопросов классификации, которые во все времена отражали представления человека об окружающем мире, о важнейших взаимосвязях, которые ему удалось раскодировать в данную историческую эпоху.

И тут вполне уместно вспомнить, что в средние века музыка в различных системах классификации относилась к самым различным сферам деятельности человека – от математики до медицины. Было время, когда считалось, что музыка призвана доносить истину космоса до каждого человека (что, может быть, действительно так).

Вспомним также уже упомянутую классификацию Платона, положившую начало объединению в один кластер так называемых «мусических» искусств, а именно: саму музыку, слово и танец.

Всевременное благоговение перед музыкой, которого она, несомненно, заслуживает, сегодня компенсируется в определённой степени встречным движением музыки к слову. Возможно, это знамение Нового времени.

Потребность в обмене утилитарной информацией, которая – помним! – и породила в итоге литературу, в животном мире удовлетворяется преимущественно посредством звуковых сигналов, что, видимо, позволяет говорить о глубокой генетической связи между звуком и смыслом, звуком и словом, словом и музыкой. То же самое, очевидно, можно сказать и о жесте, танце, рисунке и т.д. Позволим себе сделать фантастическое предположение, что когда-нибудь человек задумается над созданием некоей общей теории Красоты, включающую в себя все искусства, в том числе и искусство экономики и политики, так же, как сегодня он всерьёз размышляет над созданием Единой теории поля в физике. И тогда ему откроется исконный смысл звука. Исконное значение логоса.

*P.S. Последняя информация: Нобелевская премия по литературе за 2016 год присуждена американскому автору-исполнителю и писателю Бобу Дилану с формулировкой «За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции».*

# ИГОРЬ КЛЕХ

## СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ СВЕРХЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Важно не только *Что* говорится, но и *Кто* говорит. Так считал Фридрих Ницше – так будем считать и мы. Ницше хотелось быть пророком, современным Заратустрой. Филологию, с которой он начинал, он считал пустяковой забавой, а классическую философию исчерпанной. Ему хотелось быть услышанным соотечественниками, но, по его мнению, те готовы были выслушать только апостола или национально-го поэта. «Ни один из великих философов не увлѣк за собой народа!» – восклицал Ницше. По своему складу он являлся моралистом, по профессиональным интересам – филологом и философом, по призванию – идеологом, а по факту – писателем и лирическим поэтом. Французский литератор румынского происхождения, современный ницшеанец, Эмиль Чоран едко определил Ницше как «ягнѣнка, вообразившего будто он – волк». Так кем же был в действительности этот немецкий профессор, затеявший отменить христианство и свергнуть с престола Богочеловека – чтобы заменить его туманной религией Вечного Возвращения, а на пьедестал водрузить своего Сверхчеловека?

### ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ГОДЫ УЧЁБЫ

Два самых важных наследственных фактора генезиса Фридриха Ницше: во-первых, он происходил из рода лютеранских пасторов; во-вторых, по семейному преданию, из польского рода графов Ницких. Современники отмечали в его внешности явно «неарийские», сарматские скулы и мечтательный, «славянский» взгляд. Во времена Контрреформации лютеране Ницкие бежали из католической Польши в Пруссию. Даже в зрелом возрасте Ницше, более чем критично оценивавший протестантство, к католицизму относился с лютой, почти иррациональной ненавистью. Ему делалось дурно от одного вида, запаха и убранства католических храмов, а полюбив Италию больше Германии и поселившись в ней, он в своих непрерывных скитаниях задерживался в Риме только в случае крайней необходимости.

Родился Фридрих Ницше 15 октября 1844 года, в день рождения прусского короля, покровительствовавшего его отцу в молодые годы. Но лютеранский пастор Карл Ницше отказался от карьеры по причине расстроенных нервов, попросился в деревню и получил приход в захолустном Рёккене на границе Пруссии с Саксонией. Взяв в жены пасторскую дочь, он произвёл с ней на свет трёх детей-погодков и умер в возрасте 36 лет. Когда первенцу Фридриху не было и четырёх лет, его отец упал с крыльца, ударился головой о каменные ступени, после чего лишился рассудка, тяжело проболел целый год и скончался в судорогах от «воспаления мозга», как решили врачи. Но мало такой психической травмы на пороге жизни. Год спустя Фридриху приснился сон, как его отец под звучание органа (а он был ещё и органистом своего крошечного прихода) поднимается из своей могилы в церкви, а затем так же возвращается в неё, уже держа в объятиях какого-то ребёнка. Напуганный Фридрих пересказал этот сон матери (позднее он изложил его в своей «Автобиографии», написанной в возрасте... 14 лет, – странный мальчик, ей-богу!). А вскоре его жуткий сон сбывся – в считанные часы сторел от «нервного припадка» младший братец Иосиф. В этой трагической истории, помимо дурной наследственности, чувствуется присутствие ещё особой детской впечатлительности, слышится отголосок самого страшного стихотворения в мировой литературе – «Лесного Царя» Гёте. Неразумные матери из образованных семей часто читали вслух своим малолетним чадам это прекрасное стихотворение Гёте, доводя их до рыданий и нервного срыва. Не только в Германии и не только в XIX веке художники, отмеченные печатью гибели (от Эдгара По до Кафки и Цветаевой), как бы «инфицировались» этой балладой – об отце, скачущем ночью верхом, с ребёнком на руках, сквозь оживающий дремучий лес.





Убитая двойным горем мать решает переселиться поближе к своим родителям. С Фридрихом и его младшей сестрой Елизаветой она поселяется в Наумбурге на Заале, под одной крышей с матерью и сестрой покойного мужа. Пятилетний мальчишка оказывается в «бабьем царстве», под ласковой опекой обездоленных женщин. Его отдадут в школу, переводят в гимназию, а затем в монастырскую школу Пфорта – нечто среднее между духовной семинарией и лицеем, откуда вышли многие немецкие знаменитости. У мальчика экстраординарные способности. Он преуспевает в изучении мёртвых языков – древнегреческого, древнееврейского и латыни, с ранних лет сочиняет музыку и стихи, ведёт дневник. Лет до семнадцати он не сомневается, что по семейной традиции станет пастором. За страсть всё планировать и всех поучать он получает от сверстников прозвище «маленький пастор». В восемнадцать лет Ницше поступает в Боннский университет и, как принято, записывается в одну из студенческих корпораций. Но буйные германские студенты оказываются далеко не так терпимы, как семинаристы Пфорта, и на его предложение отказаться от табака и пива предлагают в ответ ему самому покинуть их сообщество. Ницше возвращается в родные края, записывается в Лейпцигский университет и с головой уходит в филологию. Он больше не чужд. В Пфорта, желая доказать, что он не такой, как все, по примеру Муция Сцеволы он однажды положил раскаленный уголь на ладонь, а впоследствии растревал плохо заживающую рану расплавленным воском (след остался на всю жизнь). Тогда как, напротив, в Бонне, желая доказать, что он такой же, как все, он с порога заявил безобиднейшему из студентов: «Я новичок. Вы мне симпатичны, хотите драться со мной?» – и тут же заработал удар рапирой. Теперь в Лейпциге он вкладывает всю страсть в чтение. Два автора потрясают его по-настоящему и многое определяют в его будущей судьбе. Это Гёльдерлин – как и Ницше, потерявший веру сын пастора, как и он, боготворивший Древнюю Грецию поэт-романтик, а ещё – сумрачный германский гений с помутившимся рассудком (сорок лет клинического сумасшествия! Ницше в конце жизни ожидало всего одиннадцать таких лет). Другой – это Шопенгауэр. Две тысячи страниц его сочинения «Мир как воля и представление» на две недели лишают Ницше сна. Он спит не больше четырех часов в сутки, переходя от книги к письменному столу, а затем роялю. От беспросветного пессимизма Шопенгауэра хочется руки на себя наложить, но откуда тогда исходит такая мощная энергетика от его жизнеотрицающей философии?! Ницше понимает, что недавно умерший Шопенгауэр мог стать для него больше чем Учителем, в своих записях он называет его Отцом. Это вообще характерная черта психики Ницше: он плохо умел дружить и любить, у него получалось только обожать или ненавидеть. Но об этом чуть позже.

Профессор и научный руководитель Ницше подготовил сюрприз своему самому способному ученику к моменту окончания им Лейпцигского университета – он рекомендовал его на место профессора классической филологии Базельского университета в Швейцарии. Ницше было 23 года. Свой университетский диплом он получил без экзамена – преподаватели из уважения к его научным изысканиям сочли неприличным экзаменовать своего новоиспеченного коллегу. Но как же возненавидел Ницше впоследствии немецкое научное сообщество – эти «десять тысяч господ профессоров», определявших общественное мнение!

## ДЕЯТЕЛИ

Все одиннадцать лет преподавания в Базельском университете Фридрих Ницше тяготился своим предметом – он преклонялся перед древней Элладой, до появления в ней Сократа, но филология была ему скучна. В этом мечтательном ипохондрик дремал вулканический темперамент. Ницше привлекала активная, бурная жизнь, к ведению которой, как созерцатель, он не был способен и готов. Его восхищали император Наполеон и канцлер Бисмарк. В свой последний год в Лейпциге он оказался призван, несмотря на близорукость, в прусскую армию. В казарме и верхом на лошади ему понравилось, но очень скоро он с неё упал и целый месяц провёл в больнице с открытым переломом. Уже в Базеле с началом франко-прусской войны Ницше испытывает сильнейший прилив патриотизма, рвётся в действующую армию, но, поскольку Швейцария строго блюдет нейтралитет, ему удастся записаться в неё лишь санитаром. Война приводит его в восторг – особенно, отправляющиеся в бой части. Хотя видит он только зарево пожаров на горизонте да изнанку войны в тылах. Сопровождая десяток заболевших дизентерией и дифтеритом солдат из Эльзаса в Карлсруэ, – трое суток в запертом товарном вагоне, – Ницше заразился от них сразу обеими болезнями и сам очутился в госпитале. Надо быть слепым, глухим и очень недалёким человеком, чтобы не догадаться, что в обоих случаях речь следовало бы вести о подсознательном «дезертирстве» – но не в смысле трусости (Ницше был добровольцем и желал заглянуть в глаза смерти), а в смысле выбора, – то



есть о нежелании исчезнуть, не исполнив своей миссии, занимаясь не своим делом. Ницше убедился на собственном опыте, что сам он не деятель, и тогда устремился в идеологию со всей страстью, на какую был способен. То был общий вектор идейного развития XIX века – создание идеологий, партий и сект (по смыслу то и другое – отколовшаяся, выделенная часть). В этом процессе фигурируют на равных правах Маркс с Энгельсом, Толстой с Достоевским и Ницше с Вагнером. Ницше в молодости представлялись равновеликими исторический деятель Наполеон и мыслитель и поэт Гёте. И вот судьба послала ему их синтез – в лице композитора Рихарда Вагнера.

### КУМИР (ВОЖДЬ, ФЮРЕР)

Счастливым случай помог Ницше свести знакомство с Рихардом Вагнером ещё в Лейпциге. В Швейцарии они оказались почти соседями. За полдня Ницше добирался из Базеля в Люцерн, где в одиноко стоящей вилле на берегу озера поселился 59-летний композитор с новой, – пока чужой, но уже беременной от него, – женой и многочисленной свитой. Ни до того, ни позже Ницше никого так не любил, как Вагнера. Их отношения достойны были великого романа, но никто его не написал и уже не напишет – жанр устарел. Как уже говорилось, Ницше умел только обожать (надо учесть мечтательный, мистический и музыкальный настрой немецких душ того времени – в противовес простонародной грубости нравов и протестантскому прагматизму). В глазах Ницше, в личности Вагнера сошлись организаторский талант и темперамент государственного деятеля, гений художника, способного осуществить синтез искусств, ум мыслителя, способного создать новый миф и направить целую нацию к поставленной цели, и наконец, просто потрясающий мужик, при более чем скромных физических данных умеющий манипулировать мужчинами и женщинами, как заблагорассудится, – воплощённая воля! В нашей культуре похожие характеры встречались у «екатерининских орлов» – за вычетом таланта писать в рифму и без и сочинять великую музыку. Ницше никогда бы не освободился от чар Вагнера, если бы не безответная любовь, ревность и фактор «икс» – его собственный дремавший гений.

Именно Вагнеру Ницше обязан своим единственным вполне завершённым трудом – книгой «Рождение трагедии из духа музыки» (не говоря о такой мелочи, что её напечатал издатель Вагнера). Короля играет свита, и Вагнер не пренебрёг возможностью заполучить для прославления себя и своего дела перо и ум такой силы, как у Ницше. В двух словах – это был классический образец философской прозы, обеспечивший Ницше место в истории философии и литературы, но отвративший от него современное ему научное сообщество. С «Рождением трагедии» для Ницше закончился ученический период. До сих пор он был не вполне самостоятельным продолжателем дела Шопенгауэра и ретранслятором идей Вагнера. А идейки, надо сказать, были так себе. В сжатой форме Вагнер изложил их своему покровителю, слегка чокнутому Людвигу Баварскому. В принципе, всё сводится к культу великого искусства. Вагнер – апостол его, опера – верховный жанр, а красота – высшее и единственное оправдание существования нашего мира. Для расцвета «вагнеризма» (стараниями Вагнера и его свиты уже превратившегося в международную секту) надобно существование «просвещённого» монарха, вооружённого идеями макиавеллизма, и плебса, пребывающего в безотчётном рабстве. Народные массы необходимо обмануть, чтобы заставить служить чуждым им целям высокой культуры. Для этого следует навязать им две консервативные иллюзии – патриотизм и религию, а чтобы они чувствовали себя счастливыми – потчевать операми Вагнера и войнами, для эстетического воспитания и стимуляции героизма. Трудно поверить, но это не огубление, а вынужденно сверхкраткий конспект социальной метафизики Вагнера, почти целиком воспринятой Ницше. После разрыва с Вагнером Ницше отказался единственно от приоритета высокого искусства. Ему нравился более грубый и менее лицемерный мир. Если в год франко-прусской войны больше всего остального его потряс пожар в Лувре, то спустя полтора десятилетия извержение Кракатау и землетрясение в Ницше, где он поселился, уже только обрадовали (как Александра Блока гибель «Титаника»: «Есть ещё океан!»).

Вагнер не мог и не хотел принадлежать одному Ницше, а на меньшее Ницше был не согласен и потому не мог не проиграть. После переезда Вагнера со свитой три года спустя в Байройт их горячие и непростые отношения расстроились, но продолжались ещё пять лет. Новые лица в окружении композитора и общая атмосфера психоза вокруг строительства небывалого оперного театра подвигла Ницше, в конце концов, к ревизии отношений. Он разразился философским памфлетом «Человеческое, слишком человеческое». Семья и свита Вагнера сочли это отступничеством и предательством. Но и Ницше счёл Вагнера предателем, когда тот сочинил «Парсифаль» и, таким образом, как бы вернулся в лоно изначального ложного христианства. Только тогда Ницше осознал, что настоящей целью его философской охоты



является теперь не Вагнер, прикинувшийся полубогом комедиант, а мишень покрупнее – два тысячелетия моральной философии и христианской веры. Вот чтобы завалить какого «зверя» явился Ницше на белый свет! Но с голыми руками на такого не пойдёшь. И Ницше мучительно принимается размышлять, где добыть или выковать оружие? Каким оно должно быть?

К этому времени от Ницше давно отвернулся учёный мир, не принявший уже его «Рождение трагедии». Как книгу вопиюще не отвечающую критериям научности, её отвергли все издатели. А когда она всё же вышла, научное сообщество никак на неё не отреагировало. Узвлённый Ницше не нашёл ничего лучшего как отплатить коллегам «Несвоевременными размышлениями», которые он стал выпускать брошюрами в 1873-1874 годах. Адресат первой же брошюры – почтенный профессор, возомнивший себя на старости лет философом, – после её выхода в свет попросту сыграл в ящик. Ницше раскаивался в выборе цели, но остановиться уже не мог. В следующих брошюрах досталось на орехи историкам, затем филологам. Профессора ответили ему «взаимностью», какой не пожелаешь врагу: гробовым молчанием. Ницше, как учёный, оказался погребён при жизни. Студенты от него стали разбегаться. Спустя десять лет он печатал свои новые произведения мизерными тиражами за собственный счёт и сам рассылал их знакомым и незнакомым. В Германии его уже не знали или успели позабыть – все, кроме профессоров. Когда Ницше по настоянию сестры попытался в середине 1880-х вернуться к преподаванию, ректор его «альма матер» передал ему через посредников, чтобы не тратил времени зря – ни один немецкий университет не примет его на работу. Его многочисленные друзья, Рихард Вагнер и «вагнерианцы» подпитывали высокую самооценку в нём в течение целого десятилетия. Но ещё с середины 1870-х стали отходить от Ницше и ближайшие друзья. И это отдельная тема.

#### ЛЮБОВЬ И «ДРУЖБА НА ФОНЕ МОРАЛИ И ФИЛОСОФИИ»

Ницше, как и Вагнер, был из породы ловцов душ. Вот характерное его признание: «Проблемы, перед которыми я стоял, представлялись мне проблемами столь коренной важности, что мне почти каждый год по несколько раз представлялось, что мыслящие люди, которых я знакомил с этими проблемами, должны были бы из-за них отложить в сторону свою собственную работу и всецело посвятить себя моим задачам». От дружбы Ницше требовал чего-то невозможного или чего-то другого. С самого раннего возраста он отчаянно мечтал, ни много ни мало, «облагородить человечество» – и начать с создания чего-то вроде коммуны, которую он называл по-разному: «новая греческая Академия», «эстетическая и монашеская ассоциация», «школа воспитателей» или «современный монастырь, идеальная колония, свободный университет», где все были бы учителями друг друга, а обучение продолжалось минимум до тридцати лет. Его отношения с друзьями всегда были пылыми и нежными, а вот отношения с женщинами – подчеркнута асексуальными, да и женщин этих по пальцам можно перечесть. Выросший в женской, а затем в мальчишеской среде, он всегда ставил дружбу выше любви. Младшая сестра Ницше вспоминает его слова: «Дружба разрешает тот же кризис, что и любовь, но только в гораздо более чистой атмосфере». Несомненно присущий Ницше гомоэротизм подавлялся им в той же степени, что и зачатки гетеросексуальности, – а это был верный путь к одиночеству. Строго говоря, Ницше хотел быть **человеком без пола**, что не такая уж редкость, во всяком случае, в писательском мире (Свифт, Гоголь, По, Кафка, Платонов – его собратья в этом отношении). По меткому наблюдению религиозного философа Евгения Трубецкого, Ницше хотелось «преодолеть Вселенную» (так сформулировал Ницше свою задачу в этапной книге «По ту сторону добра и зла»).

Чтобы не быть голословным – несколько иллюстраций. «Вагнерианке» и старой деве фройляйн Мейзенбух, удочерившей детей Герцена, он пишет с похвалой: «Благодаря вам я открыл один из самых возвышенных моральных мотивов. Это материнская любовь без физической связи между матерью и ребёнком. Это одно из самых прекрасных проявлений caritas. Уделите мне немного этой любви, дорогой друг мой, m-lle Мейзенбух, и считайте меня за человека, которому необходимо, о как необходимо, иметь такую мать, как вы». (Между тем, мать Ницше была жива, и ближе, чем она и его младшая сестра, у него не было людей на свете). А вот воспоминания самой Мейзенбух о жизни в Сорренто: «Вспоминается, как мы сидели всё вместе по вечерам: Ницше, удобно поместившись в кресле в тени абажура, наш любезный лектор Ре – за столом около лампы, молодой Бреннер – около печки, против меня, помогает мне чистить апельсины. Я часто со смехом говорила им: право же, мы все составляем идеальную семью, мы четверо очень мало знаем друг друга, не связаны никакими узами родства, у нас нет никаких общих воспоминаний, и теперь мы живём совместно и совершенно независимо друг от друга и в полном душевном согласии.

Скоро мы все начали строить планы о том, чтобы повторить, но уже в более широком масштабе, этот счастливый опыт». Когда неугомонная фр. Мейзенбух в 1882 году решила выступить свахой и свела Ницше с двадцатилетней авантюристкой Лу Саломе (якобы дочерью русского генерала), то в этой самой романтической в жизни Ницше истории «жених» предложил «невесте»... «духовный брак». В итоге Лу увёл ближайший друг Ницше тех лет Пауль Ре – что разом положило конец и платонической любви, и нежной дружбе. До того письма Ницше своему сопернику больше напоминали пылкие любовные послания, и поначалу с Лу у них был тройственный союз. Они даже сфотографировались на память втроём: Пауль и Фридрих держатся за ручку детской коляски, в которой сидит Лу (уговаривали сесть в неё Фридриха, но он решительно отказался).

Друзей Ницше начал терять в тридцать лет. Живший с ним и Овербеком под одной крышей в Базеле Ромундт неожиданно заявил, что уходит в католический монастырь. Ницше пережил это как двойную измену близкого человека. Но следом Овербек признался, что женится, за ним Роде и Герсфорф. Умный, как бес, и выдавший виды Вагнер писал Ницше в 1874 году: «По-видимому вам, современной молодежи, недостает женского общества. Я прекрасно знаю, какое здесь встречается затруднение: как говорит мой друг Шульцер, “где возьмешь женщину, если не украдешь её?”. Хотя почему бы и не воровать, если это нужно? Всем этим я хочу сказать, что вам надо либо жениться, либо написать оперу; и то и другое будет одинаково хорошо или дурно для вас. Однако женитьбу я всё же считаю за лучший выход... Но я знаю ваши странности, мой милый Ницше, и потому не буду больше говорить об этом, так как всё равно это ни к чему не приведёт. Ах, боже мой, да женитесь вы на какой-нибудь богатой невесте! И зачем это нужно было судьбе сделать Герсдорфа мужчиной!».

Ницше страдал от одиночества и, уже намеренно, всё больше отдалялся от людей. Сестре он жаловался в письме: «У меня нет ни бога, ни друга». Но в другом письме признавался: «Мне психически необходимо жить совершенно одному». И задним числом видно, что в таком «окукливании» философа была своя железная логика. Почти совершенное одиночество помогало ему достичь огромной сосредоточенности и концентрации умственных усилий. Благодаря ему он создал то, что мы называем «философией Ницше».

## НИЦШЕ В НИЦЦЕ

В 1879 году, окончательно разойдясь с Вагнером, Ницше решает порвать и с университетом. Мотивируя свой уход состоянием здоровья, он получает отставку и пенсию 3000 франков в год, вполне достаточную для безбедной жизни. В горной Швейцарии, куда увезла его сестра отдохнуть, можно было иметь в ту пору комнату и стол за пару франков в день. Два года Ницше переезжает с места на место, готовясь умереть. Но, странное дело, периодически преследовавшие его болезненные симптомы непонятного происхождения (светобоязнь, тошнота и рвота, желудочные судороги, болезни горла, не говоря о головных болях, жестокой бессоннице и нечаянных травмах) постепенно отступают и исчезают вовсе. Ничего странного: как правило, человек болеет либо физически, либо психически. И в последующие годы характер жалоб Ницше меняется: «Всё здорово, кроме моей бедной души». А непосредственно перед помешательством он даже хвастается полным отсутствием физических недомоганий в письме Петеру Гасту, такому же холостяку: «...пищеварение у меня, как у полубога; несмотря на ночной стук экипажей, я сплю хорошо».

Всю неизрасходованную жизненную энергию Ницше направляет теперь на творчество, а её излишки сжигает в непрестанных перемещениях и в долгих пешеходных прогулках. В своих странствиях он продвигается всё дальше на юг, поближе к Средиземноморью. Он разлюбил холмы, леса и города Германии, полюбил Альпы и озера Швейцарии, но и их оставляет ради солнечной Италии и её приморских городов. В зависимости от сезона и каприза он меняет, как перчатки, места жительства и пансионы, обожает Венецию, где поселился Гаст, и бухту Рапалло под Генуей, но, в конце концов, останавливает свой выбор на Ницце, где 220 солнечных дней в году. Сюда он чаще всего возвращается, здесь, среди итальянских простолоудинов на окраине, ему живётся лучше, чем где бы то ни было.

После двух тяжёлых лет привыкания к одиночеству Ницше пережил наконец озарение (которое вполне может быть расценено и как первый симптом грядущего помешательства). В Швейцарских Альпах ему открылся мистический смысл архаичной доктрины Вечного Возвращения и явился легендарный Заратустра – древнеиранский пророк, основатель «зороастризма», автор «Зенд-Авесты». И хотя это было не видение, а лишь прозрение, Ницше разрыдался, словно вновь родился на свет. В своих записях он помнил это событие таким примечанием: «В начале августа 1881 г. в Силбс-Марии, 6500 футов над уровнем моря и гораздо, гораздо выше всего человеческого». В стихах он зафиксировал случившееся так: «И в этот



миг внезапно нас стало двое – / Мимо меня прошёл Заратустра». В сентябре в горах неожиданно пошёл снег, и Ницше спустился в Геную. В течение следующего месяца он трижды покушался на самоубийство.

Так его устами заговорил Заратустра. Надо учесть, что Ницше принимал наркотики – но в XIX веке это совсем не считалось пороком и рекомендовалось врачами. Малую порцию настоя индийской конопли он выпивал, чтобы заснуть, большую – чтобы подстегнуть себя (это то, о чём можно говорить с уверенностью). Ницше задавался риторическим вопросом: сколько пива в немецком протестантизме? Позволительно переадресовать тот же вопрос ему самому: а сколько конопли в том, что говорил Заратустра? Но сколько бы ни было, Ницше сочинил и издал частями в 1882-1884 годах самую знаменитую свою книгу – квазирелигиозную поэму, с которой прочно ассоциируется с тех пор его имя для всех. Книга резонанса не имела никакого. Заключительную четвертую её часть он вынужден был напечатать за свой счёт тиражом 40 экземпляров. Семь из них он разослал – столько оставалось у него читателей, включая родную сестру. «Заратустра» был ответом Вагнеру на его «Парсифаль», но Вагнер умер годом ранее в Венеции, а пророчества и поучения предтечи Сверхчеловека растворились в пустоте. И Ницше делает следующий шаг: «С этих пор я буду говорить, а не Заратустра» – то есть не скандировать, а говорить по существу.

И здесь начинается самый интересный и плодотворный период творчества Ницше, когда его философия избавляется от диктата «художественных средств» и становится философией мысли, а не рупором лирического или идейного настроения автора.

### ВЗОРВАВШАЯСЯ ВСЕЛЕННАЯ

Все работы Ницше последнего периода это подготовка к главному труду жизни – *opus magnum*, за которым закрепилось название «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей». Злая ирония состоит в том, что этот труд так и не был написан, только начат. Как если бы Творец принялся строить солнечную систему, начиная с периферии, а когда дело дошло до светила, оно взяло да взорвалось. Примерно так и выглядит философское наследие Ницше. Присмотримся к нему внимательнее.

Ницше отвергал тяжеловесную основательность немецкой классической философии, требовавшую построения философских систем. Он склонен был к атакующему, афористически-эссеистическому и менее отвлечённому способу мышления, свойственному французской культуре (Паскаль, Монтень, Ларошфуко). Замысел «Воли к власти» возник у Ницше вскоре после написания «Заратустры», надо думать, как следствие неудовлетворенности. В это время он теряет самого родного и близкого человека – младшая сестра неожиданно выходит замуж и уезжает с мужем в Парагвай, чтобы основать там «арийскую» колонию (и это интереснейший побочный сюжет перипетий «вагнеризма» и «ницшеанства»: после Второй мировой войны в этой колонии нашли убежище многие нацистские преступники, в том числе концлагерный «врач» Менгеле, а к концу XX века, из-за изоляции и кровосмесительных браков, она превратилась в род богадельни для слабоумных). Некрасивой ссорой заканчивается двадцатилетняя дружба Ницше с профессором Лейпцигского университета Эрвином Роде. А тут ещё землетрясение в Ницце!

Ницше записывает: «Какое нам дело до г-на Ницше, до его болезней и выздоровления? Будем говорить прямо, приступим к разрешению проблемы», – и в очередной раз набрасывает грандиозный план. Вчера – лицемерная мораль, сегодня – всеобъемлющий нигилизм, что завтра – где выход? Масштаб собственного замысла – «опыт переоценки всех ценностей!» – ужасает философа. Поэтому он начинает с «увертюры» и пишет работу «По ту сторону добра и зла». Слово «увертюра» здесь употреблено не случайно – Ницше, по его многочисленным признаниям, совершенно не мог существовать без музыки. Он и сам играл, импровизировал и сочинял весьма посредственную музыку (как справедливо парадоксальное суждение неопозитивиста Рудольфа Карнапа: «Метафизики – это музыканты без способностей к музыке!»). Но музыка имела на Ницше огромное влияние и свои собственные философские произведения он часто выстраивал как музыкальные сочинения.

На появление брошюры «По ту сторону добра и зла» вдруг реагирует один швейцарский критик, квалифицируя её как сочинение анархиста. «Книга пахнет динамитом», – заключает он. Швейцария в те годы стремительно превращалась в питомник анархизма и терроризма. Воодушевлённый откликом Ницше молниеносно отвечает своему критику работой «Генеалогия морали»: «Я отвергаю идеализацию мягкости, которую называют *добротой*, и поношение энергии, называемой *злом*». «По ту сторону добра и зла», пишет Ницше, ещё не означает «По ту сторону хорошего и дурного».

По существу, эти две полемические работы являются пролегоменами «Воли к власти», Ницше и сам



так считал. Себя он называл «иммoralистом» – но писавший о его философии Евгений Трубецкой утверждал: «Последовательный иммoralизм есть вместе с тем *совершенный индифферентизм*. Такова была точка зрения Спинозы, который учил, что надо “не смеяться, не плакать, а понимать”. Для всякого видно, что философия Ницше с её “новыми скрижалями ценностей” не имеет ничего общего с таким индифферентизмом. В ней есть и радость, и грусть, и смех, и слёзы, восхищение и негодование». Ницше был страстным человеком и мыслителем, и в этом отношении созвучен своим русским современникам – Толстому (с его «срыванием всех и всяческих масок» и попыткой оставить от христианства одну мораль без веры) и Достоевскому, о котором Ницше писал так: «Вы читали Достоевского? Никто, кроме Стендаля, так не восхищал и не удовлетворял меня. Вот психолог, с которым у меня очень много общего». Мужиков первого и преступников второго он, во всяком случае, предпочитал отечественным бюргерам и филлистерам. Никто из этих троих не умел остановиться. Ницше считал, например, что присущий христианству инстинкт «правдивости» послужил разрушению этого учения. Тогда как это самого Ницше подвела его интеллектуальная «честность» и увлекающийся характер. Было в этом что-то подростковое.

Остановиться Ницше, и вправду, не мог и не хотел. Уже на грани сумасшествия он пишет «Сумерки кумиров» (в другом переводе «Гибель идолов»), «Антихрист» и «Падение Вагнера». Через пять лет после смерти композитора он вдруг осознает, что Вагнер его обобрал до нитки – соблазнил и увёл публику, завладел Козимой (Ницше начинает мерещиться, что любовью его жизни была... жена Вагнера!), похитил друзей и подруг, превратив их поголовно в вагнерианцев и вагнерианок. Утрачивать самоконтроль Ницше начал, ещё работая над «Заратустрой» (так он писал Роде: «...у меня есть предположение, что своим “Заратустрой” я в высшей степени улучшил немецкую речь... Обрати внимание, мой старый, милый товарищ, было ли когда-нибудь в нашем языке такое соединение силы, гибкости и красоты звука... Мой стиль похож на танец; я свободно играю всевозможными симметриями, я играю ими даже в моём выборе гласных букв»). Теперь он пишет «Ессе Ното» и разбирает по пунктам: «Почему я так осторожен», «Почему я так умен», «Почему я пишу такие хорошие книги». Трудно придумать злее автокариатуру.

Но ирония состоит в том, что именно в этот период первые лучи славы достигают сбрендившего философа. Им заинтересовалась «заграница» – Ипполит Тэн во Франции и Георг Брандес в Дании (которым он посылал свои книги), Август Стриндберг в Швеции. Время Фридриха Ницше истекло, наступило время «философии Ницше» – в свои права вступал век идеологий. В январе 1889 года чета Овербеков и историк Якоб Буркхард в Базеле, Георг Брандес в Копенгагене, Петер Гаст в Венеции получают письма явно сумасшедшего человека, подписанные «Распятый». Вдова Вагнера, Козима, получает записку: «Ариадна, я люблю тебя» (Ницше отождествляет себя с богом Дионисом, взявшим в жены обманутую и брошенную Тезеем Ариадну). Овербек срочно выезжает в Турин, где находит Ницше в пансионе, играющего локтем на пианино и поющего гимны во славу Диониса. Свои последние одиннадцать лет философ проведёт в психиатрической лечебнице. В редкие минуты просветления Ницше спрашивал того, кто оказывался рядом: «Разве я не писал прекрасных книг?.. Лизбет, зачем ты плачешь? Разве мы не счастливы?». Учитывая ту ношу, которую он сбросил с себя заодно с рассудком и ответственностью за свои идеи, трудно с ним не согласиться.

И всё же философия Ницше стоит мессы. Даже его Сверхчеловек не так прост, как показался нацистам. А уж сверхкритическая зоркость перед лицом морального и идеологического насилия такова, что в гомеопатических дозах может быть полезна и рекомендована всем.

«Воля к власти» – этот сырой черновик трактата о заложенных в Силы – увидела свет лишь благодаря стараниям душеприказчиков Ницше. Большинство набросков и этюдов были пронумерованы самим Ницше, и упорядочены впоследствии его другом Петером Гастом и родной сестрой. Вся «проектёрская» IV часть этой великой книги («Воспитание и дисциплина») так и не была и, надо думать, не могла быть написана. Не болезнь тому виной, она лишь следствие предельной «честности» философа – саморазрушение было встроено, как запал, в сам замысел его труда. Материалистические принципы, заложенные в основание философии Ницше, неизбежно вели к вытеснению и подмене смысла – творчеством, метафизикой – физикой, психологией – физиологией, жизнеутверждающего Эроса – жизнеотрицающим Танатосом, а «философии жизни» – социальным дарвинизмом. В конечном счете, трудно не задаться вопросом: не является ли символ веры Ницше, гипертрофированная воля к власти, компенсацией недостатка любви?

Философ Фридрих Ницше любил смотреть вдаль – на горы, море и облака, – но погладил ли он хоть раз в жизни собаку?

# «ФОНОГРАФ»

**СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВ**

---

## ПРОЗРАЧНЫЙ САД

### И РАССЧИТАТЬСЯ ПОЛНОСТЬЮ ЗА ЖИЗНЬ

И не страшны суды и пересуды.  
Не жаль ничто в затраты положить,  
Чтоб дань минут собрать в большую сумму  
И рассчитаться полностью за жизнь.

На подвиг дня нас поднимает пресса.  
И мы спешим в оставшийся вагон.  
Зачем живём, риторика процесса,  
Понять бы только всеу для чего?

\*\*\*

Тишина и теплота огня.  
Дождь стекло расчерчивает косо.  
Но совсем не радует меня  
Урожаем творческая осень.

Все стихи кругами по воде.  
Лезет строчка в голову чужая.  
Тяжелее ожерелье дней.  
Зеркала любви не отражают.

Журавлём отставшим мокнет сад.  
Ветер гонит золотые слитки.  
Но нужны для крыльев небеса,  
А такому дню твоя улыбка.

---

Сергей Борисович Александров (1936-2017) – поэт, доктор наук интегративной медицины. Автор нескольких поэтических сборников, в том числе: «Отблеск моря» (1980), «Созвучность» (1983), «Наступает утро» (1988), «Я Высказать хочу» (2012), «Взгляд из кроличьей норы» (2014). Стихотворения опубликованы в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Охотничьи просторы» (Москва), «Радуга» (Киев), «Южное Сияние» (Одесса) и т.д. Победитель международного конкурса «Зеленая волна» (2012, номинация «Поэзия»). Обладатель золотой Есенинской медали Союза писателей РФ. Член Южнорусского Союза Писателей (2014).

## СЛЕПОК МОЕГО ЛИЦА

Был он знаменит,  
не без того,  
И при жизни признанным,  
как классик....  
Я смотрю  
на гипсовую маску  
И не вижу  
образа его.  
Взглядом  
слепок моего лица  
Сделай  
и щеки коснись рукою.  
Как напоминание  
Живое  
О неотвратимости  
конца.  
Умный взгляд,  
хоть в слове не мастак.  
Губы выдают  
характер скверный.  
Я боюсь того,  
что после смерти  
Буду вовсе выглядеть  
не так.

\*\*\*

Чувствам в памяти не тесно,  
Как пейзажу на окне.  
До сих пор мой сад из детства  
Прикасается ко мне.

Что оставил на съеденье  
Голубых морских ветров  
От весеннего цветенья,  
До скелетов холодов.

Пусть зима летает крутом.  
На окошке тень креста.  
Для меня шумит не вьюга,  
А зелёная листва.

\*\*\*

А снег  
от первой нежности растаял...  
По крышам солнце  
прыгает в паркур.



Весна, весна  
не время расставаний  
И остановок дней  
на перекур.  
Развешаны на ветках  
птичьи трели.  
Танцуют капли  
в лужах пасодобль...  
Я шёл домой,  
неся в своём портфеле  
Среди тетрадей  
первую любовь.

\*\*\*

По миру путешествует вода  
И птичий щебет штопает пространство.  
Минуты избегают постоянства,  
Переплетают души провода.

Всё склонно к переменам, только я  
Безумно болен памятью планеты.  
И обжигает губы сигарета,  
Но нет второй в запасе бытия.

\*\*\*

Соберите чемоданы туч  
И отправьтесь в дальнюю дорогу.  
Если дома всё не слава богу,  
То забудьте на пороге ключ.

Не оставьте ничего в запас  
По укоренившейся привычке.  
Положите только соль и спички  
Для того, кто будет после вас.

\*\*\*

Когда-нибудь время над нами пройдёт,  
Не тронув пожизненный глянец.  
Зрачок развернётся наоборот  
И в старую душу заглянет.

Ни будет дождей, ни дрожащей струны,  
Ни замыслов, ни воплощений.  
Но мир будет познан с другой стороны,  
На новой волне ощущений.

Появится жизнь, как из кокона шёлк,  
Как берег другой переправы.  
И всё, что до этого произошло,  
Покажется детской забавой.





\*\*\*

Пусты,  
 как взгляд слепого, небеса  
 И канула на дно  
 монета лета.  
 Осенний спрут  
 проник в прозрачный сад  
 И оплетает  
 щупальцами ветви.  
 Отпущенное время  
 истекло.  
 Скрывает стрелки  
 пелена разлуки.  
 Но слышен шаг часов  
 и сквозь стекло  
 Зима ко мне  
 протягивает руки.

\*\*\*

Лик Бугаза<sup>1</sup>  
 выписан плоско.  
 И телами  
 покрыла склон  
 Первобытная сила  
 солнца.  
 Бегло тужатся  
 чрева волн  
 И рождают Венер  
 из пены,  
 Полугрешниц,  
 полубогинь.  
 Через них  
 вечный мир Вселенной  
 Отдаёт нам  
 свои долги.  
 От Одессы  
 до Палестины,  
 Несмотря  
 на войны и смерть,  
 Море кружится,  
 как пластинка,  
 О любви  
 продолжая петь.

<sup>1</sup> Бугаз – самый большой пляж под Одессой.

\*\*\*

Поступь времени нарочита  
 И, как то утверждают готы,  
 Есть начало и есть кончина,  
 А потом Бог подаст чего-то.

Как навязчива память чисел.  
Не вернуть былое без риска.  
Там за цифрами взгляд Пречистой,  
Перед ними взгляд материнский.

Я родился в селе приморском.  
Звали матушку все Купава,  
Потому что в целебных росах  
Она часто меня купала.

Ничего я для них не сделал,  
Все себе или нужным людям...  
И душа выкупает тело,  
Бросив жертвенный рубль на блюдо.

\*\*\*

Край моря, окраина лета.  
Спускаются крабы на дно.  
Цветущая ветка рассвета  
Моё открывает окно.

Пока не распутана пряжа  
Из снов, что сквозь память летят,  
Кофейная гуща подскажет  
Сценарии нового дня.

Не все ещё птицы распеты.  
Идут рыбаки на причал.  
Край неба, окраина лета.  
И это начало начал.

\*\*\*

Над морем чайки пустоту лагают.  
Созвездья ночью обживают дно.  
Всё кажется, что рыбка золотая  
Желание исполнит, хоть одно.

И вопреки физическим законам  
Во мне растает ожиданья лёд...  
Но поплавок качается спокойно  
И счастье на везенье не клюёт.

Ничто не вечно, кроме песни света.  
Чей борт вчера раскачивал прибой?  
На всякий случай брось в Любовь монету,  
Когда волна накроет с головой.

Судьба чуть раньше родилась на свет  
И путь твой начертала изначально...  
Толпятся, словно волны у причала,  
Стихи, которых на бумаге нет!



\*\*\*

И пусты небеса,  
как пробелы меж слов.  
Ночь дала  
«каждой твари по паре».  
И не трогают  
мягкие пальцы ветров  
Обнажённые нервы  
гитары.  
Лишь о чём-то своём  
говорят лопухи.  
Розовеет туман  
над водою.  
Даже память душе  
отпустила грехи,  
Чтобы те не мешали  
покою.  
И капелью минут  
тает времени лёд  
Над притихшей землею.  
И слышно,  
Как Большая Медведица  
тихо идёт,  
Осторожно ступая  
по крышам...

\*\*\*

Здесь глупость «вне игры»,  
А юмор, как лекарство.  
Одесские дворы –  
Прообраз государства.

Открытки... херувим  
И хлеб военный, чёрный,  
Всё старый двор хранит,  
Как золотой червонец.

Его не заменить  
На мелкие «подначки»,  
Он тем и знаменит,  
Что золотом оплачен.

Судьба играет в пасс,  
Нужна по жизни пара.  
И «золотой запас»  
Гуляет по бульвару.

\*\*\*

Природа застывает «на часах»,  
Показывают стрелки веток Осень.  
И мы впервые замечаем проседь  
В струящихся меж пальцев волосах.

Мир замер в ожидании весны,  
Но до неё ещё дожить бы надо.  
И будет Новогодняя бравада  
Бросать монеты счастья на весы.

Нас будет снег из дома изымать,  
Ведь не приемлет время постоянства,  
И мы полюбим седину пространства,  
И всех под сердцем приютит Зима.

## КАТЕРИНА ИВЧУК

### ТО САХАР, ТО СОЛЬ

АНН BELLA DONNA

*I caught the happy virus  
Last night when I was  
Out singing beneath the  
Stars.  
It is remarkably contagious-  
So kiss me.*

*Hafiz*

Шла кукла  
и меняла  
платья.  
Подмости,  
декорации  
казались ей  
под стать.  
Но роли  
все  
давались  
трудно,  
Текст забывался,  
ей хотелось  
спать.

Ивчук Катерина Андреевна (1982-2017) - поэт. Родилась в Киеве в 1982 году. Стихи опубликованы в альманахах «Юрьев День» (Киев), «Каштановый дом» (Киев), в журналах «Южное Сияние», «Золотой век», «Кольцо А», «Ликбез», интернет-сайтах «Stihi.ru», «Авророполис», «Diligans» и др.

« » (2010).

(2014).



Всё думала –  
Какая в том  
Причина?  
Но вдруг  
пожар  
непуготный, –  
сгорела,  
как лучина.

Ей пламя  
было как  
награда, –  
за сплетни,  
за аплодисменты,  
за её таланты –  
способность  
тонко и красиво  
врать.

Сгорела, –  
плакали  
родные!

Сгорела –  
причитали  
Все вокруг!

А кукла их  
тёмной  
волошбы  
не замечая,  
смотрела  
сквозь тебя.

Смотрела  
*сквозь*  
на ясный  
светлый  
круг.  
Настал и этот  
день,  
декабрьский  
и снежный.

Она забралась  
в ванну и,  
обмазавшись  
тоской,  
взметнулась  
ввысь.

Как солнечный  
карась,  
как лунный карп,  
как неизбежность



гудящего и протекающего  
крана в ванной.  
Как Маргарита рыжая.  
Как ясный  
светлый день  
и канитель его.

Не покидай меня,  
любимый,  
Мастер.  
Ещё чуть-чуть  
со мной  
побудь.

\*\*\*

О чём ты  
Так вздыхаешь  
Во сне с придыхом?  
К сердцу твоему  
Прильну –  
там часовой  
Механизм  
Тикает себе и тикает.  
Буду целовать  
Бережно,  
Чтоб не сорвать  
Чеку.  
Птицы заснули  
В саду,  
Рыбы уснули в пруду.  
Напевает  
Мне песню  
Бабайка,  
Тот, что днём  
Рассыпает то  
Сахар,  
То соль.  
Не бессонь же,  
Бессонница,  
Ты меня не  
бессонь.

\*\*\*

*П.О.*

Мы уже наигрались  
В прятки вдоволь,  
Перед нами все  
Дороги обернулись  
Глубокой мариинской  
Впадиной.

Хочешь, буду для  
Тебя Змеей Горгоной,  
Или другой  
Сказочной Гадиной.  
Душно от жизни,  
И всех её  
Перепитий.  
Обними меня этим  
Дождём,  
Господь,  
Тело которого  
Темнее  
Грозовой тучи.

Капля за  
Каплей,  
Да наотмашь  
И по лицу.  
Гляди и  
Уйдет всё,  
Что меня  
Ночами  
Мучает.  
От каждой  
Трещины  
И прорехи  
Сердце моё  
Скулит,  
И болит,  
Как прижатый  
Дверью щенок.  
Лишь от тебя  
Светлей.  
Каждую морщинку  
Твою люблю  
Каждый седой  
Волосок.

### «ИСКРОМЁТНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Публикуемые письма известного литературоведа, исследователя русского «Серебряного века», образованнейшего и остроумного человека, доктора филологических наук, профессора Одесского государственного университета им. И.И. Мечникова, Степана Петровича Ильёва (1937-1994) ко мне, который тогда был молодым, начинающим, только что получившим кандидатскую степень литературоведом. Эти тексты, несомненно, представляют собой всеобщий интерес, так как в них много говорится о том, что делалось тогда в сфере издания и научного изучения творчества писателя и драматурга Леонида Андреева, только лишь, пожалуй, тогда сопричисленного к бесспорным классикам русской литературы, идёт речь о процессах, происходивших в литературоведческой науке в целом – как в обеих столицах, так и в провинции, даются меткие, иногда язвительные характеристики видных литературоведов, фигурирует много имён известных людей, в частности, Аллы Александровны Андреевой (А.А.А.), вдовы Даниила Андреева и других.

С.П. Ильёв был замечательным учёным, а кроме того, и прекрасным педагогом по призванию, что подтверждается в воспоминаниях о нём под заглавием «Образ учителя» его любимой ученицы Веры Зубаревой. Она пишет о нём как о всеобщем любимце студентов Одесского университета. «<...> Он ушёл из жизни рано, оставив одну книгу и статьи, которые мне не все довелось прочитать. Папки со статьями загадочно исчезли из его квартиры после его смерти. <...> Искромётность Степана Петровича мгновенно преобразовала хмурое академическое пространство вокруг него. Казалось, стены коридора чуть раздвинулись, когда он стремительно проносился на лекцию, захватывая в свой энергетический вихрь студентов, едва поспевавших за ним. Он был центром притяжения и отталкивания, в зависимости от того, к какому полюсу тяготел человек. Эпитет “блистательный” не столько определяет его, а словно для него был придуман. Его стремительность, необычный образ мышления, смелость научная и человеческая энергетика, излучаемая всем его существом, произрастали из этой блистательности». (с.203-204)

Предлагаемые вниманию, как писали в старину, благосклонных читателей, письма С.П. Ильёва охватывают трёхлетний период – с марта 1989 по март 1992 года и, таким образом, в известной мере отражают переломный момент в нашей истории, а также и культуре, когда стало выходить много новых книг, «воскресали» ранее забытые или запрещённые имена. Но наряду с этим даже и сугубо, казалось бы, личные, частные коллизии, которые также широко фигурируют в этих письмах, безусловно имеют всеобщий интерес, так как об этом С.П. Ильёв писал со всегда присущим ему темпераментом, юмором и остроумием. Поэтому публикация этих писем, мы полагаем, совершенно правомерна и наряду с другими аналогичными публикациями – имя им легион – много приоткрывает и дополняет в представлениях об этом недалёком ещё времени, очень тревожном и тяжёлом, когда всё, говоря хрестоматийно известными словами Л.Н. Толстого из романа «Анна Каренина», «переворотилось», но толком не укладывалось. Время это, несомненно, было очень интересным, пусть даже, в конечном счёте, оказавшимся временем «неоправдавшихся надежд».

Письма С.П. Ильёва публикуются по автографам, хранящимся в моём домашнем архиве.

*Александр Руднев*



*Одесса, 26 марта 1989*

Дорогой Александр Петрович,

Я пострадал-таки от повторного гриппа, который прихватил меня 7 марта. Постепенно околёмываюсь, хотя ощущаю упадок сил, всё – как в замедленной съёмке. Тем не менее, я уже писал вам именно в дни болезни. Надеюсь, письмо уже в ваших руках. В нём я обещал выслать вам двухтомник драм Л.Н. Андреева, что сегодня и выполняю с удовольствием, по личному опыту зная, как радуется сердце книжника...<sup>1</sup>

Высказывания А.А.А.<sup>2</sup> о евреях я не одобряю, стыжусь слышать такие суждения от людей интеллигентных и считающих себя таковыми. Национальная самокритика – это совсем другое дело. Было время, когда А.А.А. дружила с представителями еврейства. Кратко сказать об А.А.А.: «Люблю тебя, моя комета, но не люблю твой длинный хвост!»<sup>3</sup> Ваше увлечение ею я понимаю, я прошёл через него. В недостатках и достоинствах А.А.А. я, мне кажется, отдаю себе трезвый отчёт. Она подвержена настроениям и влияниям, её окружают люди недюжинного интеллекта, ну, и она «баба с мозгом», правда, несколько набекрень в рассуждении некоторых проблем и вопросов. Еврейский – один из них.

За напечатание в «Литературной России»<sup>4</sup> порицать вас не следует, по-моему, потому, что у нас на Руси Святой нет независимых изданий, все – ангажированные, партийные, все они команде «кругом» развернутся на 180° и, как пионеры, всегда готовы, подобно пресловутой «пролетарской пушке» палить туда и сюда. Никогда так блистательно не оправдал себя афоризм: «журналистика – вторая древнейшая профессия», как у нас в советское время...

Из Петрозаводска<sup>5</sup> мне давно не писали. Понимаю, что молчанье с подтекстом. Я в опале. Прошу Вас никогда не упоминать моего имени в письмах к ним: будет ещё хуже.

Давно молчит и В.Н. Чуваков<sup>6</sup>. При встрече подбодрите его. Не отвечает мне и В.А. Келдыш<sup>7</sup>. Должно быть, все чем-то очень заняты. Желаю Вам скорого зачисления в штат ИМЛИ. Желаю Вам благополучия и душевного равновесия.

Ваш Ст. Ильёв

P.S. Прилагаю экземпляр моего последнего опуса<sup>8</sup>. Это – глава диссертации, вернее, монографии. Окромя дебильных «вопросов и заданий», весь текст совсем не составлен, а вполне оригинален. Но – «так надо».

Ст. Ильёв.

<sup>1</sup> По всей видимости, какое-то письмо С.П. Ильёва не дошло до меня, а, возможно, и не одно, по крайней мере, впоследствии. Однако двухтомник пьес Леонида Андреева под названием «Л.Н. Андреев. Драматические сочинения в двух томах», Л., «Искусство», 1989, составление, вступительная статья и комментарии Ю.Н. Чирвы, я благополучно получил в качестве подарка.

<sup>2</sup> Речь идёт об Алле Александровне Андреевой (1905-2005), вдове поэта и философа-мистика Даниила Леонидовича Андреева (1906-1959), сына Леонида Андреева (1871-1919), художнице, мемуаристке, которая в те годы активно выступала на всевозможных публичных собраниях и вечерах с чтением стихов Д. Андреева и с воспоминаниями о нём. Я также познакомился с ней на одном из таких вечеров, и она произвела на меня совершенно неизгладимое впечатление своей красотой, молодостью и каким-то трудно подающимся словам очарованием. Однако сильно разочаровала меня и привела в сильное недоумение своими антисемитскими высказываниями.

<sup>3</sup> Цитата из считающегося неустановленным стихотворения А.С. Пушкина, возможно, посвящённого жене, Н.Н. Пушкиной. См. об этом: «Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изображениях», СПб., 1901, с. 35. Указано Н. Ефремовым.

<sup>4</sup> Какая публикация у меня была в то время в «Литературной России», решительно не могу припомнить, но порицать за одно намерение напечатать что-либо в этом органе вполне могли.

<sup>5</sup> В Петрозаводске в это время жил мой отец Пётр Александрович Руднев (1925-1996), известный литературовед, теоретик стиха, работавший на должности доцента кафедры литературы Карельского педагогического института. В общении с людьми он отличался крайней переменчивостью и перепадами настроений. Именно это имел в виду С.П. Ильёв, бывший хорошо знакомый с ним и состоявший в переписке.

<sup>6</sup> Вадим Никитович Чуваков (1931-2004), известный литературовед, научный сотрудник ИМЛИ, архивист, текстолог, один из ведущих отечественных специалистов в области творчества и биографии Леонида Андреева, подготовивший ряд ценнейших изданий, в частности, 72 й том «Литературного наследства» – «Переписка Максима Горького и Леонида Андреева». М. «Наука», 1965. Давний и близкий знакомый С.П. Ильёва.

<sup>7</sup> Всеволод Александрович Келдыш (1929 г.р.), литературовед, специалист по русской литературе конца XIX – начала XX века, доктор филологических наук, в те времена был заведующим отделом литературы «Серебряного века» в ИМЛИ.

<sup>8</sup> Какую главу из своей докторской диссертации, которая тогда им готовилась, прислал мне С.П. Ильёв, не припоминаю. Но скорее всего, речь идёт о каком-то методическом пособии для студентов по литературе «Серебряного века». Позднее, но в том же 1989 году, он мне прислал свое учебное пособие, изданное в Одесском университете, «Творчество Анны Ахматовой».

## 2.

Одесса, 8 мая 1989

Дорогой Александр Петрович,

Да, у меня с В.Н. Чуваковым завязался эпистолярный сюжет, главным действующим лицом которого стали Вы. Я рад познакомиться с сыном моего дорогого друга Петра Александровича Руднева. О Вас лестно отзывается В.Н. Чуваков.

Ваши материалы<sup>1</sup>, по моему, могут заинтересовать члена редколлегии проектируемого сборника «XX век» и журнала «Русская литература» профессора Вячеслава Яковлевича Гречнего<sup>2</sup>, моего друга. Я имею полномочия рекомендовать авторов.

В данном случае достаточно сообщить Ваши предложения В.Я., сославшись на меня (я напишу также). Адрес В.Я. Гречнева: 194355, Ленинград, ул. Композиторов, д. 11-1, кв. 327; № домашнего телефона 513-39-81.

Для сборника «XX век» желательно, чтобы материал отвечал титулу издания с профетическим уклоном<sup>3</sup> у Леонида Андреева, как Вам известно, этот уклон заметен невооруженным глазом; для журнала «Русская литература» требуется остропроблемная статья (публикация).

Желаю Вам успеха в ИМЛИ!

Пишите мне, когда у Вас будет желание. Как видите, я не задерживаю ответа на письма ко мне.

В Одессе созываются научные конференции (была Бабелевская), на очереди Пушкинская (май), Ахматовская (июнь), и осенью – Истринские чтения и др. Но последние заявки ещё принимаются, так что дерзайте, ежели что...

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> О каких именно материалах пишет С.П. Ильёв – не помню. Очевидно, речь идёт о материалах, связанных с проблематикой моей диссертации – публицистика и критика Леонида Андреева. Ни в планировавшемся сборнике «XX век», ни в «Русской литературе» публикаций у меня тогда не было.

<sup>2</sup> Вячеслав Яковлевич Гречнев, литературовед, специалист по литературе начала XX века, автор монографии «Русский рассказ конца XIX – начала XX века: «Проблематика и поэтика жанра», Л. «Наука», 1979. Был профессором и заведующим кафедрой русской литературы в Ленинградском институте культуры им. Н.К. Крупской. Я виделся с ним один раз во время одной из своих поездок в Ленинград, но продолжения общения не последовало.

<sup>3</sup> Профетический – Пророческий.

## 3.

Одесса 21 мая 1989 года

Дорогой Александр Петрович,

Ваше письмо пришло в одночасье с письмом вашего батюшки, как оказалось, имеющего двух сыновей, (*одно слово неразборчиво*) Карла и Франца<sup>1</sup>, а сам он, значит (*два слова неразборчиво*) von Moog. Он пишет: «А.П. Руднев – это мой старший сын...». О В.П. Рудневе<sup>2</sup>, живущем в Риге я слышал...

Спешу сердечно поздравить Вас по случаю утверждения ВАК Вашей защиты<sup>3</sup>. Сегодня же о Вас вновь пишет мне В.Н. Чуваков, как обычно, в благожелательном тоне, – о своих «кожениях» по коридорам власти в связи с привлечением Вас и других участников издания Леонида Андреева<sup>4</sup>.

В.Я. Гречневу я написал о Вас и жду его ответа. В адресе Вячеслава Ковалевича д. II-I действительно так, как вы расшифровали: «дом II корпус I». Я уверен, Вячеслав Яковлевич отзовется сразу.

Л.А. Гальцеву<sup>5</sup> я знаю с 1969 года, познакомились в Калуге, на конференции, которые созывал мой незабвенный друг Н.М. Кучеровский...<sup>6</sup>

Недавно она писала мне о том, что изо всех сил доводит до кондиции свою диссертацию, хотя служба оставляет ей мало сил и времени на научную работу...

В Одессе удачно прошла II Пушкинская конференция, а в четверг и пятницу гости разъехались. А сейчас я готовлю I Ахматовские чтения (12-14 июня). Ждём гостей из Москвы и Ленинграда во главе с Михаилом Дудиным<sup>7</sup>, он оповещает меня о прибытии в Одессу 10 июня. Много хлопот, в конце учебного года и без того гонка, но необходимо довести дело до конца. Ахматова – уроженка Одессы, нас этот факт обязывает ко многому...

Осенью много конференций, на многие я обещался и даже на две-три зарубежные. Исполню ли – Бог весть!<sup>8</sup>

О моих поездках в Москву и Ленинград обычно извещается В.Н. Чуваков. До августа они невозможны: летом я тружусь в комиссии по набору студентов. А что у Вас в Коломне? Какие курсы в педагогическом институте?<sup>9</sup> Пишите. Ваш Ст. Ильёв

Ваши приветы Петру Александровичу и его семейству я передам<sup>10</sup> of course<sup>11</sup>.

<sup>1</sup> Герои драмы Ф. Шиллера «Разбойники».

<sup>2</sup> Вадим Петрович Руднев (1958 г.р.), мой младший брат, филолог, философ, культуролог, автор многих книг, в то время жил в Риге и одно время состоял сотрудником журнала «Даугава», где много печатался. С 1990 года живёт в Москве. С.П. Ильёв был, скорее всего, читателем этого журнала.

<sup>3</sup> Защита моей кандидатской диссертации на тему «Леонид Андреев – публицист и литературно-художественный критик: проблематика, стиль» состоялась на факультете журналистики Московского университета 11 ноября 1988 года.

<sup>4</sup> Меня планировал взять в группу ИМЛИ по изданию Полного академического собрания сочинений Леонида Андреева, но состоялось это несколько позднее.

<sup>5</sup> Лариса Алексеевна Гальцева (1935 г.р.), исследователь творчества Леонида Андреева, однако не вполне проявившийся, работала преподавателем – ассистентом на кафедре литературы Тульского госпединститута им. Л.Н. Толстого (ныне университета). Кандидатскую диссертацию она так и не закончила и не защитила.

<sup>6</sup> Николай Михайлович Кучеровский (1922-1974) был тогда заведующим кафедрой литературы в Калужском пединституте, занимался творчеством И.А. Бунина, издал одну книгу о нём.

<sup>7</sup> Михаил Александрович Дулин (1916-1993), известный советский поэт, в 1991 году написал предисловие к первой изданной книге стихов Даниила Андреева «Русские боги».

<sup>8</sup> Неполная строка из стихотворения А.С. Пушкина «Городок» (1817) – «Я много обещаю – исполню ли, Бог весть!». Эту цитату С.П. Ильёв, по-видимому, любил и часто использовал.

<sup>9</sup> Я не преподавал в Коломенском пединституте – очевидно, С.П. Ильёв точно этого не знал.

<sup>10</sup> Дело в том, что я всегда и особенно в то время был в сложных отношениях с отцом, а вскоре окончательно порвал с ним, но в шутку просил С.П. Ильёва передать ему поклон.

<sup>11</sup> Of course (англ.) – конечно.

#### 4.

Одесса, 4 июля 1989 года

Дорогой Александр Петрович,

Примите экземпляры Пушкинских и Ахматовских чтений вместе с моими извинениями за длительное молчание. Лишь сегодня я могу ответить на Ваши письма (2) без спешки. Участие в 3х чтениях (Бабелевских – пассивно, Пушкинских и Ахматовских – активно) плюс учебная нагрузка и приёмная комиссия совсем оторвали меня от письменного стола на месяц и более.

А. П. Черникова<sup>1</sup> я знаю по имени, встречались мне его статьи и публикации. Тот факт, что он опубликовал «Заявление» Вернера, снимает вопрос о подготовке материала для «Русской литературы», где его ждут даже с нетерпением. Я же хотел бы как можно скорее увидеть выпуск «Записок ОР ГБЛ» с этой публикацией (А.П. Черникова), о чём пишу и В.Н. Чувакову, возвращая ему его «перевод» с моими поправками и присовокупляя к нему моё прочтение рукописи.

В.Я. Гречнев мне писал о Вас. Поддерживайте с ним связь. Он мой друг, человек обязательный, дельный и т.д.

Ваш отец сообщает о том, что у него уже 2 месяца состояние депрессии. И ещё у него какая-то неприятность. «Поймите» всё это ввиду.

Л.А. Гальцева – старинная (с 1969 г.) моя приятельница. Я давно жду её защиты. Напишу ей и пошлю тезисы, как и Вам.

Пишу Вам на бланке вечера поэзии Мандельштама, участником вечера был и я. Я в приёмной комиссии, с 1 августа – в отпуске.

Ваш Ст. Ильёв

P.S. В сентябре 89 года в Одесском университете состоится I Истринские чтения. Если желаете, пришлите заявку и тезисы на имя доцента Александрова Александра Васильевича (кафедра русской литературы Одесского университета. Одесса-15, Пролетарский бульвар, 24/26, филфак, кабинет 74/2)

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> А.П. Черников – литературовед, текстолог, занимавшийся преимущественно текстологическими разысканиями по творчеству Л. Андреева. Речь идёт о его публикации «К творческой истории “Рассказа о семи повешенных” Леонида Андреева» («Записки отдела рукописей ГБЛ», вып. 47, М., 1988), где была впервые опубликована исключённая из текста рассказа Л. Андреевым глава под названием «Я говорю из гроба», представляющая собой предсмертную речь одного из героев – революционера-террориста Вернера, заменённая на главу «Их привезли». С.П. Ильёв и В.Н. Чуваков предложили другое прочтение этого текста по автографу, уличив публикатора в ошибках и даже плагиате.

<sup>2</sup> В Одессе ни на каких чтениях, несмотря на постоянные приглашения С.П. Ильёва, мне побывать так и не пришлось.

## 5.

Одесса, 28 августа 1988

Дорогой Александр Петрович,

Я затянул ответ на Ваше письмо от 14 июля. Сначала приёмная комиссия отвлекала, потом – запущенные дела, а 14 августа я уехал с семьёй в Евпаторию для короткого отдыха. И вот я уже третий день сижу за машиной (*так у С.П. Ильёва – А.Р.*) и отвечаю на письма. Спасибо за привет из Ленинграда!

В.Н. Чуваков прислал мне экземпляр выпуска 47 «Записок ОР ГБЛ». Публикацию А.П. Черникова мы признали неудовлетворительной. Можно прибавить также, что она сработана в научном отношении недобросовестно, поскольку публикатором замолчаны печатные материалы к «Рассказу о семи повешенных», известные специалистам. А.П. Черников игнорировал их, не подвергнув критике. Текстуальные совпадения его текста и текста В.Н. Чувакова ошеломительны.

Когда выйдет в свет роман С.А. Руднева «Под карантинным флагом» – не примените прислать экземпляр. Я не читал этого произведения и узнаю о нём из Вашего письма<sup>1</sup>.

По возвращении из Евпатории я нашёл у себя краткое письмо от П.А. Руднева. Судя по тону, всё в порядке, что меня всегда радует. Пётр Александрович сообщает о том, что Лиза в Англии<sup>2</sup> и пробудет там до начала сентября. Намечается поездка в Киев...

Л.А. Гальцева писала мне, что она интенсивно трудилась над диссертацией и явно выходила на последнюю финишную линию. Она затянула свой труд. Летом я уже писал ей и выслал какие-то книги, но ответа от неё нет.

У В.А. Чувакова память мемуариста! В середине 70-х годов я был проездом в Москве (возможно, из Гданьска в Одессу или наоборот, уже не помню). А в Туле жил мой приятель историк Р.А. Басов<sup>3</sup> (историк редкостный, а потому опальный при всех режимах!), друживший с покойным мужем Ларисы Алексеевны. Гальцеву мы дома не обнаружили, а потому на сэкономленное время то ли пешком пошли, то ли в автобусе проехали в Ясную Поляну, но в дом Льва Николаевича не проникли...

Боюсь, что в Ленинграде вы не застали В.Я. Гречнева, который ездил к другу в Харьков и его окрестности, о чём он написал мне некоторый отчёт. В речке ловили закуску, поскольку друг любит это дело, а Вячеслав Яковлевич не отступает от традиций молодости...

Мне предстоит кратковременная поездка в Москву в конце сентября (нет, не получится – в начале октября) по издательским делам. Может быть в столице встретимся...

В течение сего месяца я буду сидеть дома, а потом поеду в Крым на конференцию (Гурзуф) и заседание редколлегии научного сборника ВРА<sup>4</sup> (Симферополь).

В настоящее время я занят символистскими романами<sup>5</sup>. Посещают всякие задумки – нет ни времени, ни сил на их не то что осуществление, а даже на проверку, примерку...

Желаю Вам успехов и отличного настроения

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Речь идёт о так и неосуществлённом, но планировавшемся переиздании, при моём непосредственном участии, романа моего родственника Сергея Александровича Руднева (1895-1962) «Под карантинным флагом» на тему о русской константинопольской эмиграции после гражданской войны (роман автобиографический), изданного единственный раз в московском издательстве «Недра» в 1926 году. Издательство «Художественная литература» заключило со мной договор, однако роман так и не был переиздан. Поэтому надежды С.П. Ильёва его прочесть оказались несбывшимися.

<sup>2</sup> Елизавета Петровна Руднева (1969 г.р.), моя единокровная сестра, дочь моего отца от второго брака, много лет живёт в США.

<sup>3</sup> Неустановленное лицо. По-видимому, преподаватель Тульского пединститута. Скорее всего, автор книги «Элитаризм. Традиция Мудрецов и Воинов».

<sup>4</sup> «Вопросы русской литературы».

<sup>5</sup> По всей вероятности, С.П. Ильёв работал тогда над своей монографией «Русский символистический роман», вышедшей в свет в Одессе в 1991 году.

Одесса, 3 сентября 1989 г.

Дорогой Александр Петрович,

Спешу поздравить Вас по случаю находки рассказа Л. Андреева «Путешественнику»<sup>1</sup> и эвентуального его напечатания в «Литературной России», этой реакционной трибуне Союза писателей (см. «Книжное обозрение» № 35).

А. Вагин<sup>2</sup> искал и не обрёл рассказа. Он, увы, похож на своего великого деда только внешне, да и то не очень. В личном общении он хорош и мил, но человек неверный, легкомысленный, необязательный. Моя с ним 20-летняя переписка изобилует такими перепадами наших отношений, что это одна сплошная драма (вернее, трагикомедия) или цикл фарсов. По существу Саша – фальшивый внучатый племянник Леонида Андреева, хотя формально он к нему (*одно слово неразборчиво*). Саша бездарен, малограмотен, закомплексован, вообще – продукт эпохи и Питера эпохи застоя. И, однако, общаться с ним, особенно в «Журдоме» (бывшем Суворинском) – одно удовольствие, правда, до поры, пока Саша не заправит коньячок бутылочкой – другой портвейна, четвёртой, пятой пивка, после чего в нём просыпается желание «начистить нос» незнакомцу, сидящему визави за столиком. К счастью, физиология вынуждает его умчаться к себе в общественном транспорте, не прощаясь... Кратко сказать, Саша – живая натура для романа «Нечистая сила» Вал. Пикуля.

Да, В.Я. Гречневу не удалось склонить редколлегию на издание специального номера (андреевского) журнала «Русская литература». В номере 40м будет публикация Л.А. Иезуитовой<sup>3</sup>. Саша Вагин и Л.Н. Кен<sup>4</sup> ревнивы к материалам из «Русской воли»<sup>5</sup> потому что давно в ней копаются.

Петру Александровичу я написал. Он не спрашивал меня, как мы познакомились, а, возможно, я и сам объяснил ему этот феномен.

Прилагаю бланк заказа на книгу моего приятеля<sup>6</sup>.

Я упорно просиживаю до отпуска за письменным столом и ничего не произвожу. Кризис жанра!

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Мне довелось обнаружить в журнале «Народное благо» (1901, №1) совершенно неизвестный рассказ Л. Андреева «Путешественнику», который я републиковал в «Литературной России», 1989, № 46, 17 ноября, с. 22. – Эвентуальный – предположительный, ожидаемый, желаемый.

<sup>2</sup> Александр Серафимович Вагин (1945-1993), внучатый племянник Леонида Андреева, сын его племянницы Ирины Андреевны Вагиной, ленинградский журналист, литератор, поэт. Старинный друг С.П. Ильёва, который часто относился к нему иронически и порицал за неумеренное употребление горячительных напитков, иногда не вполне добропорядочное поведение и т.д. Я познакомился с ним в Ленинграде примерно в это время и какой-то период состоял с ним в дружеских отношениях и переписке.

<sup>3</sup> Людмила Александровна Иезуитова (1931-2008), литературовед, исследователь Леонида Андреева, автор монографии о нём («Творчество Леонида Андреева. 1892-1906» Л., изд-во ЛГУ, 1976) и многочисленных работ, доцент Ленинградского университета. Статья Л.А. Иезуитовой, опубликованная в «Русской литературе», о которой пишет С.П. Ильёв – очевидно, «Леонид Андреев и Эвард Мунк».

<sup>4</sup> Людмила Николаевна Кен (1936 г.р.), литературовед, специалист по творчеству Леонида Андреева, жена А.С. Вагина.

<sup>5</sup> «Русская воля», – банковская газета, издававшаяся в Петрограде в 1916-1917 годах при содействии шефа жандармов А.Д. Протопопова, имела репутацию правительственного официоза. Л. Андреев возглавлял в ней литературно-театральный отдел и был фактическим её редактором вплоть до её закрытия после Октябрьской революции. Пытался привлечь к сотрудничеству многих виднейших современных писателей, но почти все под теми или иными предлогами отказывались. Сам Л. Андреев опубликовал в «Русской воле» около сотни художественных и в основном публицистических произведений.

<sup>6</sup> О какой книге и какого приятеля С.П. Ильёва идёт речь, – не припоминаю.

Одесса, 4 октября 1989 г.

Дорогой Александр Петрович,

Недоразумение разъяснилось, Ваши письма мною получены, спешу отвечать по существу.

В течение последних 11 дней я был в Крыму: в Гурзуфе на Пушкинской конференции и в Симферополе на заседании редколлегии научного сборника ВРА. Рассчитываю на будущей неделе съездить дня на 2 в Москву и затем в Ленинград, хочу заглянуть в тамошние редакции, издательства. Я останавливаюсь у Аллы Александровны Андреевой (229-87-51). Сейчас пишу ей. Если она примет меня, пожалуйста, по-





звоните ей (12-13-14 октября). В.Н. Чуваков отпадает, поскольку поедет за дарами Валдая...<sup>1</sup>

Назначим сборный пункт в зале Главтелеграфа (у входа, в вестибюле или в зале у окошка «до вос- требования»), поскольку там я получаю письма или звоню. Если созвонимся через Аллу Александровну Андрееву, то всё уточним и перепреиграем в случае надобности. Со мною в Москве хочет встретиться Чжоу Ци-Чан<sup>2</sup>. Может быть, в 18.00 12 или 13 октября. Если я буду знать обстановку, я извещу Вас каким-либо способом заранее. Если сумею, я воспользуюсь вашим телефонным номером. Спасибо.

Саша Вагин – милый, хороший человек, но не без недостатков, наша переписка – это трагикомедия характеров наших отношений. О нём и ему подобных я скажу словами К. Бальмонта: «Я горько вас люблю, печальные уроды!...»<sup>3</sup>

На ворчание Л.А. Иезуитовой не реагируйте: полемизировать – Ваше священное право. Итак, до эвентуальной встречи в Москве.

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> В.Н. Чуваков, по-видимому, собирался поехать в какой-то санаторий или дом отдыха на Валдае.

<sup>2</sup> Неустановленное лицо. По всей видимости, какой-нибудь китайский или корейский аспирант или начинающий литературовед.

<sup>3</sup> Неточно процитированная строчка из стихотворения К.Д. Бальмонта «Уроды». У Бальмонта: «Я горько вас люблю, о бедные уроды».

<sup>4</sup> Л.А. Иезуитова была обижена на меня за полемику с ней по поводу особенностей авторской позиции в ранних газетных фельетонах Л. Андреева, о чём она могла прочесть в автореферате моей диссертации. В дальнейшем, после личного знакомства я был долгие годы с ней в хороших отношениях.

8.

*Одесса, 31 октября 1989 г.*

Дорогой Александр Петрович,

Я виноват перед вами и прошу прощения. С отъездом В.Н. Чувакова и Л.А. Андреевой мои явочные квартиры в Москве провалились, поэтому простояв около 30 минут в вестибюле Главтелеграфа в условленный день (11го, а не 12го), я уехал в Питер в ночь с 11 на 12 октября. Если бы не отъезд Аллы Александровны, мы встретились бы непременно и не зная друг друга, поскольку я уверен, вы похожи, хотя бы отдалённо на Петра Александровича. Ответ ему я задержал, каюсь. Он подумает, что я обижен им (повод всегда найдётся).

В Питере виделся с Вагиным и Гречневым. Саша отзывается о Вас очень хорошо, так что в его лице Вы явно приобрели друга. Я рад, потому что как же иначе?! Я рассчитывал вновь быть в Питере в течение последней декады января, поскольку я зван сразу на две конференции в ИРЛИ – Грибоедовскую и Некрасовскую.

Позавчера я возвратился из Ставрополя, где прошли IX Брюсовские чтения. Съездил на Домбай («Зубр»). Величественная картина! И погода была все дни – «золотая осень»!

Сейчас окунаюсь наконец в учебный процесс. Пока есть силы, тружусь в поте лица, но вообще же не тем душа моя полна. Наобещал я много и многим. Исполно ли – Бог весть.

Я пытаюсь подписаться на Собрание сочинений Леонида Андреева<sup>1</sup>. От кафедры готовлю бумагу, не верю я в неё, а всё же...

От Чувакова письмо – письмо, уже из Москвы. Сообщает о телефонном разговоре с Вами.

В Одессе уже печальная осень, хмуро, ветрено и сыро.

Пишите обо всём, чему будете свидетель. Успеха в трудах!

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> В это время в издательстве «Художественная литература» готовилось первое за всё советские десятилетия Собрание сочинений Л. Андреева в шести томах. Первые два тома вышли в 1990 году, издание закончилось в 1996 году. 3 й том был «мой» – я был автором статьи-послесловия и комментариев, в чём мне тогда бескорыстно и самоотверженно помогал В.Н. Чуваков – и советами, и предоставлением материалов. Подписать на это издание поначалу было очень трудно – об этом и пишет С.Л. Ильёв.

Одесса, 1 декабря 1989 г.

Дорогой Александр Петрович,

Спешу поздравить Вас с публикацией «Путешественника» в «Литературной России». Спасибо за вырезку. Я не получаю это издание<sup>1</sup>.

Статью Л.А. Иезуитовой в № 3 «Русской литературы» я прочитал бегом<sup>2</sup>. Она не заинтересовала меня то ли потому, что проблема не моя, то ли способом интерпретации материала.

Как принят был ваш доклад о юморе А.Н. Толстого и В.Я. Шишкова<sup>3</sup>? Почему такой выбор? Потому что они в 1910-е годы именовались Еленой Колтоновской<sup>4</sup>? в числе «неореалистов»? Юмор русских реалистов почему-то, как пишут у нас «грубоватый». Почему это? Народ другого не поймёт?

У меня как обычно в сию пору, – служебная рутина и лекции для неорганизованной публики. Всем до зарезу надобны лекции о Пастернаке, Ахматовой, Цветаевой, Мандельштаме и других поэтах-модернистах. В результате (*одно слово неразборчиво*) и научная работа в застое, что не есть хорошо, как на этот негативный факт ни взгляни...

Я намереваюсь увидеть Сашу Вагина в январе (Зя декада). Я рассказал ему, как я аттестовал его в письме к Вам, он не обиделся, потому что знает, что я его, канашку, всё же люблю и за его пороки. Может быть, Вы втянете его в какую-либо эдиционную кампанию? Он нуждается в деньгах, а источников у него нет или они совсем пересохли.

В.Н. Чувакову отгиск статьи Л.А. Иезуитовой о Л. Андрееве и Мунке<sup>5</sup> я отправил 22 ноября.

Одесские психиатры возытели намерение обсудить «Мысль» Л. Андреева<sup>6</sup> и просят меня присоединиться к дискуссии.

Желаю Вам удачной поездки в Питер.

Ваш Ст. Ильёв

1. В кругах научной интеллигенции тех лет «Литературная Россия» имела репутацию официозного и потому однознного издания и по этой причине учёные-гуманитарии не жаловали её.

2. О какой статье Л.А. Иезуитовой идет речь, установить не удалось.

3. Я делал доклад на означенную тему в музее-квартире А.Н. Толстого в Москве незадолго перед этим.

4. Известный литературный критик 1910-х годов.

5. Шведский художник-модернист Эвард Мунк.

6. Речь идёт о рассказе Л. Андреева «Мысль» (1902), в котором изображена психиатрическая клиника и, возможно, о пьесе Л. Андреева с одноименным названием, написанной в 1914 году на основе этого рассказа и тогда же поставленной в Московском Художественном театре. Главную роль доктора Керженцева в этом спектакле исполнял известный актёр Л.М. Леонидов (1873–1941), по рождению одессит (настоящая фамилия Вольфензон).

Одесса, 13 декабря 1989 г.

Дорогой Александр Петрович,

А я-то уже мысленно представлял себе Ваше общество (Саня Вагин and С<sup>o</sup>) в Питере. Пожалуйста, передайте Сане моё «фэ», он молчит, а должен был корреспондировать незамедлительно, а так выходит, что он имеет обманную внешность, будучи по существу парнокопытным и с пятачком, тем самым он подаёт мне лёгкий повод для обид, по чужой и по нашей вине...

Саня, вместо того, чтобы водку жрать, делом бы занялся. Под лежачь камень и вода не текёт... Старец Лука<sup>1</sup> ему кланяется...

Из Петрова завода нет вестей. Вообще, за редкими исключениями народ плохо пишет, разбоячился, бастует по-своему.

Если состоится обсуждение «Мысли» Л. Андреева, я опишу этот симпозиум.

В Одессу пригласим вас, если пожелаете. Пришлите заявку на 1 Истринские чтения, чтобы начальство не чинило вам препон.

В №№ 7-10 журнала «Театр» Вы «Воскресение Маяковского» Юрия Карабчиевского уже прочитали? Дерзкое сочинение. Ал. Михайлов<sup>2</sup> не преминул метнуть в бунтовщика свой бульжный перун – за буйство и удаль<sup>3</sup>.





В сентябре 90 года в Херсонском пединституте созывается конференция по вопросам русского поэтического авангарда. Заявки и тезисы – до 1 марта.

В Одессе сухо, солнечно, ветрено, прохладно и тоскливо.

Вот и все новости.

Удачной вам поездки в Питер.

От Сандро Вагина жду «коллективного» (2 слова зачеркнуто) с окаянно-покаянными трезво-пьяными словами. (Водочка, она слезу любит, как карта...) Разражу подлеца и мезерабля! (Разумеется, эти страшные угрозы пишутся в шутку). Александра я достану иначе.

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Имеется в виду известный персонаж пьесы А.М. Горького «На дне».

<sup>2</sup> Известный исследователь жизни и творчества В.В. Маяковского.

<sup>3</sup> Усечённая цитата из монолога Хлопуши из драматической поэмы С.А. Есенина «Путачёв» – «Чернь его любит за буйство и удаль».

11.

Одесса, 13 января 1990 г.

Дорогой Александр Петрович,  
С Новым годом по старому стилю!

Встретил я новый год пошло: заболел, и вот в эти дни с трудом прихожу в себя. Скоро выйду на службу. Мой зав.<sup>1</sup> пишут мне, клянёт своего сотрудника и его хворь. Бестактно и неадекватно, вот я не могу «встать в строй».

Спасибо за информацию о Питере и Сашке Вагине, мрачной и трагической фигуре нашего безвременья. Скоро я лично дружески потрясу его за его слонявую бороду. Фамилия «Мити-парижанина»<sup>2</sup> в моём восприятии неотделима от платоновского Копёнкина с его пролетарской Силой и Розой Люксембург, хотя по описаниям Сашки, родственничек его не имеет ничего общего с персонажем из «Чевентура». Таковы гримасы, корчи и судороги ассоциативного мышления...

Мнится бледной памяти моей, что в нашей критике рубежа веков была в печати статья «Больной тарант», но ни автора, ни жертвы его я припомнить не в силах<sup>3</sup>. А Вы? Кто такая «Дева Отис» («Первое свидание» Андрея Белого), не надежда ли по-гречески? Откуда она явилась у Андрея Белого? В каком источнике можно почерпнуть сведения о московском психиатре Н.Н. Баженове, приятеле «декадентов»? Существует ли дельная монография о творчестве Арнольда Бёклина? Где найти описание Лаврентьевской ночи или римских лаврентарий? В какой стране находится церковь (монастырь Сент-Эльм с его чертовыми огнями (*одно слово неразборчиво*) «огни» Сент Эльма)? Остановимся на этом. Если что-либо Вы можете мне сообщить, не жертвуя временем, буду Вам признателен. Надеюсь, что Вы уже здоровы, чего желаю Вам от всей души, как и 365 отрадных дней в этом и в последующие годы.

Ваш Ст. Ильёв

1. Очевидно, имеется в виду заведующий кафедрой в Одесском университете, на которой работал С.П. Ильёв. Кто именно, не знаю.

2. Речь идёт о Дмитрие Владимировиче Копёнкине (1926-?), внуке Анны Ильиничны Андреевой, второй жены Л. Андреева, жившего в Париже и приехавшего в декабре 1989 года в Ленинград, где я с ним и познакомился у А.С. Вагина. Это был элегантный парижский господин, даже отдалённо ничем не напоминающий платоновского героя, о котором пишет С.П. Ильёв.

3. Об этом см. в одном из следующих писем.

4. Кажется, мне не удалось ответить на эти вопросы С.П. Ильёва, но точно не вспоминается. Впрочем, теперь известно, что «Лаврентьевская ночь» – от лавренталии – древнеримское празднество низших классов в честь лар – божеств – покровителей различных сторон обыденной жизни. Также ныне известно, что Огни святого Эльма (англ. Saint Elmo's fire, Saint Elmo's light) – разряд в форме светящихся пучков или кисточек (или коронный разряд), возникающий на острых концах высоких предметов.

12.

Одесса, 13 февраля 1990 г.

Дорогой Александр Петрович,

Я безбожно затянул ответ на Ваши два письма. Простите великодушно, не гневайтесь! После 2-х недельных лекций от гриппа я ещё в течение недели был нетвёрд как в мыслях, так и в членах. А тут – экзаменационная сессия и необходимость подготовиться к двум докладам. Запустил все дела и – самое страшное – переписку.

В Питере в Пушкинском доме я прочитал два доклада – о Некрасове в кругу символистов и о «горе» и «уме» в комедии Грибоедова. Второй, по мне, был чуточку приличнее первого. Два вечера я провёл в обществе Вагиных. Саша хорош в близком общении, а в переписке для меня он невыносим из-за капризности своих писем. Вообще мои питерские друзья очень хороши. Московских у меня много меньше, тут семья Чуваковых – центр моего внимания... Возможно, 27-28 февраля я буду в Москве, о чём справляйтесь у Вадима Никитича<sup>1</sup>. До 28 февраля я должен сдать московскому издательству книгу<sup>2</sup>, а в ИМЛИ – статью об Ахматовой и Белом. Было бы чудесно встретиться в те дни в Москве, но я знаю, как для вас это всё непросто, из Коломны. Кстати, в ИРЛИ профессор Г.В. Краснов высадил буквально десант своих учеников. Я и Вас ожидал в их числе<sup>3</sup>.

Извещаю Вас о том, что весной (апрель или май) 1991 года в Одессе состоятся II Ахматовские чтения. Заявки и тезисы принимаем в течение 90 дней. Призываю Вас принять участие. Рекомендуйте толковых ахматоведов или просто дельных литературоведов, которые хотели бы испробовать свои силы на Ахматовой. Нужны стиховеды.

В конце марта у нас состоится I Истринские чтения. В Орле, по слухам, в сентябре-октябре – научная конференция о писателях-орловцах.

Надеюсь, вы уже обрели душевное равновесие. Вадим Никитич пишет о том, что у Вас комментарии приняли. Поздравляю Вас!

Итак, возможно, до скорой встречи в Москве. Будьте благополучны!

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Чувакова.

<sup>2</sup> О какой книге С.П. Ильёва идёт речь, неясно. Очевидно, «Русский символистский роман».

<sup>3</sup> Георгий Васильевич Краснов (1921-2008), известный литературовед, профессор, автор научных работ и книг о Пушкине, Некрасове, Льве Толстове, революционных демократах, прежде всего о Добролюбове, с 1976 года работал в Коломенском пединституте, переехав по ряду причин из Горького (Нижегород). Тут С.П. Ильёв ошибается – я никогда не был учеником Г.В. Краснова, но был хорошо с ним знаком.

<sup>4</sup> Речь идёт о комментариях к 3-му тому шеститомного собрания сочинений Леонида Андреева.

### 13.

*Одесса, 21 февраля 1990 г.*

Дорогой Александр Петрович,

Не беспокойтесь; на мои вопросы ответы или уже найдены, или отыщутся. В.Н. Чуваков кое в чём всё же мне пособил, только я его помощью едва ли воспользуюсь в полной мере по причине дефицита времени и ограниченного объёма комментария.

И Вадиму Никитичу, и мне, как и Вам, тоже думается, что «Больной талант»<sup>1</sup> – это о Л.Н. Андрееве. Но о такой статье надо было бы запросить К.Д. Муратову<sup>2</sup>, а я сообразил это только сию секунду...

Нет, Саня Вагин, если и обидчив, но и отходчив, он подобен тем туземцам, о которых пел покойный Андрей Миронов, – «на лицо ужасные, добрые – внутри». Он всё делает по наитию, а в переписке так своенравен, что не знаешь, на кой козе к нему подъезжать.

При всех сложностях перехода Вашего в ИМЛИ и жизни в Москве, я думаю, что это событие важное на Вашем пути, и я желаю Вам успеха. По-моему, В.А. Келдыш – человек добрый и честный учёный, достоинства в наш развращённый век – уникальные и драгоценные.

В погромы я не верю. В Одессе – тихо, здесь слишком много евреев, они, если захотят, сами устроят погром...

Пётр Александрович не пишет, я уже и к Лидии Петровне<sup>3</sup> обратился – молчание. Уже тревожусь. В.П. Руднев гремит в «Даугаве», особенный успех выпал на №8 – 1989.<sup>4</sup>

26 го вечером и до вечера 27 го сего месяца я буду в Москве, звоните В.Н. Чувакову, если пожелаете.

Недавно я писал Вам и пытался объяснить причины и поводы паузы в нашей переписке. Они тривиальные. Надеюсь вы уже здоровы, чего Вам и желаю.

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Как выяснилось, статья «Больной талант» – действительно о Л. Андрееве, автор её – критик неонароднического толка М.П. Протопопов.



<sup>2</sup> Ксения Дмитриевна Муратова (1904-1997), известный ленинградский литературовед старшего поколения, библиограф, была специалистом невероятной эрудиции. Я был с ней немного знаком, раза два был у неё в гостях в её квартире на Миллионной улице (бывшей Халтурина), окна которой выходили на Неву и Петропавловскую крепость. Она очень внимательно и ревниво следила за успехами молодых исследователей. Последний раз я навестил её в Доме престарелых для научных работников в Павловске, не так задолго до её смерти. Она была рада моему посещению, которое я осуществил по совету А.П. Чудакова, незадолго перед тем побывавшего у неё, и каких-то пушкинскомских сотрудников.

<sup>3</sup> Лидия Петровна Новинская (1937 г.р.), жена П.А. Руднева.

<sup>4</sup> В 8 номере «Даугавы» за 1989 год была опубликована работа П.А. Руднева «Стих и проза».

## 14.

*Одесса, 20 марта 1990 г.*

Дорогой Александр Петрович,

Отвечаю на Ваше письмо с некоторым опозданием по причине возвратного гриппа, значительно понижающего мои витальные ресурсы и общий тонус. Ну, и служба со всеми прелестями, идущими от непосредственного начальника...<sup>1</sup> Я чувствую усталость и делаюсь всё безразличнее к судьбе и стилю читаемых лекционных курсов. И не ходил бы в аудиторию, и не читал бы никому и ничего...

Моё обещание я не забыл, в ближайшее время Вы получите 2 х-томник Леонида Андреева<sup>2</sup>.

Да, в Москве мы провели несколько запоминающихся часов<sup>3</sup>.

Нет сомнения, что следующие наши встречи будут также не пустыми. Мне очень понравились мои давние друзья Чуваковы. 20 лет нашей дружбе, но я впервые на себе ощутил, какие это милые, чуткие люди. Приятно вспоминать эти дни и часы...

2-х томник ни к чему не обязывает Вас, но если попадутся Вам на глаза лишние экземпляры книги Льва Гумилёва «Древняя Русь и дикая степь» или книга «Мир Пастернака», пожалуйста, вспомните в эту минуту обо мне.

В тот вечер, простившись с Вами, я попил чаю в обществе Чуваковых, а в 23 часа засел за раскладку текста. Работал всю ночь лихорадочно, в возрастающем темпе. В 7 часов я наклеил последнюю страницу, но пагинацию бросил в середине, поручив всё прочее доделать Вадиму Никитичу. По моей просьбе он отвёз материал редактору в тот же день<sup>4</sup>. Там меня ругнули за внезапный отъезд. Я не успел сообщить им, что я в Москве в некотором роде инкогнито, без разрешения и ведома начальства, между двумя лекциями...

Итак, до новых встреч в Москве и Одессе!

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Кто был тогда «начальником» С.П. Ильёва в Одесском университете, установить не удалось.

<sup>2</sup> О каком двухтомнике Л. Андреева идёт речь – решительно непонятно. Гослитовский шеститомник выходил в Москве, в это время вышли первые два тома, но они были мной обреты в Москве же, и Ильёв посылать мне их не мог. Однако возможно, речь идет о вышедшем в издательстве «Искусство» двухтомнике пьес Л. Андреева со вступительной статьей Ю.Н. Чирвы (Серия «Библиотека русской драматургии»).

<sup>3</sup> Мы впервые лично встретились с С.П. Ильёвым в 20-х числах февраля 1990 года у В.Н. Чувакова, а затем вместе посетили А.А. Андрееву в день её рождения 25 февраля, когда ей исполнилось 75 лет.

<sup>4</sup> Над каким материалом работал тогда Ильёв, абсолютно не помню, возможно, над той же книгой «Русский символистский роман», которую я впоследствии получил от него в подарок.

## 15.

*Одесса, 7 апреля 1990 г.*

Дорогой Александр Петрович,

2-х томник пьес Андреева и экземпляр моих «методических указаний» я отправил на Ваше имя ценной бандеролью. Пожалуйста, подтвердите факт получения, если, разумеется, он имел место<sup>1</sup>.

«Письма и записки Оммер де Гелль» П.П. Вяземского – это издание желанно, Вагинов – также, а Добычин у меня есть<sup>2</sup>.

Ленту для пишущей машинки, ежели случится, пожалуйста, купите. Здесь я купил с рук зарубежную ленту за 5 рублей, но она сухая. Обманули. Но не носить же за собой пишущую машинку для испытаний...

Если увидите Аллу Андреевну, напомните ей, что она получила моё письмо и что я жду её ответа по существу. Само собой – привет ей и поклон<sup>3</sup>.

Что у Вас с ИМЛИ?

В.Н. Чуваков стал писать крайне редко, это от безделья на новой работе. Избалуются человек. У нас грядёт конференция – I Истринские чтения.

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Мне упорно представляется что двухтомник пьес Л. Андреева мной получен от С.П. Ильёва раньше, но утверждать это как истину в последней инстанции не берусь.

<sup>2</sup> Книжки, которые выходили в 1989 и особенно в 1990 году в издательстве «Художественная литература» в серии «Забывтая книга».

<sup>3</sup> О чём именно спрашивал в письме к ней Аллу Андреевну С.П. Ильёв, он мне не сообщил.

<sup>4</sup> В.Н. Чуваков незадолго перед этим перешёл из Архива А.М. Горького, в ИМЛИ, где он прослужил много лет в каждодневном присутственном режиме, в Отдел литературы «Серебряного века», руководимый В.А. Келдышем для работы над подготовкой Полного академического издания Л. Андреева – в этом отделе режим был куда более свободным. На эту тему и шутка С.П. Ильёва.

16

*Одесса, 19 апреля 1990 г.*

Дорогой Александр Петрович,

Я доволен тем, что двухтомник Леонида Андреева доставил Вам удовольствие и радость<sup>1</sup>. Не считайте себя обязанным и не ищите издания для «реванша». Судя по тому, что в Ваших письмах не упоминается моя брошюра, она до Вас не дошла. Если же дошла и Вам она без надобности, отдайте её какому-либо «практикующему» филологу Коломенского пединститута, преподающему историю русской литературы начала XX века.

Я уверен, что вы займёте должное место в корпусе научных сотрудников ИМЛИ, чего и желаю Вам от души.

Как Вам известно, наступает «ужасная пора», страдающая во всех смыслах. И на этом фоне я пытаюсь писать научные статьи, что усиливает лишь раздражение печени...

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> Очевидно, это всё-таки аберрация памяти. Скорее всего, С.П. Ильёв в самом деле только в это время послал мне двухтомник пьес Л. Андреева.

<sup>2</sup> О какой брошюре идёт речь, неясно.

17.

*Одесса 5 мая 1990 года*

Дорогой Александр Петрович,

У меня складывается впечатление, что не все мои письма доходят до Вас. Я отчётливо помню, что сообщал Вам о получении мною экземпляра произведений Добычина и благодарил<sup>1</sup> за презент; там же было сказано, что у меня это издание есть, а в ответ Вы писали, что я могу подарить этот экземпляр кому-либо из друзей, коллег или знакомых, чего я, разумеется, не сделаю, поскольку подаренную книгу особенно ценю... Тем не менее примите мои извинения за такой казус. Книга мною получена. Спасибо! Книгу Павла Вяземского я купил. Поскольку Вы на грани безработицы, как я понимаю, Вам не до поиска книг. В.Н. Чуваков с огорчением сообщил мне о Вашей неудаче<sup>2</sup>. В течение 60 х годов я так часто бывал в положении безработного, что за 10 лет успел привыкнуть к капризам судьбы или случая. Но рано или поздно – всё образуется – так говорит опыт. И у Вас будет также. Надо перетерпеть. Может быть, пока печататься в газетах и журналах? Одесская газета «Знамя коммунизма» охотно печатает всякие материалы о культурной жизни начала XX века и о реабилитированных деятелях философии и литературы советского времени. Мне предлагали печататься, но я не люблю эти издания, да и времени нет совсем.

О брошюре я написал не в обиду Вам, а просто я не был уверен, что она нужна Вам, поскольку это только «методические указания», следовательно, для преподавателя, ведущего практические занятия. Правда, они не «составлены», а написаны и составляют раздел моей монографии, существующей пока в машинописном виде.

Алла Александровна написала мне, что очень занята, много ездит и выступает. Надо бы в Одессу пригласить её.



Я оглох от гриппа, шумит в голове, болят уши. Надо и это перетерпеть. Возможно, что всё это кармическое: и перестройка, и смерть Патриарха Пимена. Но всего ужаснее – это Чернобыль. Вы далеко и на отдалении этого ужаса как будто бы и нет, а мы чувствуем. Что же делается в самом эпицентре взрыва?!

Мужайтесь, дорогой Александр Петрович, трудитесь. А в ИМЛИ у Вас есть верный предстатель – В.Н. Чуваков, правда, он не начальник, но он за Вас горой стоит...

В Одессе было холодно, шли дожди, дули ветры, надеюсь, не напрасно. Вчера и сегодня – опять весна звенит крылом...<sup>2</sup>

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> В.Н. Чуваков писал С.П. Ильёву о моём несостоявшемся тогда зачислении в ИМЛИ – оно произойдёт позже – 3 декабря того же 1990 года.

<sup>2</sup> Реминисценция, похожая по стилистике на стихи Блока.

18.

*Одесса, 20 мая 1990 г.*

Дорогой Александр Петрович,

Спешу соответствовать на Ваше письмо от 11 мая сего года.

Прошу не расходовать Ваш скромный бюджет безработного на покупки книг для меня. Заклинаю Вас этого не делать! экземпляры Вагинова и П.П. Вяземского у меня уже есть!

Лечитесь по моему примеру? несмотря на адскую занятость, лишаящую меня сна и покоя, я бегаю в больницу, чтобы на год-другой протянуть это паскудное земное бытие уже не себя ради, а ближних и близких моих. И Вы так поступайте!

Может быть, действительно «всё образуется» в ИМЛИ и Вы будете там работать. Контра спэм спэро<sup>1</sup> – это древние римляне верно вымолвили. У Вас там и друг есть – В.Н. Чуваков. Правда, он не любит встречать не в своё дело, но Вас он любит и ценит, всячески о Ваших интересах заботится...

Может быть, что-нибудь в журнал «Русская литература» послать? Там выплачивают ли гонорарий авторам? Как-то я не задавался этим вопросом, хотя давно покушаюсь послать туда статью-другую... О гонорариях я не думаю не только потому, что живу в материальном отношении сносно, хотя, может быть, хуже многих и многих доцентов, а потому, что привык «делать науку» за свой счёт, так что память о плате напрочь отбили...

Я благодарен Вадиму Петровичу за память о моей просьбе напечатать в «Даугаве» стихи моей коллеги<sup>2</sup>. Разумеется, если он не имеет влияния в отделе поэзии, горю не пособить. Да я и не уверен, что стихи достойны опубликования. Известно: стихок пишнуть, пожалуй, всякий может...<sup>3</sup> Стихи – не поэзия...

Пишу Вам бегло по причине занятости: конец учебного года, хотя, кажется, на все положения Вашего письма я отозвался. Пишите! Успехов и удач!

<sup>1</sup> Contra spem spero (*лат.*) – Надеюсь вопреки надежде.

<sup>2</sup> О какой коллеге С.П. Ильёва идёт речь, установить не удалось.

<sup>3</sup> Цитата из стихотворения Сергей Есенин – стансы «Я о своем таланте много знаю».

19.

*Одесса, 11 июля 1990 года*

Дорогой Александр Петрович,

Простите моё долгое молчание. Причины и поводы тривиальны – конец учебного года, усталость, да ещё в разгар экзаменационной сессии я съездил на международную научную конференцию в Познань (доклад о «Докторе Живаго»).

Сейчас я в отпуске. В Одессе жарко и душно: размягчается мозг, слабеет воля, а дни убывают...

Теперь понятно мне молчание В.Н. Чувакова, хотя пишется-то он не ногой, а рукой...<sup>1</sup> Алле Александровне я не ответил. Может быть, увижусь с ней в середине августа в Москве, где с 10 по 16 состоится очередной МАПРЯЛ<sup>2</sup>. Авось, там мы с Вами и встретимся и поздравим Вадима Никитича с днём рождения (28 го августа).



А подписку на Собрание сочинений Леонида Андреева я не сумел оформить...

Жаль, что Ваши отношения с ИМЛИ зашли в тупик. Я не знаю тамошней обстановки. На мои письма оттуда не отвечают, но я не в обиде, поскольку это всеобщая современная привычка, выраженная героем К. Симонова, – «Увидеться – это здорово, а писем он не любил...»<sup>3</sup>

Поедете ли Вы осенью в Орёл?<sup>4</sup> Меня не пригласили, и я, естественно, не поеду. Саша Вагин намерен... Желаю Вам хорошего лета.

Ваш Ст. Ильёв

<sup>1</sup> В.Н. Чуваков в это время повредил себе ногу.

<sup>2</sup> МАПРЯЛ – Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы.

<sup>3</sup> Спичков – персонаж в романе «Живые и мёртвые» К. Симонова.

<sup>4</sup> В Орёл этой осенью я не ездил, но в следующем 1991 году участвовал там в Андреевской конференции, выступив с докладом на тему «Леонид Андреев и Н.Н. Еврешинов: к проблеме театральности в жизни».

20.

Одесса, 26 июля 1990

Дорогой Александр Петрович,

Недавно Вадим Никитич написал мне. О причине и поводе к молчанию он не обмолвился. Я думал: нога, но пишете вы рукой!..

В Книжном обозрении» объявлен том 1 Собрания сочинений Леонида Андреева. И в Одессе я не знаю счастливых, подписавшихся на это издание. Театр абсурда!

От Саши Вагина тоже было письмо. Настроение, по обыкновению, собачье, но он намекает на просвет в тучах. Дай-то, Боже, нашему теляти волка догнать!

Из Петрозаводска вестей нет. И надо думать, оттуда писать мне уже не будут. Вины за собою не знаю, а о добрых делах пусть помнят те, кто признаёт их. Dixi<sup>1</sup>.

Я буду в Москве 9-11 августа. По прибытии в столицу (октября 12 го) я позвоню Вадиму Никитичу и Алле Александровне. Место встреч – Главтелеграф (13.00 и 20.00). Писать туда же до востребования.

В Одессе жарко, душно, зачастили дожди, но после них парит, и всё сначала. Одурающая погода. Потеря времени, подрыв здоровья. И рад бежать, да некуда. Желаю Вам удачной поездки в Питер (или Ильичевск?)<sup>2</sup>.

Ваш Ст. Ильёв.

<sup>1</sup> Я всё сказал (*лат.*).

<sup>2</sup> Ироническое упоминание города в Одесской области.

Подготовка текста, предисловие,  
публикация и комментарии А.П. Руднева



# АЛЛА РАХМАНИНА

## ВСТРЕЧА

Завидовала. Всегда. Сколько себя помню. Всем, кто произносил это слово. Одно-единственное. Всем, кто вместе с другими словами произносил, если понадобится, и его. Называл кого-то этим словом, обращался с ним к кому-нибудь. На людей, которых словом этим называли, я смотрела с тайным, немым благоговением. И удивлялась, когда замечала в них какие-то чересчур обычные, чересчур живые качества. Не поняла, почему они с таким терпением стоят, например, в очередях за... эмалированными кастрюлями, например, громко хохочут над собственными – собственными ли? – не Бог ведь какими островами, надменно разговаривают с теми, кто ниже должностью или ростом...

На улицах, в метро, в лифтах я всё время оглядывалась, приглядывалась. Словно хотела узнать неповторимые черты, нет, хотя бы одну чёрточку человека, которого могла бы назвать этим словом. Я неутомимо искала. Важен был любой след. Самый незначительный. Постоянно перебирала в памяти всё, относящееся к нему. Когда обрывочные зыбкие сведения, воспоминания о чьих-то воспоминаниях заводили в тупик, принималась перебирать вещи, окружавшие меня, а значит, может быть некогда и его. У вещей, предметов тоже ведь есть память. Но того, что имело к нему прямое отношение, к чему прикасались его руки, давно не стало. А может, и вовсе не было? Так мне порой казалось уже, потому что почти не существовал в моей жизни он сам. Но как же мне его отчаянно не хватало, как постоянно недоставало его дружбы, его покровительства, его любви. Вновь и вновь – который десяток лет – я исследовала свой дом, всё, что имелось в моём доме, всё, что окружало меня с малых лет по сей день. Кладовка, антресоли, старинный катастрофически разошедшийся письменный стол с множеством набитых всякой всячиной ящиков. Несколько разномастных чемоданов, начиная с фибрового, без ручки, перевязанного закамешным ремешком... Ученические портфели, пухлые от моих зачем-то сохранённых, плотно слипшихся тетрадок по арифметике и русскому языку...

Чуть ли не по году на каждый ящик уходило, чуть ли не по два – на антресоль... Я искала. И – странно, невозможно поверить – нашла! Нашла! В вещах мамы, которой давно нет. В её старомодном ридикюле с тускло светящимися шариками бронзовой защёлки. В газовый, хранивший аромат духов «Красная Москва» шарфик были завернуты две исписанные твердым бисерным почерком открытки. Две. Всего-то! Поражало, что это были обыкновенные почтовые открытки. Точно такие же присылают из районной библиотеки, напоминая о не сданных в срок книгах. В таких же грозятся отключить телефон, если его своевременно не оплатить.

Твёрдый бисерный почерк. Я словно бы всегда знала его. Такой понятный, родной. Невероятно – он писал обо мне в этих открытках. Он писал мне! Ждал встречи со мной. Вот победим – и ... А шёл только декабрь сорок первого. И исполнилось мне тогда всего два месяца.

Обыкновенные открытки... Самым удивительным, завораживающим, гипнотизирующим было в них то самое слово, то единственное, сокровенное, которое я так долго искала. Посылая мне, двухмесячной, – а может быть и мне сегодняшней? – горячий фронтовой привет, он подписался новым ещё для себя непривычным званием «папа».

«Папа, папа... – повторяю я, вчитываясь в драгоценные бисерные строки, – папа... папа... папа!..».

И счастливые слёзы долгожданной, наконец-то состоявшейся встречи всё текут и текут из моих глаз.



## ВРЕМЯ

Старик никогда не опаздывал. Ровно в восемь ноль-ноль он открывал дверку крохотной, расположенной в самом центре города, часовой мастерской.

Из окна своего немного высотного дома я часто наблюдала за мастером. Он сутулился, особенно при взгляде сверху, а из рукавов своего выдавшего вида серого полотняного костюма как-то беспомощно висели руки с неизменной газетой в них. «Что означает, – гадала я, – эта неторопливая походка, весь его как бы додумывающий многолетнюю думу облик?». Видимо и домой он не торопился. Нередко останавливался у сквера, что чуть сбоку его мастерской, и подолгу сидел в тени, сторбившись, наблюдая за скандальным городским вороньём. Перекрикивая, точнее, перекаркивая друг дружку, чёрные птицы словно обращались к нему: «Ну что, старик, опять сидишь? Опять мучаешься? Да перестань, всё хорошо у тебя. Пенсия, полки с книгами, непывная работа, живи – не хочу!».

Иногда, чаще всего накануне праздников, старика навещали две женщины. Одна – молодая, а вторая тоже, как говорится, совсем ещё не старая. Старательно причёсанные, в шёлковых платьях разной расцветки, они подолгу что-то оживлённо рассказывали старику, не перебивая друг друга, соблюдая очерёдность. Их слегка старомодные, но хорошо сохранившиеся, в тон платьям, ридикюли то слегка покачивались на локтях в ритм разговора, то нервно сами собой раскрывались или внезапно, опять же чуть ли не сами собой защёлкивались.

Я вообразила, что когда-то они были женой и дочерью старика, но с той поры прошла, должно быть, вечность, и они до сих пор предпочитают не вспоминать о далёких, словно в немом кино, годах. Уходили они от часовщика молча и как бы отдельно друг от друга. Гуськом. Впереди – молодая, не такая уж, впрочем, и молодая, позади – старая. Именно так. Старая. Словно подействовало на них сконцентрированное в будке мастера время.

А он после их ухода брал из резной китайской коробки на металлических ножках самые безнадежные в смысле ремонта часы, клал их на свою большую испещрённую морщинами ладонь и, отстранив от себя, долго-долго рассматривал сквозь вставленный в глаз крохотный телескоп, словно редкостную малоизученную звезду. Настолько долго, что... уж не ремонтировал он их взглядом? Но нет, думал он вовсе не о них и не в них всматривался.

Однажды я встретила его на улице.

– Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? – удивлённо приподняв брови, он всмотрелся, ничего уже не узнавая, а затем морщинистое лицо его залучилось понимающей улыбкой:

– Аа... Что, идут часики, тикают? То-то! – и побрёл дальше.

## ЗА ХЛЕБОМ

Даже если выхожу из дома только для того, чтобы посетить булочную, и то специально к этому готовлюсь – стараюсь стать почти красивой, почти уверенной в этом. Между тем времени на булочную очень мало – минут десять, поэтому из подъезда вылетаю, без преувеличения, на всех парах. И тут же озадаченно останавливаюсь. Розовощёкий мальчуган лет пяти, экипированный по последнему, что называется, слову науки и техники, занёс над головой обломок кирпича. В кого он целится? В котёнка...

– Постой, малыш! – вскрикиваю я – Постой!

Затем провожу с ним некоторую воспитательную работу. Объясняю, зываю... Не исключено, что чуть нудновато. Котёнка на всякий случай уношу.

Сосед с первого этажа – навстречу. Дверь его квартиры, пожалуй, единственная в нашем подъезде обита. А из окна – с пыльными свинцовыми стеклами – постоянно слышатся визгливые женские причитания и нарекания. Без пауз между словами. Редко-редко и голос хозяина возникает. Но какой же он убитый, робко оправдывающийся!

Опустив глаза, сосед хочет пройти мимо, словно не заметив меня. Знает, что я знаю... Э, нет!

– Здравствуйте, – говорю ему с поклоном, – здравствуйте! – зываю его по имени и отчеству. (Специально узнала отчество). Приветливо улыбаюсь. – Денёк-то – говорю, – денёк-то!..

И он – да, да! – кажется, чуть выпрямился, приободрился чуть. Кивнул даже. Мол, денёк, действительно...

Очень довольная этим, спешу дальше. Не без вежливого, хотя и холодноватого кивка продефилировала мимо круглогодично озабоченной молодой четы. Подобно двум трудолюбивым муравьям – нет, всё же не



муравьям, а точнее, скарабьям – круглогодично снуют они от подъезда к багажнику своего «жигулёнка». Из багажника в подъезд – полную чего-то плетёную корзинку тащат, из подъезда к багажнику – даже с виду тяжёлый ящик, затем всё повторяется сначала, но наоборот.

Ещё один сосед навстречу. Медлительный светлоглазый крепыш. Живёт он этажом выше, прямо надо головой. На голове, можно сказать, живёт. И всё что-то приколачивает там у себя, стучит, стучит... Уж его-то дверь не только натуральной кожей обита, но и бронзой, никелем инкрустирована. Триумфальная арка, а не дверь. И с двумя глазками к тому же, один над другим. По количеству и росту проживающих. Супруга его и вправду невелика, девочку с пожилым лицом напоминает. Ходит чуть боком, вдоль стены, и в глазах какая-то постоянная мучительная дума. Она как бы отсутствует, как бы чём-то до самозабвения поглощена. Может быть, планом бегства? Так и тянет помочь ей, поддержать. А чем помочь? Чем поддержать? Тройку горячих лошадей к подъезду пригнать тёмной ночью?

...Поглядела на часы – время торопит. Поэтому выбираю дорогу покороче. Сначала – по проспекту, нафаршированному пролетающей мимо бедра гуающей автосталью. Потом – через рынок, где можно чуть отдышаться после проспекта, а заодно налюбоваться пирамидами разноплеменных овощей и фруктов, цветов, ягод, всяческих разносолов.

Правда, и здесь так или иначе приходится прерывать своё целеустремленное движение к булочной. Ну, для того, во-первых, чтобы помочь обескураженной рыночными ценами старушке отвоевать не поддающуюся её плоскому кошельку пару наливных яблок, во-вторых... Да хоть эту вот плечистую, с алмазами в ушах пристыдить. Чересчур агрессивный торг затеяла ради пучка укропа. В-третьих, в-четвёртых, в-пятых...

Уф-ф! Вхожу наконец в булочную. В этот ранний утренний час за хлебом собралась не только я. Человек десять, нагрузив авоськи, кто золотистым половинцем батона, кто африканским чёрным кирпичиком «бородинского», выстроились в короткую очередь к волоокой кассирше. А одиннадцатый... Ну, конечно, без очереди норовит. Э, нет, гражданин хороший, очередь у нас не какая-нибудь – хлебная. И хоть вдоволь вроде его сейчас, хлеба, но память о военных и послевоенных хлебных хвостах ещё горька, мучительна ещё. А ну, в общий ряд, гражданин!

Кассирша... Думаете, легко это – прямо посмотреть в её невозмутимые лиловые очи и сказать:

– Как же это вы смеете отщипывать по копейке с каждого гривенника, по пятаку с рубля? Что-что?!

Сами к деньгам пальцы прилипают? А вы их вымойте, пальчики свои!

...И это не всё. Впереди ведь встреча с только что проснувшимся мужем.

– Ты выходила? – тянется он за своей первой самой вредной сигаретой. – Надолго?

– Минуточек на десять, – отнимаю я у него сигарету. – В булочную.

– И такую на себя красотищу навела?

Ответить ему следует спокойно, невозмутимо, даже вызывающе:

– А это всё для того, милый, чтобы явиться перед тобой чуть свет с лёгким сердцем и вот с этим, тёплым ещё хлебом. Впрочем, до вечера, опаздываю.

И я мчусь на работу.

## ОЖИДАНИЕ

На конечной автобусной остановке, что между станцией и церковью, свернувшись клубком, лежала чёрная, рыжими подпалинами собака.

Колючий ледяной ветер яростно трепал её свалывшуюся шерсть. Пытаясь как-то скоротать время до следующего автобуса, к собаке подходили люди, заговаривали с ней.

– Ну что, мёрзнешь?

Кто-то обходил её опасливо. Показывая на неё, ища сочувствия у прохожих, мужчина в чепчике кричал:

– Развели, понимаешь, зверьё всякое в дачном поселке! Шефу моему недавно вот такая же, бродячая, всю заднюю часть туши покусала! Он из-за этого на совещаниях сидеть не может, стоит!

Ещё кто-то, пройдя мимо, но остановившись, отвернувшись, порылся в сумке:

– На, поешь!

Даже не глядя на сосиску, которую хмурый гуманист придвигал к ней ногой, собака поднялась, удалилась на несколько шагов в сторону. И гуманист подсадовал, жалея уже о своём поступке. В наше-то время, когда ничего нет в магазинах, и когда это ничего так дорого стоит, чёрт его дёрнул продуктами разбрасываться. Не подбирать же с грязного снега да опять в сумку... Оглядывался по сторонам, нет ли другой, более голодной шавки поблизости, чтобы её ошастливать. Нет... Ну, ладно. Ушёл, тяжело, мрач-

но вздыхая. Эй, не переживай, брат-гуманист, не в сосиске счастье, главное – сумел оторвать её от себя, протянул, бросил... Жива, значит, ещё душа в тебе, во всех нас... Не сомневайся, собака это оценила, поняла. Просто не до еды ей, кусок в горло не идёт, не видишь, что ли?

Появился автобус. Собака, вся подавшись вперед, напряжённо всматривалась в тех, кто выходил, и когда остановка опустела, возвратилась на прежнее место.

Ещё один автобус подошёл, ещё один, ещё... Сцена повторялась.

Может быть, человек, которого собака ждала, придет в следующей машине?

Может быть, в следующий раз ей, наконец-то повезёт? Дай Бог! Дай Бог!

## САМ

А здесь, за этим вот забором, живёт Сам. Ну, знаете, тот, что оскомину всем набил, притча во языцах. Но если объективно, человек он и вправду необыкновенный. Давно, ещё в ранней юности решил стать знаменитым на весь мир, врезаться в сознание народа. И сумел, врезался. Поэт-верлибрист, фотохудожник; кинолог, собачник то есть; постоянный чей-то возлюбленный... Уже и о последнем часе своём скором написал он, и о непосильном бремени затянувшейся старости поведал. И всё-таки, как прежде меняются за высоким забором дамы-хозяйки и появляются один за другим неземной красоты дети. А ещё за этим забором постоянно разгуливают собаки самых диковинных заморских пород. Бульдоги, борзые, китайские болонки, лайки... Правда, одна в своре для контраста, по всей видимости, обязательно местная дворянка. И конечно, множество машин. За забором и перед ним, у ворот. Как и собаки, они в основном зарубежного происхождения. И только одна попроще – отечественная. Иногда ведь для пользы дела не стоит выделяться, следует быть как все, сереньким, скромным, передвигающимся на самой обыкновенной кургузой «Ниве».

Длинный тут забор, долго мимо него шлёпать. Сколько уж раз давала себе слово проходить мимо с каменным бесстрастным лицом. Налево глазами не косить. Что я, «Вольво» не видела? Куда там! Какая уж тут строгость, если в каждой заборной щели виднеются грустные собачьи морды и льняные головёнки курносых синеглазых малышей! На всю сосновую окранию разносится отсюда мелодичный интеллигентный лай и дикая русско-американская тарабарщина. Странно, почему эти дети всё ещё такие крохотные, двух-трёх лет отроду? Ах, да, в прошлый раз это были малыши, так сказать, предыдущие. А эти новенькие. Их нынешняя мама – жена мэтра, голубоглазая викингша, метра под два ростом. Я помню и двух предыдущих его жен. Одна почти девочка, кукла, из хорошей, что называется, профессорской семьи. Дед, бабушка, папа, мама и трое домашних учителей – все известные учёные. Где оно сейчас, их общее дитя, кукла та? Морщинистая, блаженно хмельная, спит под забором. Под другим, не под этим... А вторая, предпоследняя? Вывезенная с одной провинциальной областной телестудии, стала напоминать ёлочку, торчащую среди одинаковых песчаных барханов. М-да-а... Но жёны это не так уж и важно для Самого. Главное – многочисленные любовные связи, приключения, которые существовали в промежутках и параллельно. Не жёны, а как бы наложницы. Разных мастей, профессий, непонятного происхождения... Они были для него словно бутерброды, на бегу, мимоходом схваченные с чужого стола. Иногда на полчаса, порой на неделю. А бывали такие, что и на месяц задерживались. Он любил всех! Такие слова им говорил! Ух! Многие из них охотно потом обо всём этом рассказывали. Даже писали. О его квартире на набережной, об этой даче, о поездках с ним в Грецию, Испанию... О пятизвёздочных отелях высоко в горах или на берегу моря; о звёздах, которые можно было потрогать руками, о столах, заваливающихся от всевозможных яств, о тысяча второй, тысяча третьей, тысяча не весть которой сказочных ночах; и о стихах, о стихах его... Проходила неделя, три недели... И он уставал от этих бутербродов, лицо становилось жёстким, чёлка на лбу, как у Гитлера... Он, кстати, очень на Адольфа смахивает, не замечали? Пробежит мимо и только запах, смесь дезодора подмышечного и мяты, чтоб изо рта не пахло. Он ведь перед каждым поцелуем, по рассказам бутербродов, рот свой ароматизирует. Пшик! Пшик!

М-да-а, такие вот легенды о нём, мифы. Не хочешь, а услышишь; не хочешь, а запомнишь; не хочешь, а запишешь... Только не подумайте, что монстр он, наша знаменитость. Что синяя он, пресиняя он, борода. Вовсе нет. Просто... Ну, уродился такой. Востроглазым уродился. Порой кажется, что и на спине глаза у него есть, так много хочет. Так ненасытен, так жаден. Выследит жертву – безразлично какой масти – налетит, налетит и вонзит свои хотя и железные, но непременно маникюренные когти. А в результате – книга. На худой конец, цикл верлибровый. Ну, а на самый худой – фотовыставка. Слово «любимая», на которое он столько женщин нанизал, перетекает у него из одной книги в другую, словно



это и не слово уже, а термин. И уже не слышишь его, как не слышишь порой тиканья часов.

Интересно, где он сейчас? Небось в Венеции, Ницце... там отели, бархатные пляжи. Нон проблем. Хотя... Что это? Не может быть! Балконная дверь над крыльцом отворяется вдруг. Выходит... боже! Сам! Не в Венеции, не в Ницце... На родине многострадальной. Забыла, что сейчас это – крик моды. Ещё моднее, чем годовая командировка в Нью-Йорк. Быть вместе со своим народом! В митингах поучаствовать, в очередях постоять... Нет, он, разумеется, уедет – с миссией какой-либо, представлять где-либо нас с вами, но не сейчас, позже. Сейчас там жарко... Ох, скорее, скорей! Мимо! Снова сделать твёрдое, как бульжник, непроницаемое лицо, отвести взгляд. Не успела. Сподобилась. Краешком глаза уловила-таки, что рукой он мне махнул. Узнал! И что-то произвольное, загадочное происходит со мной – сама собой повернулась голова, ослепительной, по всей видимости, улыбкой осветилось моё лицо. Приветливо машу в ответ. Нет, не я, сама рука вскинулась, машет. С удивлением, нет, с ужасом ощущая, как обогрета, как очастливлена, иду дальше, вдоль длинного, бесконечно длинного забора.

## ПОСЛЕДНИЙ

Он читал где-то, что очереди унижают... Но, по правде говоря, сам он так не думал. Хоть и был склонен им верить, газетам этим. Особенно нынешним. Нет, он против очередей не возражал. Очереди его спасали. Исцеляли его, можно сказать. Не то, чтобы он стоял в них сутками, как некоторые. От конца очереди, скрывающегося аж за углом пристанционного магазина, и до вождельного прилавка. Нет, нет! Он просто не прочь был потолкаться в них, словечком с впереди стоящим перекинуться. А вернее, не то, чтобы перекинуться, а самому словечко обронить. И не просто словечко. Особое какое-нибудь.

– М-да, – заявлял он задумчиво, – материализация идеалов у нас произошла. Ничего не поделаешь!

Оторопело оглянувшись и увидев его, так сказать, во всей красе: махонького, морщинистого, в большущих войлочных ботах, впереди стоящие, сделав соответствующее умозаключение, с усмешкой отворачивались. Игра, однако, была уже начата. Капкан щёлкнул. Не хочешь, аотреагируешь. Усмешкой немногие отделялись. Кто крикнет, а кто и губами пошевелит.

– Вы что же, не согласны со мной? – лукаво принимался он допытываться, глядя в нажившийся затылок. – Попытайтесь тогда меня оспорить! А?

Он предпочитал впереди стоящих, они вызывали в нём больше азарта. Стоящий сзади – он что, он ведь ниже на ступеньку социальной лестницы стоит, если разобраться. Сам в затылок кому-то дышит. Не зря ведь и называется последним. Хоть и пытается аттестовать себя крайним.

– Вы последний?

– Я крайний, а не последний! – мерили его взглядом сверху вниз. Сам-то он последним быть несколько не стеснялся.

– Вы крайний?

– Да, я последний! – кивал он с готовностью, глядя снизу вверх.

...В прежние времена, когда он ещё числился, как некогда говорили, по соответствующему надстроечному департаменту, ныне находящемуся в состоянии распада, обладатели этих затылков занимали его куда больше. Особенно всегда аккуратно подстриженные затылки бравых офицеров, мечтающих приобрести то импортные женские сапоги, то пару-тройку килограммов марокканских апельсинов.

Ну, нет сапог у жены – и не надо, – думал он с укоризной, недостаточно, что ли своих собственных хромачей? А из-за заморских фиг стоит ли по очередям шастать? Военный – отечественным сухофруктом должен быть сыт!

Но всё изменилось, в том числе, и его социальный статус, а вместе с этим и отношение к очередям. Всё, всё, всё неузнаваемо изменилось. Не на что жить? Это – не главное. Нечем – вот ведь в чём фоку! И выручают очереди. Очереди...

Еле-еле дождавшись рассвета, он, шаркая тяжёлыми, загнутыми вверх ботами, шагает к газетному киоску. Бежит туда, обгоняя редких прохожих, делая вид, что он такой же, как они, точно так же, как все, он спешит. Куда? Ясно – по делу! В контору ли, в цех, в совместное предприятие, в новое издательство «Интерспис» – не всё ли равно? То и дело поднося к глазам запястье, будто посматривая на часы, которых давно нет, качает головой: эх мол, вот незадача, опаздываю!

Ну вот и киоск. Рабочий день начался.

– Кто последний? – деловито спрашивается он, и тут же сам последним становится.

Продавщица в киоске – степенная, вежливая. Товар раскидывает на всех, чтоб каждому хватило.

Не достаётся ни номера только последнему. Потому, что он всем свою очередь уступает. Одаряет, вернее, его. Ему это нравится, благодетелем себя чувствует, не меньше. Да и он считается в этой веренище поселковых газетолюбив своим. Его тут узнают. Да и он всех знает тут.

– Читали о событиях в штате Техас? Что-то экстраординарное! А читали о... Ну, о Доме наших бывших членов? Нечто трансцендентальное!

...Проходит полчаса, пресса раскуплена, и вот уже бредёт он вдоль выбеленных снегом заборов полутёмными улицами дальше, дальше, дальше. Впереди бесконечно долгий, длинный, как нескончаемая очередь, загородный день. Надо его как-то прожить, не скуксить, не затосковать.

– Ничего, ничего, – думает он, бодрясь, – ещё не вечер, на мой век очередей хватит. Надо ещё в кооперативный бар заглянуть. Публика там ершистая, озорная...

Так он и делает. Юркнув в приоткрытую дверь, усевшись за крайний столик, греется и доставляет себе удовольствие душевспасительной беседой с двумя завсегдаями, мудрыми подростками.

– Эх, Володя, Володя... Тебя ведь Володей зовут, да? А тебя? Игорёк? Такие молодые, а сигареты смолите одну за другой... Нехорошо это, неадекватно!

Смущённые то ль непонятым словом, лохматые абorigены дружно швыряют окурки на пол и растирают их подошвами.

Вскоре его просят очистить помещение... – Ухожу, ухожу. Мерси! – Куда? Снова на станцию, в коммерческий магазин, чтобы пощупать там озябшими пальцами астрономической цены пуховик; затем в следующий – полуваютный. И тут для его «хобби» раздолье. Вот кто-то японское кимоно приобретает, вот за пиво баночное кто-то целый доллар отстегнул...

– Материализация идеалов у нас произошла, – бросает он в чей-то кучерявый затылок. Да, это его коронная фраза. На завсегдагав очередей она действует как красная тряпка тореадора на племенного быка.

– Сам спекулянт! – оглянувшись, гневно вскрикивает обладательница зелёных с едва заметным носом над огромной золотозубой пастью. – Я для всей семьи беру! Понял, хмырь!

– А это вы зря, – отвечает он с улыбкой, – грубость лишь подтверждает точность высказанной сентенции...

– Сен... Чего-о-о?

Пролетела ещё парочка часов. Усталый, голодный, измотавшийся, неторопливо бредёт он домой, в деревянную двухэтажку. Ну, ту, знаете, что рядом с Домом бывших членов... Вспоминает что-то, бормочет, жестикулирует... И тут клонящийся к закату день преподносит ему ещё один подарок. Очередь! Хвост её торчит из распаханной калитки, за которой находится ещё один магазин, многожанровый, так сказать. Всё здесь имеется. От и до... Выбрасывают, бывает. Подвигается очередь нескоро, подвигается, семена доброй сотней разнокалиберных ног. Но за чем она, очередь? Куда ведёт? За чем-то жизненно важным, очевидно, поскольку оно аккуратно обернуто в серебряную фольгу. Или за чем-то наоборот, за лёгкой смертью, быть может, в добротной целлофановой упаковке? Не всё ли равно? Главное – очередь. Радостно к ней бросившись, пристроившись в самом её конце, он снова становится последним. И счастлив. По-своему, конечно.



# ЕКАТЕРИНА АВГУСТА МАРКОВА

---

## Я ВСТРЕТИЛ ВАС

эссе

Скромное отношение Фёдора Ивановича Тютчева к собственной поэзии сказывается и на судьбе его стихов. Афанасий Фет так пишет в своих воспоминаниях: «Я убедился в необыкновенной его скромности, по которой он тщательно избегал не только разговоров, но даже намёков на его стихотворную деятельность...».

Молва приписывает то Пушкину, то Лермонтову, то Некрасову... знаменитые стихи «Я встретил Вас...», «Она сидела на полу», «Люблю грозу в начале мая», «Молчи, скрывайся и таи», «Ещё в полях белеет снег»...

Тютчев всего на три года моложе Пушкина, но числа его литературоведы уже в следующем поколении поэтов. Торжественная архаика его стиля как бы отпугивает читателя, а вот романсы – стихи, услышанные композиторами (при жизни Тютчева – это только Чайковский), стали близки и понятны всем.

Первую книгу Фёдор Иванович издал в 50 лет, стихов осталось после него чуть больше двухсот, но как сказал в экспромте Фет, –

*Вот эта книжка небольшая  
Толмов премногих тяжелей.*

Судьба так сложилась, что Фёдор Иванович Тютчев большую часть жизни прожил за границей, в Германии... Родственник его, Остерман-Толстой устроил его после Университета сверхштатным чиновником русской миссии в Мюнхене.

В «Биографии Фёдора Ивановича Тютчева» И.С. Аксаков пишет: «В 1822 году переезд из России за границу значил не то, что теперь. Это просто был временный разрыв с отечеством. Железных дорог и электрических телеграфов тогда ещё и в помине не было, почтовые сообщения совершались медленно; русские путешественники были редки. Отвергнутый от России в самой ранней, нежной молодости, когда ему было с небольшим 18 лет, закинутый в дальний Мюнхен, предоставленный сам себе, Тютчев один, без руководителя, переживает на чужбине весь процесс внутреннего развития, от юности до зрелого мужества, и возвращается в Россию на водворение, когда ему пошёл уже пятый десяток лет. Двадцать два года лучшей поры жизни проведены Тютчевым за границей...».

Он много переводил – Шекспира, Байрона, Гёте, Гейне... С Генрихом Гейне он подружился. Писал собственные стихи. Но... на родине они не находили ни одного отклика и после публикаций в «Галатее» – у бывшего наставника Семёна Раича, в «Телескопе». Даже стихи, отобранные для «Современника» Пушкиным не были замечены, – не только знаменитое в последствии «Как океан объёмлет шар земной...», но даже звучащее теперь, как собственный выдох, для каждого читателя «Люблю грозу в начале мая...».

Понятно, почему Тютчев стал избегать разговоров о поэзии и раздражался при упоминании о литераторах. Смеялся, что хуже русских литераторов только купцы.

Смолоду, как пишет Аксаков, Тютчев был «жарким поклонником женской красоты».

Низкорослый, некрасивый, он был общителен и обаятелен, в нём горела страстность ко всему – к политике, к истории. Влюблённость его была особой, влюбляясь, он тут же чувствовал жалость к совершенству в несовершенном мире, он страстно пытался хотя бы стихами сокрыть возлюбленную от зла мира:

*Твой милый взор, невинной страсти полный,  
Златой рассвет небесных чувств твоих  
Не мог – увь! – умилиставить их –  
Он служит им укорю безмолвной.*

*Сии сердца, в которых правды нет,  
Они, о друг, безут, как приговора,  
Твоей любви младенческого взора,  
Он страшен им, как память детских лет.*

*Но для меня сей взор благоденье,  
Как жизни ключ, в душевной глубине  
Твой взор живет и будет жить во мне:  
Он нужен ей, как небо и дыханье...*

«Жизни ключ» – вот, что Любовь – по Тютчеву.

По приезде в Мюнхен Тютчев влюбился в четырнадцатилетнюю Амалию, внебрачную дочь аристократа Лерхенфельда. Значительно позже, лет через десять, он посвятил ей стихи:

*Я помню время золотое,  
Я помню сердцу милый край.  
День вечерел, мы были двое;  
Внизу, в тени, шумел Дунай.*

*И на холму, там, где белел,  
Руина замка в дал глядит,  
Стояла ты, младая фея,  
На мишустый оперишь гранит.*

В 1825 году Тютчев, наконец, поехал в Россию навестить родных. За это время Амалия удачно вышла замуж за барона Крюденера.

Вернувшись в Мюнхен поэт сошёлся, видимо, в отчаянье, с вдовой Элеонорой Ботмер, у которой было к тому времени трое маленьких сыновей... Говорят, что бывают женщины-матери, женщины-любовницы, женщины-жёны. По этой градации Элеонора была только женой. Её любовь к Теодору (Тютчеву) была так сильна, что воспитание мальчиков она перепоручила родственникам их отца, да и трёх девочек Тютчева она не могла так сильно любить, как мужа.

«...эта слабая женщина обладает силой духа, соизмеримой разве только с нежностью, заключённой в её сердце... Я хочу, что бы вы, любящие меня, знали, что никогда, ни один человек не любил другого так, как она меня... не было ни одного дня в её жизни, когда ради моего благополучия она не согласилась бы, не колеблясь ни мгновенья, умереть за меня. Это способность очень редкая и очень возвышенная, когда это не фразы» (*Из письма Тютчева к родителям об Элеоноре*).

Тютчев был увлечён и сестрой Элеоноры – Клотильдой:

*Обеих вас я видел вместе –  
И всю тебя узнал я в ней...  
Та ж взоров тихость, нежность гласа,  
Та ж прелесть утреннего часа,  
Что веяла с главы твоей!*

В Клотильду многие влюблялись, даже Генрих Гейне. Двенадцать лет она жила в доме Тютчевых, до тех пор, когда уже после смерти Элеоноры, Тютчев не женился во второй раз. Клотильде посвящены самые знаменитые стихи Тютчева:





*Я встретил Вас – и всё былое  
В отжившем сердце ожило,  
Я вспомнил время, время золотое –  
И сердцу стало так тепло...*

«Пожар на море» – есть такой очерк у И.С. Тургенева. Дочерям Тютчева было тогда – 9, 4 и 2 года. Вместе с матерью они сели на злосчастный пароход, отправляющийся из Кронштадта в Любек. На этом же пароходе были молодой Тургенев и Вяземский. В ночь с 18 на 19 мая 1838 года на пароходе вспыхнул пожар. Капитан направил пылающий пароход на мель, чем спас большинство пассажиров (погибло 5 человек). Корабль сгорел полностью. Элеонора писала сестре Тютчева Дарье: «...все потеряли всё – бумаги, деньги, вещи... никогда вы не сможете представить себе эту ночь, полную ужаса и борьбы со смертью!». Она с детьми в конце концов добралась к Тютчеву. Но все страдания так подорвали её здоровье, что 27 августа 1838 года – ей было 39 лет – она скончалась на руках Фёдора Ивановича. Тютчев поседел от горя в одну ночь... Судьба им отпустила 12 лет. «Что обыкновеннее этой судьбы и что ужаснее?» – писал он Жуковскому.

*Как ни гнетёт рука судьбины,  
Как ни томит людей обман,  
Как ни браздят чело морщины  
И сердце как ни полно ран,  
Каким бы строгим испытаньям  
Вы ни были подчинены, –  
Что устоит перед дыханьем  
И первой встречею весны!*

Стихи 1838 года. Весна снова пришла в его жизнь. «Сегодняшнее число... печальное для меня число. Это был самый ужасный день в моей жизни, и не будь тебя, он был бы, вероятно, и последним моим днём. Да хранит тебя Бог». В декабре 1838 года в Генуе состоялась тайная помолвка Тютчева с Эрнестиной Пфедфель.

Кто-то не поймёт и – не понимал такого скоропалительного романа, но для Тютчева эта новая любовь была жизненно необходима.

«Есть вещи, о которых невозможно говорить, – эти воспоминания кровоточат и никогда не рубцуются...». Но вину свою он ощущал:

*Не верь, не верь поэту, дева,  
Его своим ты не зови –  
И пуще пламенного гнева  
Страшись поэтовой любви!*

*Его ты сердца не усвоишь  
Своей младенческой душой;  
Огня палящего не скроешь  
Под лёгкой девственной фатой.*

*Поэт всемогущ, как стихия,  
Не властен лишь в себе самом;  
Невольно кудри молодые  
Он обожжёт своим венцом.*

...

*Твоей святости не нарушит  
Поэта чистая рука,  
Но ненароком жизнь задушит  
Иль унесет за облака.*

Любовь к Эрнестине возникла ещё 1833 году... на зимнем карнавале в Мюнхене. Мужу Эрнестины стало вдруг худо (впоследствии – это оказался тиф). Он заметил, что его жена оживлённо разговаривает с каким-то некрасивым человеком, и, уезжая домой, бросил ему фразу: «Поручаю Вам свою жену». Когда Эрнестина вернулась домой, муж умерал...

*Сквозь ресницы шелковые  
Проступили две слезы...  
Пль то капли дождевые  
Зачинающей грозы?*

1840 году родилась у них дочь Мария...

Эрнестина Федоровна пережила мужа на 21 год... Сохранилась большая переписка, в которой Тютчев называет её кисонькой... ей посвящены стихи о любви... Но всё не так просто.. И Эрнестине довелось испытать те страдания, которые она доставляла когда-то Элеоноре, влюбившись в Тютчева. В те времена она множество раз пыталась порвать отношения с поэтом, но не смогла... «Люблю глаза твои, мой друг», «Вчера, в мечтах обворожённых...», «Она сидела на полу» и даже предсмертное:

*Всё отнял у меня казнящий Бог:  
Здоровье, силу воли, воздух, сон,  
Одну тебя при мне оставил Он,  
Чтоб я ему ещё молиться мог.*

– все это – Эрнестине...

Осенью 1844 года Тютчев с Эрнестиной и младшими детьми навсегда возвращается в Россию. Начинается качественно новый этап в жизни и поэзии Тютчева...

Он трудно привыкал к России после стольких лет в Европе, но тут-то и открывается новое мироощущение поэта. Исследователь творчества Ф.И. Тютчева В. Кожин тонко подмечает: «Тютчевская поэзия 30-х годов вся была, если угодно, празднична – празднична и в её самых драматических, даже трагедийных проявлениях...

*Счастлив, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.*

В стихотворении 1850 года «всё проникновенно преображено: теперь как раз олимпийцы становятся зрителями, а человек, никем не призванный и не допущенный, сам по себе... пьёт роковую, жестокую, но свою чашу...».

Кожин утверждает, что «есть два Тютчева... первый из них – поэт цветущей молодости, который чувствует себя призванным на пир богов и верит в своё бессмертие». Второй – открывает для себя «тайный свет» вместе с «открытием» родины...

И в ответ на восторженное письмо дочери Дарьи, пишущей из Швейцарии, Фёдор Иванович пишет: «Всё это великолепно... кажется мне слишком ярким, слишком кричащим, и пейзажи, которые были у меня перед глазами, пусть скромные и непритязательные, были мне более по душе».

До возвращения в Россию Тютчев как поэт молчал почти 10 лет. И вот – новые стихи (и какие!) «Тихой ночью, поздним летом», «Обвеян вещею дремотой», «Первый лист», «Не остывшая от зною», «Как весел грохот летних бурь», «Чародейкою зимою», «Лето 1854...». «Есть в осени первоначальной» и т.д. и т.д...

Когда Ф.И. Тютчев вернулся на родину, он удивлялся странному ощущению, которое он передаёт в письме к Вяземскому – «...отсутствие России в России...». За границей она легче ощущается... Тютчев неоднократно повторяет образ «края безлюдного».

Это после праздничного европейского «многолюдья»... Именно в этом ощущении поэта рождается его последняя любовь, его лучшие стихи.

Если смотреть на портреты трёх главных женщин в жизни Тютчева, то возникает ощущение, что Денисьева, Елена Денисьева – самой скромной внешности из них... «Денисьевский цикл» не оставля-



ет сомнения в том, что в душе поэта образ последней возлюбленной накладывается на образ России, «Не поймёт и не заметит / Гордый взор иноплемennyй, / что сквозит и тайно светит / в нагоме твоей смиренной...» – о России. «По ней, по ней, судьбы не одолевшей, / Но и себя не давшей победить...» – на смерть Денисьевой.

Летом 1850 года Тютчев отправил семью в Овстуг, в своё родовое имение... В июле у него случился главный роман его жизни с Еленой Денисьевой. Ей – 25. Ему – 47... Они не могли расставаться в своих страстных свиданиях. Вокруг всё рушилось – тётку Елены уволили из Смольного, где она была классной дамой. Поклонники и подруги отвернулись...

В мае 1851 года родилась их дочь Елена...

«В то время ему было уже под пятьдесят лет, но, тем не менее, он сохранил ещё такую свежесть сердца и цельность чувств, такую способность к безрассудочной, не помнящей себя и слепой ко всему окружающему любви, что читая его дышащие страстью письма и стихотворения, положительно отказываешься верить, что они вышли из-под пера не впервые полюбившего 25-летнего юноши, а пятидесятилетнего старца, сердце которого, должно бы, казалось, давным-давно устало от бесчисленного множества увлечений, через которое оно прошло...». Так рассказывал об этой любви сын Денисьевой и Тютчева Фёдор уже в 1903 году. Именно послеродовой абсцесс, когда Елена рожала сына Фёдора, и свёл её в могилу 4 августа 1864 года... Дочь Анна Тютчева – Аксакова писала, что «он был в состоянии близком к помешательству... Он всеми силами души был прикован к той земной страсти, предмета которой не стало... Я не могла больше верить, что Бог придёт на помощь его душе, жизнь которого была растрачена в земной и незаконной страсти». Так жестоко по отношению к отцу писала дочь. Кто знает? Думается, Господь простил Фёдора Ивановича за его страдания и неземные стихи.

*О, как на склоне наших лет  
Нежней мы любим и суеверней...  
Сияй, сияй, прощальный свет  
Любви последней, зари вечерней!*

*Полнеба обхватила тень,  
Лишь там, на западе бродит сиянье, –  
Помедли, помедли, вечерний день,  
Продлись, продлись, очарованье...*

# АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

## ДВА НЕКРАСОВЕДА – К.И. ЧУКОВСКИЙ И В.Е. ЕВГЕНЬЕВ-МАКСИМОВ

История знакомства и длительных контактов Чуковского-некрасоведа и столь же известного исследователя биографии и творчества Н.А. Некрасова Владислава Евгеньевича Евгеньева-Максимова, его сверстника (1883-1955), отличается большим количеством всякого рода слухов, домыслов, легенд и не вполне верных поэтому выводов. Принято считать, что оба эти, можно сказать, столпа отечественного некрасоведения, делая одно и то же дело, участвуя в одних и тех же изданиях Некрасова, особенно, в первые послереволюционные годы, стойко друг друга не любили, относились, друг к другу на протяжении длительного времени с неизменной враждой и неприязнью.

Однако материалы, которые я представляю, во многом опровергают это давно сложившееся и ставшее даже расхожим мнение. И в первую очередь опровергают это мемуары В.Е. Евгеньева-Максимова под заглавием «Из прошлого: Записки некрасоведа (1902-1921)», написанные ещё в 1940 году, но опубликованные и лишь частично в «Некрасовских сборниках», которые и по сей день издаются Пушкинским Домом (ИРЛИ), в 1980-83 годах. В них содержатся вполне объективные и адекватные оценки некрасоведческой деятельности К.И. Чуковского, начавшейся, как известно, в 1910-х годах. Евгеньев-Максимов начинал несколько раньше, ещё в 1902 году.

К.И. Чуковский в 1950-х годах так вспоминал о своем коллеге-некрасоведе: «Особенно страстно взялся за раскопки некрасовских рукописей молодой петербургский учитель (ныне маститый ленинградский профессор Владислав Евгеньевич Евгеньев-Максимов) Неутомимо отыскивал он всевозможные документы и рукописи, имеющие какое-то ни было отношение к Некрасову: и цензурные отзывы о том или другом стихотворении поэта, черновики его рукописей, его деловые бумаги, его письма к друзьям и их неизданные воспоминания о нём, словом, всё то, что так или иначе могло осветить для читателей жизнь и творчество великого автора».<sup>1</sup>

Первые работы Чуковского о Некрасове, опубликованные в газетах «Речь» и «Русское слово» в 1912-1913 гг., написанные во всегда присущей ему фельетонной манере, имели, безусловно, большой литературно-общественный резонанс и успех, представляя собой во многом новое и очень весомое слово о Некрасове.

Так, в статье «Некрасов и мь» («Речь», 1912, № 300) Чуковский представляет совершенно неопровержимые факты, которые свидетельствуют о том, что «молодой литературе» последних лет, то есть символизму в лице его наиболее выдающихся представителей – Блока, Брюсова, Бальмонта и т.д. – принадлежит заслуга причисления Некрасова к лику великих поэтов XIX века, что всегда было несколько спорным и дискуссионным.

В фельетоне «Искалеченный Некрасов» («Речь», 1913, № 34) Чуковским были приведены многочисленные и чрезвычайно доказательные, убедительные факты по поводу того, как чудовищно безобразно издавались стихи и поэмы Некрасова его наследниками, когда, в сущности говоря, от подлинного Некрасова мало что оставалось.

Кроме того, в фельетоне Чуковского «Некрасов и карты» («Речь», 1913, 19 апреля) опять же в свойственной Чуковскому парадоксальной и очень выразительной манере исследовалось увлечение Некрасова картами и давался подробный и тонкий психологический анализ этого увлечения Некрасова, человека очень сложного и многообразного во всех своих проявлениях.

Как вспоминал В.Е. Евгеньев-Максимов, не всё ему было по душе в этих статьях и фельетонах Чуковского, но он, безусловно, признавал, что Некрасовым заинтересовался критик очень большого масштаба и дарования, обладавший целым рядом таких качеств, которых, увы, недоставало ему.

«Разве я мог бы, например, так остро и хлестко пробраться “зарвавшихся осквернителей”? – писал Евгеньев-Максимов, – так называл Чуковский корыстных, невежественных, подчас прямо-таки циничных издателей стихотворений Некрасова».<sup>2</sup>



Вскоре состоялось и их личное знакомство, правда, несколько омрачённое подстроеной кем-то из «доброжелателей» сплетней. Дело в том, что перед этим Евгеньев-Максимов в одной из петербургских редакций, похвалив статью Чуковского о картах, заметил, что в ней допущено несколько ошибок. Это, как водится, тотчас же было передано Чуковскому, по мнению Евгеньева-Максимова, с явной целью их поспорить, в очень искажённом и преувеличенном виде.

«— А знаете ли, Корней Иванович, Евгеньев про вашу статью говорит: он тридцать четыре ошибки в ней насчитал».<sup>3</sup>

Но Чуковский отнёсся к этому иначе и написал Евгеньеву-Максимову письмо, в самом дружеском тоне, завязалась переписка, и вскоре состоялось их личное знакомство в Царском Селе летом 1913 года, где Евгеньев-Максимов в это время жил на даче.

В своих уже цитировавшихся нами воспоминаниях Евгеньев-Максимов дал очень выразительную и колоритную характеристику Чуковского — человека и литератора, которая добавляет в известной мере некоторые новые черты в известные мемуарные портреты Чуковского:

«Должен признаться, что за всю свою долгую жизнь я не встречал человека, который умел так очаровывать, как Корней Иванович. Уже впечатление от его внешности было безусловно располагающим: <...> мягкие и вкрадчивые движения при огромном росте, внимательный, подчас сосредоточенный, порой искрящийся лукавством взгляд больших глаз, гибкий и выразительный голос. А сколько ума и остроумия в его разговоре! Слушаешь Корнея Ивановича и буквально заслушаться не можешь. К этому необходимо добавить исключительную, прямо-таки бьющую в глаза одарённость его природы <...>. Писатель Чуковский отличается исключительной разносторонностью: он острый критик, осведомлённый историк литературы, текстолог не из последних, а главное, на редкость одарённый художник. Печать несомненного художественного дарования лежит не только на его великолепных, в наше время уже ставших классическими стихах для детей, но и на всём, что он пишет. Его критические статьи принадлежат, собственно говоря, к художественно-повествовательному жанру, и Чуковский имел вполне веские основания свою последнюю книгу о Некрасове назвать “Рассказы о Некрасове”. Я знаю, что подобное смешение жанров возмущает некоторых литературоведов староакадемического типа, но мне их точка зрения была всегда чужда. Какое мне дело до смешения жанров, когда получается хорошо! А у Корнея Ивановича действительно получалось хорошо. Не всегда, разумеется. Иной раз, отдаваясь своему художественному темпераменту, Чуковский хватал через край и в результате вместо прямого зеркала получалось кривое, но кто из нас в большей или меньшей степени не хватал через край?».<sup>4</sup>

«Во всём, что он говорил о Некрасове, — продолжает Евгеньев-Максимов, — чувствовалась такая осведомленность не только в проблемах психологического порядка, но и в биографических и историко-литературных, что нельзя было не прийти к заключению, что Корней Иванович уже тогда, на заре, так сказать, своей некрасоведческой деятельности, посвятил изучению Некрасова массу времени, сил и труда, в первое же свидание с Чуковским я проникся уверенностью — и будущее оправдало её — что передо мной писатель, который не изменит Некрасову в течение всей своей жизни, как не изменял и не изменяю ему я.

— Вот у вас появился конкурент, и опасный конкурент, — соболезнующе сказал мне один из моих прикосновенных к литературе приятелей вскоре после появления в печати первых фельетонов Чуковского о Некрасове.

— Если бы Некрасовым, кроме меня, занимался не один Чуковский, но целый десяток критиков и историков литературы, и тогда смешно было бы говорить о конкуренции; Некрасов так мало изучен, что всем работы хватит — ответил я».<sup>5</sup>

Евгеньев-Максимов отмечает, что оба они, рука об руку в течение многих лет, несмотря на отдельные разногласия, размолвки и даже конфликты, работали над изданиями Некрасова, занимаясь текстологией, а имеющее в некоторых кругах хождение мнение, добавляет он, что «мы с Чуковским — конкуренты, я решительно отвергаю. <...> Скажу с полным сознанием ответственности за свои слова: никто лучше меня не сознаёт, насколько велики заслуги Корнея Ивановича как некрасоведа. Исходя из этого факта, я не далее, как одно из прошлогодних /1939 г./ писем к нему закончила стихами, вычитанными мной в стародавнее время в каком-то журнале /автора не помню/.

*Одному всегда мы всей душой служили,  
К одному стремились, за одно боролись,  
Только шли мы к цели разными путями.  
И порой иного не хочу я счастья —  
Как к моим стремленьям твоего участия».<sup>6</sup>*



В декабре 1913 года Евгеньев-Максимов вместе с Л.П. Гроссманом (они случайно встретились в вагоне поезда – только что вернувшийся из Парижа Гроссман тоже ехал к Чуковскому) сделал ответный визит Чуковскому в Куоккалу. Разговор в доме Чуковского в этот морозный зимний день происходил преимущественно о Некрасове, хотя и хозяин, и гость полагали, что неудобно угощать Гроссмана, который тоже хотел поделиться своими парижскими впечатлениями, исключительно некрасовскими блюдами.

Евгеньев-Максимов ещё раз со всей очевидностью убедился в том, что для Чуковского изучение Некрасова не временный эпизод, а дело всей жизни, и самое главное, что он очень любит Некрасова.

«Эта короткая поездка почему-то особенно врезалась мне в память, – вспоминал Евгеньев-Максимов. – <...> Опушённые снегом, сосны и ели по бокам; высокое, тёмное, неподвижное небо – над нами; сидящий рядом Корней Иванович с исключительным подъёмом, не взирая на мороз, читает понстине бессмертные стихи:

*Не заказано ветру свободному  
Петь тоскливые песни в лесах,  
Не заказаны волку голодному  
Заунывные стоны в лесах;  
<...>*

*Спокон веку работа народная  
Под унылую песню кипит,  
Вторит ей наша муза свободная,  
Вторит ей или честно молчит.*

*Примиритесь же с музой моей.  
Я не знаю другого напева,  
Кто живёт без печали и гнева,  
Тот не любит отчизны своей...»<sup>7</sup>*

В этих же заметках Евгеньев-Максимов пишет о публичной лекции Д.С. Мережковского, называвшейся «Тайна Некрасова» и прочитанной 15 октября 1913 года в Тенишевском училище. Мережковскому принадлежали очень положительные отзывы о Некрасове, которого он ставил в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым и считал, что следует «гордиться Некрасовым перед Европой». Однако Мережковский, вспоминал Евгеньев-Максимов, настойчиво подчёркивал один и тот же тезис, что Некрасов – «единственный поэт, соединивший правду религиозную с правдой политической», что Евгеньеву-Максимову, и другим, присутствующим на лекции, показалось явно натянутым и фальшивым. Кроме того, Евгеньев-Максимов был поражён, как он выразился «изумительно высокомерной манерой обращения Мережковского» и его особенно покорило следующее не слишком любезное замечание Мережковского в его адрес: «Вашей книги («Литературные дебюты Некрасова» – А.Р.) я не только не читал, но и не видел.<sup>8</sup> Показательным оказалось и то, что впечатление Чуковского от лекции Мережковского в целом совпало с впечатлением Евгеньева-Максимова.

«На другой или третий день, – пишет Евгеньев-Максимов, – я получил от него письмо, в котором он, между прочим, писал: “Очень бы мне хотелось повидаться с Вами, побеседовать. Я искал Вас в Тенишевском, чтобы поделиться мнением о лекции Мережковского. Такое равнодушное переживание старых общих мест, уже отвергнутых критикой, такое святое невежество. Он даже Вашей книги не читал, отсюда он почерпнул бы гораздо больше о христианских настроениях Некрасова. И какие вульгарные мысли!”»<sup>9</sup>

Надо заметить, что в дневниковых записях и переписке Чуковского содержится немало самых разнородных, чаще всё-таки пренебрежительных, суждений о коллеге-некрасоведе и будто бы, как это было принято считать, сопернике. Так, в записи от 30 января 1931 года читаем: «Тыньянов предлагает мне устроить чествование по случаю моих некрасовских работ. “В пику этому дураку Евгеньеву-Максимову”. Но ценит ли он их, я не знаю. Что он презирает Евгеньева-Максимова, это несомненно <...> и изумительно передразнивает его».<sup>10</sup>

Говоря об одном из собраний редакции академического издания Некрасова в 1936 году, в которую входили Лебедев-Полянский, Мещеряков, Кирпотин, Эссен и «выписанный из Ленинграда» Евгеньев-Максимов, Чуковский не без всегда присущего ему яда отмечает, что Некрасов – поэт всех этих почтенных лиц нисколько не интересует, а интересует преимущественная политизированная фигура, поэтому он чувствует себя среди них «белой вороной».



Далее следует запись от 8 ноября 1947 года, где очень нелицеприятно говорится о Евгеньеве-Максимове по поводу некоего А.Я. Максимовича (*был такой исследователь Некрасова – А.Р.*), в своё время бедствовавшего молодого человека, которого Чуковский взял к себе в секретари и тот помогал ему в занятиях Некрасовым, но очень много напутал в текстологии в силу своей недостаточной компетентности. Но Евгеньев-Максимов будто бы из зависти, так как в 1918 году не он, а Чуковский по настоянию Блока и Луначарского был назначен редактором стихотворений Некрасова, требовал, чтобы фамилия Максимовича была поставлена на обложке как соредактора Чуковского.

Были и всякие другие коллизии, связанные с изданием академического Некрасова, куда оба – и Чуковский, и Евгеньев-Максимов входили как члены редколлегии, была и полемика по тем или иным вопросам, связанным с творчеством Некрасова, как, например, не является ли подделкой знаменитая ода Муравьёву-Вешателю и т. д., так же, как некая поэма «Светочи», ошибочно, как было доказано Чуковским, приписываемая Некрасову. О трудностях научной подготовки «настоящего» и неискаженного Некрасова Чуковский в 1954 году написал в статье «О дилетантизме к науке», впервые опубликованной в «Новом мире», 1954, №2.

Но наряду с этим были и вполне позитивные суждения. Так, в письме к А. Ф. Кони от 23 декабря 1921 года Чуковский пишет: «Избрание Владислава Евгеньевича в казначей общества (*Некрасовского общества – А.Р.*) приветствую».<sup>11</sup>

Но одновременно с этим в письме к В.П. Полонскому после 24 января 1922 года, где речь идёт о только что прошедшем праздновании 100-летней годовщины со дня рождения Некрасова, Чуковский отзывается о Евгеньеве-Максимове следующим образом: «Евгеньев-Максимов, этот давний душитель Некрасова, окончательно сел на покойника и не давал ему слова сказать. Иногда казалось, что и не было никакого Некрасова – а есть и был один Евгеньев-Максимов. Максимов сочинил и “Власа”, и “Кому на Руси жить хорошо?”».<sup>12</sup>

Конечно, Евгеньеву-Максимову, как строго академическому исследователю, что бы он ни писал в своих мемуарах, не могли импонировать некоторые аспекты творчества Чуковского-некрасоведа, некоторые его приёмы, например, в работах, вошедших в книгу 1926 года «Некрасов. Статьи и материалы» – «Поэт и палач», «Жена поэта (А.Я. Панаева)» и другие, о чём он писал в рецензиях, выходивших в периодике, а также в своей известной книге «Некрасов как человек, журналист и поэт» (1928).

Во время работы над своей итоговой во многом книгой «Мастерство Некрасова» Чуковский в 1949 году жаловался в одном из писем к Ю.Г. Оксману, что у него «мыслей полна голова, а на бумагу ничего не ложится. Фразы бревенчаты и суховаты, как у нашего друга Максимова. Ни гибкости, ни «влаги» в них нет»<sup>13</sup>, что, конечно, в свою очередь диктовалось и условиями времени.

В письме к младшему брату уже умершего тогда В.Е. Евгеньева-Максимова, известному исследователю творчества А. Блока, Дмитрию Евгеньевичу Максимову из Переделкина 25 января 1957 года Корней Иванович во вполне благожелательном тоне осведомляется: «Не написали ли вы воспоминания о Владиславе Евгеньевиче?»<sup>14</sup>

На этом история некрасоведческих контактов Чуковского и Евгеньева-Максимова как будто бы в основном исчерпывается, но есть ещё один аспект, на котором я бы кратко хотел бы остановиться.

Известный советский литературовед и столь же крупный исследователь Некрасова Борис Яковлевич Бухштаб (1904-1985) в статье «Эзопов язык у Некрасова» вступил в полемику с Чуковским, у которого он в молодости побывал секретарём, а одновременно и с Евгеньевым-Максимовым по поводу приёмов эзоповой речи в поэзии Некрасова. Статья К.И. Чуковского «Эзопова речь» в творчестве Некрасова» впервые была опубликована в первом «Некрасовском сборнике» (М.-Л., 1951), а затем вошла в состав книги «Мастерство Некрасова» в качестве последней главы.

Б.Я. Бухштаб убедительно доказал, что даже такие замечательные некрасоведы, как Чуковский и Евгеньев-Максимов не избежали в некоторых случаях произвольных толкований и рассматривали отдельные произведения Некрасова как своего рода «шифровку», которую читатель должен был понимать в другом, чаще всего в противоположном смысле. Поэтому получалось так, по мнению Бухштаба, что авторитетнейшие некрасоведы *volens-nolens*<sup>15</sup> представляли Некрасова порой ловким, хитрым и изворотливым версификатором, который будто бы всегда был готов сочинять угодливо-либеральные произведения ради «зашифрованного полностью или проявленного в двух-трёх строках совершенно искреннего мнения.

Б.Я. Бухштаб писал об этом так: «Известны случаи, когда Некрасов в цензурных целях приписывал к стихотворению несколько “смягчающих” строк, которые при перепечатке убирал, если это было возможно. Но К.И. Чуковский усматривает в текстах Некрасова такое расширенное применение этого приёма, при



котором он уже переходит в свою противоположность. Например, Чуковский утверждает, что Некрасов писал целые произведения для цензуры, чтобы провести в печать пару заветных строк».<sup>16</sup>

Поэтому, по замечанию известного ленинградского литературоведа профессора Б.Ф. Егорова, давняя полемическая статья Б.Я. Бухштаба явилась «хорошим методологическим противоводием против такого рода преувеличений».<sup>17</sup>

Можно предположить, что Чуковский был обижен на такой полемический, скажем так, выпад младшего коллеги, которого он знал с самых его молодых лет, и между ними, как говорится, пробежала кошка. Но Бухштаб где-то в первой половине 1952 года написал К.И. Чуковскому «дружеское» письмо, которое нам, к сожалению, неизвестно, а известен лишь опубликованный ответ Чуковского, в котором он высказывает полное удовлетворение, что инцидент оказался забыт, и что Б.Я. Бухштаб и С.А. (*по всей видимости, С.А. Рейсер – А.Р.*) вновь пригласили его к своему кругу ленинградских академических учёных мужей. Он пишет и о том, что «Мастерство Некрасова» получилось вовсе не такой книгой, какую он хотел бы написать, но что во многом они стоят на одной платформе (*Речь шла о стихотворении Некрасова «Катерина» и главе «Гоголь и Некрасов», вышедшей отдельным изданием – А.Р.*).

И далее Корней Иванович делает следующее очень важное признание: «Даже и пишем мы, так сказать, одним почерком, хотя я вполне сознаю, что годы фельетонной работы, газетные приёмы и навыки оставили свой дурной и несмываемый след на моём “слоге”. Вы же с самого начала прошли классическую ленинградскую университетскую школу. <...> Некрасов – такая объёмистая тема, что и десяткам некрасоведов не исчерпать её». Нельзя не заметить, что здесь Корней Иванович почти дословно повторил, не сговариваясь с ним, приведённое нами выше суждение Евгеньева-Максимова.<sup>18</sup> (В скобках заметим, что к этому времени уже выросла и заявила о себе новая поросль некрасоведов – М.М. Гин, А.М. Гаркави, Б.М. Теплинский, В.Э. Боград, Г.В. Краснов и др., которых Чуковский застал и многих из них высоко ценил).

Таким образом, мы видим, что несмотря на все мелкие, а подчас и крупные, принципиальные даже расхождения и то злоязычие, которое принято, как известно, в литературной среде, и К.И. Чуковский, и В.Е. Евгеньев-Максимов, а также и Б.Я. Бухштаб – тоже очень значительный некрасовед – делали, в сущности говоря, одно и то же дело, с любовью и беззаветной преданностью служили одному и тому же – глубокому и широкому, как море, миру, который называется творчеством Некрасова.

То, что заслуги Чуковского-некрасоведа чрезвычайно велики – это уже, конечно, трюизм. И «Мастерство Некрасова» – это классическая книга. Но в *pedant*<sup>19</sup> ко всему сказанному мне хотелось бы отметить, что Чуковский, например, впервые в 1930 году опубликовал объёмистый роман, написанный Некрасовым совместно с А.Я. Панаевой для поддержания подписки на «Современник» – «Три страны света», который после этого был переиздан лишь один раз в полном академическом собрании сочинений Некрасова. И здесь имена Чуковского и Евгеньева-Максимова стояли рядом.

#### Примечания:

<sup>1</sup> Чуковский К. Несобранные статьи о Н.А. Некрасове. Калининград, 1974, с. 19

<sup>2</sup> «Некрасовский сборник» Л., «Наука», 1983, вып. VII, с. 228

<sup>3</sup> Там же, с. 229

<sup>4</sup> Там же, с. 229

<sup>5</sup> Цит. изд., с. 230

<sup>6</sup> Там же, с. 230

<sup>7</sup> Там же, с. 233

<sup>8</sup> Там же, с. 232

<sup>9</sup> Там же, цит. изд., с. 232

<sup>10</sup> Чуковский К. Дневник 1930-1969 г.г., М., «Советский писатель», 1994, с. 76-77

<sup>11</sup> Чуковский К. Собр. соч.: в 15 томах: М. «Терра – «Книжный клуб»: 2008, т. 14, с. 481

<sup>12</sup> Там же, с. 494

<sup>13</sup> Чуковский К., Цит. изд., т. 15, с. 373

<sup>14</sup> Там же, т. 15, с. 437

<sup>15</sup> Волей-неволей (*лат.*)

<sup>16</sup> Бухштаб Б.Я. Н.А. Некрасов: проблемы творчества. «Советский писатель», Ленинградское отделение, 1989, с. 153

<sup>17</sup> Бухштаб Б.Я. Цит. изд., с. 347

<sup>18</sup> Чуковский К. Цит. изд., т. 15, с. 383

<sup>19</sup> В добавление (*франц.*)

# «ОКОЁМ»

## «45 КАЛИБР – 2017»: МНЕНИЕ «ЮЖНОГО СИЯНИЯ»

*По итогам V международного поэтического конкурса «45-й калибр имени Георгия Яропольского. Сезон-2017», традиционно проводимого интернет-альманахом «45-я параллель», победителями стали: Александр Ланин (Франкфурт-на-Майне), Константин Рыбаков (Гатчина) и Татьяна Щербанова (Санкт-Петербург). А лауреатами признаны: Бабка Лидка (Омск), Ника Батхен (Феодосия), Анна Горелова (Нижний Новгород), Анна Долгарева (Донецк), Сергей Дубовский (Рославль), Елена Жамбалова (Улан-Удэ), Юлия Зайцева (Ярославская область, Гаврилов-Ям), Дмитрий Казарин (Астрахань), Александр Карпенко (Москва), Анастасия Кинаш (Белгород), Любовь Колесник (Тверь), Ольга Корзова (Архангельская область, деревня Степановская), Рита Круглякова (Беларусь, Мозырь), Яна-Мария Курмангалина (Одинцово), Любовь Левитина (Израиль, Ашкелон), Марина Намис (Москва), Александр Оберемок (Белгород), Светлана Пешкова (Липецк), Александра Сандомирская (Санкт-Петербург), Ольга Суханова (Химки), Евгений Сухарев (Эрфурт), Юлия Шокол (Николаев).*

*В нашем издании мы представляем поэтические подборки семерых авторов, отличившихся в турнире-45...*

## КОНСТАНТИН РЫБАКОВ

Гатчина

### МОРСКОЕ «ША»

Как много моря в букве «ша»: Кронштадт, бушлаты и клеша; раскурит трубку не спеша усталый шкипер. В закат вонзается бушприт, шпангоут вдумчиво скрипит, и пахнет местный колорит парфюмом «Шипр». На шхуне шваброй дряют ют; швартов на шканцах отдают, и в душном сумраке кают шныряют крысы; со штормом шутит кашалот; клешнями краб крушит фальшборт; по шельфу шквал за горизонт уходит быстрый. В норвежских шхерах тишина. Штатается в тиши сосна. С ш-ш-шипением ползёт волна на берег древний. С шестидесятой широты циклон швыряет под винты шершаво-пористые льды, ш-ш-шурша о штевни. Шифруется рассвет в луне; на вахте штурман в полусне; туман шифоновым кашне слизал оттенки. За шепелявым ветерком барашки пенные – пешком, и шепчет что-то на ушко матрос шпатенке. Как много моря в букве «ша»... Тельняшкой греется душа; шпигаты судно осушат водоворотом – и выйдет море из бортов! Приняв планету на бакштов, плывём в созвездии Китов под запах шпротов.

## ДОРОГА, ВЫБРАВШАЯ НАС

Тихо отчалит от корпуса пристань, солнечный зайчик коснётся волны; в дымке сиреневой тает, как призрак, порт с ощущением вечной вины. Вышли, как водится, точно по сроку; карты надёжны, и верен компас: это не мы выбрали дорогу – это дорога выбрала нас! Краны порталные, вывернув шеи, смотрят нам вслед. Прямо над головой рявкнет тифон. От свободы хмелея, чайку отплёпает флаг кормовой. Льдами приветствует бухта Авача, шквалом накроет Бискайский залив; в старой тельняшке – вся сущность удачи: чёрное с белым, прилив и отлив. Нас океан обнимает, как братьев, ластится кошкой и лижет борта; только порою смертельны объятия, многих вода забрала навсегда. Запах солёных смолёных канатов, тёплый пассат у чужих берегов; в память впечатаны намертво даты жизни и смерти друзей-моряков. В море открытом мечтаем о суши, на берегу просят шторма сердца; не проклинайте пропащие души, мы свою чашу допьём до конца! Девушки, милые, бросьте, не плачьте – слёзы зальют огоньки ваших глаз! Море не жалуется трусов. Иначе вряд ли бы море выбрало нас.

## ВРЕМЯ АБСЕНТА

Время – к полночи. Время абсента и растрёпанной розы ветров. Ложи тонут в аплодисментах, а с галёрки – утробный рёв. Жизнь – театр, конечно. Но сцена не прощает фиглярства и лжи; декораций слепая замена разрушает души этажи. И не надо ломать постаменты: заметая истории след, разменяв память предков на центы – мы в себе выключаем свет. Черно-белой шурша кинолентой, режиссёр, закрутивший процесс, раскадрировал лето в Лету, на эпохе поставив крест. Ну, какие, к Богам, аргументы? В наших судьбах простая вязь. Было – било. Но крепче цемента с обсточенным временем связь. И, отринув десяток вето, на крови строим новый кров... Время – *за* полночь. Время абсента, время горьких полынных снов.

## ОЖИДАНИЕ

Время тянется резиной, время капает из крана; запирая магазины, «Время» тикает с экрана. Посекундно, поминутно вытекает время долго водопадом с кручи круто, разбиваясь на осколки. Время тащится за стрелкой по кружочку циферблата. Время мечется, как белка, у любви воруя даты. Время электронной почты то сердечно, то беспечно. Я всё жду, когда придёшь ты – ежечасно. Ежевечно...

## ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Кляксы островов, проспектов линии к небу цвета жемчуга пришпилены; летним ливнем выполоскан, вымыт город, продуваемый навывлет. Не сходя с гранита постамента, сохнут жеребец и всадник медный, медленно с копыт стекают капли. Выплывает солнце дирижаблем; сохнут в переулочках трамваи. Эх, сейчас сорваться б на Гавайи – только на кого оставить город, что в слезах дождя, до спазма в горле дорог каждым краешком гранита? Город, что победами пропитан, город у подножья океана, город – не просторней чемодана, где сплелись в канат смолёный туго каторжане, царедворцы... Трудно, невозможно летней ночью белой взять – и бросить город корабелов, выдуманный, строенный в азарте, вырубленный форточкой на карте... И влезает снова плотник-Питер в китель, что давно на сгибах вытерт.



**ТАТЬЯНА ЩЕРБАНОВА**

Санкт-Петербург

## ПЕТЕРБУРГ – ЭТО ТЫ

Петербург дostoевский, чахоточный, злой  
прошивает туман золочёной иглой,  
выступает из мрака над тёмной Невой  
и разводит мосты.

Петербург – это Пушкин, Ахматова, Блок,  
это Невский, растоптанный тысячью ног,  
он читает меня между арок и строк,  
Петербург – это ты.

Этот город без солнца, здесь солнце изгой,  
здесь балтийского моря холодный прибой,  
и пронзительный ветер зовёт за собой,  
искушая судьбу, –

Петербург не отпустит, беги не беги,  
здесь безвременье часто смыкает круги:  
на Васильевском острове слышу шаги,  
на Дворцовой – стрельбу.

Петербург – это Пушкин, Ахматова, Блок,  
Ночь в дырявой шинели, поруганный бог.  
Этот дом на Фонтанке, блокадный паёк,  
Гумилёв и Кресты.

Этот бабушкин голос сквозь стены и рвы,  
эти вечно крылатые невские львы.  
Но доносится шепот зелёной травы:  
Петербург – это Ты...

## КАРАМАЗОВЫ

Ну что молчишь, давай рассказывай –  
твоя история проста:  
как пляшут братья Карамазовы  
по обе стороны креста.  
Да, здесь сады не гефсиманские,  
никто не звал тебя сюда.  
Открой-ка, Митенька, шампанское  
за час до страшного суда.  
И нет ни времени, ни повода  
гонять святое вороньё,  
как улыбался старец в бороду:  
«Иди, Алёша, не твоё».  
Не это сердце мучить истиной  
носить терновые венцы.  
А Митенька с глазами чистыми  
летит в любовь под бубенцы.

Звенит в груди тоска кандальная,  
 под инквизиторский прищур  
 пригрезится дорога дальняя:  
 «Бежать, Алешка, не хочу.  
 Бежать, бежать... да много чести им!  
 Не смердяковым править бал»...  
 Простой народ из церкви шествует  
 с грехом и верой пополам.  
 И где-то там рыдает грешница.  
 И где-то там вершится суд.  
 В солёном небе солнце плещется.  
 И губку с укусом несут.

### ВЕТЕР ОБМАНЧИВ

ветер обманчив,  
 носит сухие листья.  
 маленький мальчик  
 шёл, как большой, на выстрел.  
 вот вам войнушка –  
 скоро он стал героем.  
 сосны, опушка,  
 чапа небес со зном.

звон комариный,  
 млеет под солнцем ряска.  
 быть командиром –  
 чёртова свистопляска.  
 дед бы гордился,  
 даже пожал бы руку,  
 дал бы конфету  
 с мишкой герою-внуку.

...

ветер обманчив,  
 носит сухие листья.  
 маленький мальчик  
 взрослые пишет письма:  
 «мам, всё в порядке,  
 кормят, сержанта дали,  
 дед бы гордился,  
 внука б узнал едва ли»...

...

ветер обманчив,  
 листья швыряет в осень,  
 шарит по дачам,  
 цепляет верхушки сосен.  
 бледность на скулах  
 сквозь черноту загара –  
 маленький мальчик  
 взрослого Кандагара.



## ДОБЕР-АПЕЛЬСИН

если мчаться быстро-быстро гордо-гордо по саванне,  
 будто страус, будто птица, пряча голову в песок,  
 можно светлый мир построить на сплошном самообмане  
 и носиться в этом мире взад-вперёд-нанаскосок.  
 поднимая пыль и ветер, по нему шуршать ногами  
 и закидывать колючкой иноземных пришлецов  
 со своим чужим уставом и помятым оригами  
 на том месте, где обычно нарисовано лицо.  
 можно прыгнуть с вертолѐта и зависнуть апельсином  
 ярко-рыжим, ярко-красным, ярко-синне-голубым,  
 а потом, забавы ради, завести себя в трясиину,  
 или в чашу, или в гости к трубадуру без трубы –  
 выпить чаю, съесть конфету, почитать Омар Хаяма  
 с бестолковым трубадуrom трубадурить без ума,  
 выйти в месяц, в двери, в люди, вынуть ножик из кармана,  
 констатируя, что в мире начинается зима:  
 мёрзнут лапы, листья, кочки, чай, конфеты, трубадуры,  
 индевет оригами всеми складками витрин.  
 на меня всю глазеют рты раззявившие дыры –  
 я свалился с вертолѐта – ярко-рыжий апельсин!  
 быстрый-быстрый, гордый-гордый без трубы, но из саванны,  
 выпал снегом, вышел следом, заплясал веретеном,  
 улыбнулся постовому с добер-мордой добер-мана  
 и пошёл, минуя зиму,  
 за цветами  
 в гастроном

## САПСАН

Декабрьский розовый рассвет.  
 Меня сапсан несёт в столицу –  
 вся в реверансах проводница  
 и мягких кресел пиетет.

– Какао, кофе или чай, –  
 по переходам катит столик  
 иезуит-монах-католик  
 (вдруг показалось невзначай:  
 такое бледное лицо,  
 надменный лоб, сухие кисти...  
 Иезуит, католик, мистик  
 под золотистой пыльцой).  
 Его приятен баритон:  
 – Хотите сладкое какао?

А я в окно смотрю – направо  
 валдайский колокольный звон,  
 налево доски вкривь и вкось  
 на заколоченных окопках,  
 бездомная гуляет кошка,  
 и ни хозяин здесь, ни гость  
 билет не купит на сапсан –  
 не предусмотрена стоянка.

Мой мистик из стеклянной банки  
 протягивает круассан.

**НИКА БАТХЕН**

Феодосия

## КИЗИЛТАШ

Скользкой, глинистой, рваной предгорной тропой  
 Ты выходишь туда, где платок голубой  
 Распростёрся над маленьким краем земли,  
 Где любой скороход – на мели.  
 Торопливая вязь – не церковная речь.  
 Отдаёшь только то, что не можешь беречь,  
 Остаёшься как перстень судьбы одинок,  
 Лишь девчонка с кувшином у ног.  
 Первоцветный ковёр на весеннем пиру.  
 Скоро Пасха и я никогда не умру,  
 Я останусь в корнях – можжевельник, кизил.  
 Проводник ни о чём не просил.  
 Сбросишь страхи сухой прошлогодней листвой,  
 Сложишь дом из соломы, непрочный, но свой.  
 Сложишь песню на совесть – подхватит скворец,  
 Для того и трудился Творец.  
 Даже дерево знает, что будет потом.  
 Я на радуге – видишь, играю с котом.  
 Ты пришёл к роднику, то ли друг, то ли враг.  
 А вода  
 Убегает  
 В овраг.

## ПАЛЕОЛИТИКА

На полуострове, покрытом пылью и бранью,  
 Маленький мамонт сопротивляется вымиранью.  
 Ищет сухие травки, скрипит камнями,  
 Ходит на водопитие дни за днями.  
 Хобот поднявши к солнцу, трубит восходы,  
 Прячется когда люди идут с охоты.  
 Смотрит на можжевеловые коренья,  
 Смотрит на рыб, меняющих точку зренья  
 Вместе с течением, жёлтым или солёным.  
 Думает – не присниться ли папильоном  
 Где-то в Китае... мамонтами не снятся.  
 Время приходит сбросить клыки и сняться  
 С ветреной яйлы ниже, на побережье –  
 Там и враги, и бури гуляют реже.  
 Можно под пальмой пыжиться по-слоновьи,  
 Можно искать пещеру, приют, зимовье.  
 Гнаться за яблоком, дёргать с кустов лещину.  
 Люди проходят, кинув плащи на плечи.  
 Мамонт, ребята, это фигура речи  
 Монти Грааль, опция надеянья.  
 Я надеваю бурое одеянье.





Намасте, осень, тминова и корична!  
Важно сопротивляться. Любовь вторична.  
Важно дышать навстречу. Дышать, как будто  
Бродишь по яйле, красной листвоу укутан...

### МИНУТА

Прячутся мальчики в старых книгах, в тусклых открытках «Восьмого ма...»  
В пульках свинцовых, монетках, нитках. Как незаметно пришла зима!  
Тащится туша пешком по лужам, палка о камни – скирлы-скирлы.  
Ужин не нужен, и дом не нужен, разве в кровати считать углы,  
Прятаться куклой под одеялом, гладить обои, скрести узор.  
Стал отработанным матерьялом, шлаком, отходом, позор, позор!  
Буки крадутся к забытой зыбке, серые волки падут на грудь.  
Мальчик, ты слышишь? Играй на скрипке, выйди из тени, останься, будь!  
Ты, шестилетний, с песком в кармане, видишь, твой мячик упал в Неву.  
Ежели Тания тебя поманит – прячься от Тани, сиди во рву.  
Вот тебе корка и сахар сладкий. Вот от отца полтора письма.  
Вот от бабули чулок с заплаткой. Мама исчезла восьмого ма...  
Ты уцелеешь. Забудешь голод. Вырастешь сильный и молодой.  
Чуешь – в тебя прорастает город, серым гранитом, густой водой.  
Скрипка останется в бывшей детской. Крошится жёлтая канифоль.  
Мальчик, уже никуда не деться – только по нотам, на страх и боль.  
Только минута и я не стану. Ты, шестилетний, живи пока –  
Струнным квартетом, зерном каштана.  
Камешком  
В клапане  
Рюкзака.

### КАРАНТИН

Здесь поселились старые бандиты.  
Пьянчуги, оборванцы, бузотёры,  
Луддиты – кулаки всегда сердиты,  
Глаза – как обмелевшие озёра,  
Слова – бульжник, камни мостовые,  
Костяшки пальцев – сплошь татуировки  
На животах – узоры ножевые.  
Их любят виноватые воровки  
И молодухи с фабрики игрушек,  
И жёны моряков и санитарки,  
И вдовы на горе тугих подушек,  
И даже одинокие татарки.  
Они же любят деньги. Рыбу. Бани.  
Газету поутру. Футбол в газете.  
И задремать на выцветшем диване,  
Спокойно позабыв про все на свете.  
По правилам бессмысленной науки  
Они воруют месяцы у смерти.  
К ним никогда не приезжают внуки.  
Придёт письмо в испятнанном конверте –

Уже удача.  
 – В Англии?  
 – Иди ты!!!  
 – Купил коттедж?  
 – Торгует буряками!  
 ...Так незаметно старые бандиты  
 Становятся простыми стариками.

## ЕЩЁ ОДНА ПЕСЕНКА ДЛЯ КОРОЛЯ ЯЩЕРИЦ

Слышишь?  
 Лучше молчать о важном.  
 Притворяться доблестным и отважным.  
 Танцевать в прибое, трести кудрями,  
 Отмывая память от всякой дряни,  
 Засыпать снежками твою лачугу.  
 – Просыпайся, время случится чуду!  
 День – бродить по лесу оленьей тропкой,  
 Пить чаёк, укрываться одной ветровкой,  
 Толковать следы, тосковать – рябина  
 Не растёт в предгорьях, а было б мило.  
 У печи ютиться, сдвигая плечи,  
 И молчать. Ни слова чтоб стало легче.  
 Только шрам от пальца ползёт к запястью  
 И сова над крышей кричит – к несчастью  
 Или к счастью.  
 Хочешь, спрошу у птицы,  
 Как простить за то, что не смог проститься,  
 И пришёл к тебе как пустой орешек.  
 Слышишь, сердце бьётся слабей и реже?  
 Ты смеёшься. Лепишь кулон из глины.  
 Чистишь запотелые мандарины,  
 Стелешь шали, дремлешь на них небрежно,  
 Говоришь, что небо для нас – безбрежно.  
 Глянь – сверкает! Синее! Настоящее!  
 ...И душа отрастает, как хвост у ящерицы.

---

**ЕЛЕНА ЖАМБАЛОВА**

Улан-Удэ

### ЦИРК

Раннее утро. Нам мама с сестрою наладила  
 По бутерброду, а мы их скормили коровам.  
 Холодно: иней на чёлке Ирины Геннадьевны.  
 В цирк собирают автобусом нас подворово.

Все худо-бедно собрались, выходят засони,  
 В цирке ещё не бывали, считай, первоклашки.  
 Вот и к последней ограде – но, скрипнув засовом,  
 Вышла сердитая мама Брылёвой Наташки.



Нет, не поедут! Вы, видимо, ши́боко богаты,  
Беситесь с жиру, а нам тут не до разгула!  
Тронулись. А в окошке с зарёванным братом  
Грустная одноклассница промелькнула.

Прыгают клоуны, и обезьяны, и мишки,  
Только притихли, невеселы мы, ребятишки.

...Я иногда из себя как из тёмной избы  
Молча смотрю. Без меня уезжаете вы.

\*\*\*

Останусь одна, без денег и кофе.  
Любимого дна – лопатками, вровень  
с дощечками пола, и плоше, и площе.  
Как дерево, камень, хоть выложи площадь.  
Гляжу вдоль себя и не вижу раздела,  
не зрю окончания улицы тела.  
Слоями хрустящими крошится известь –  
не смог извести, значит, высвисти, вывездь  
во мне это право разбитой витрины,  
во мне этот город печальный, старинный,  
и глаз твоих белых холодное море.  
И горе, которое больше не горе.

#### ДУРА

блестящий снег дома и фонари  
вода сластит солодковой микстурой  
ты в форточку подъездную покуришь  
мальчишка пишет дура на двери  
он женится на этой самой дуре

а где-то там в небесном серебре  
адам напишет дура на ребре

#### В ВАГОНЕ

1.

И травы,  
и провода, что имеют право  
сбегаться и разбегаться, и доконать,  
и вся эта Родина,  
падающая из окна,  
болотная и берёзовая, дрожжевая,  
корнями хрустящая, тонкая и живая,  
прозрачная, свежая, прячущая зверьё, –  
всё это моё, до скрипа зубов –  
моё.



2.

Мужик пинал велосипед  
на станции в Перми.  
Да, он был пьян и не в себе.  
И женщины с детьми  
шептались: «Вот управы нет,  
забрали бы в отдел».  
Мужик пинал велосипед,  
А он во мне звенел.

3.

Там на окнах цвела вода,  
замирая кипенно-белым.  
Тело стыло, и города  
проходили сквозь это тело.  
Кто-то брал меня под крыло,  
от которого – только перья...  
Всё неназванное плыло,  
все неназванные материи  
были словом. И ничего,  
кроме слова. Чудесно страшно,  
Да, я сломанный карандаш, но  
мне царапать всю жизнь его.

### ПОХОРОНЫ

1.

Дом забили, сделалась тишина.  
Мы стояли рядом как две вороны.  
Из-под снега лезли одеколонь,  
торопились сеятеля пожинать.  
Мама не приехала, и жена,  
та другая, тоже.  
Дорога в лужах.  
Я была беременна, неуклюжа,  
и от слёз не видела ни хрена.  
Хоронили папу.  
Была весна.

2.

Хоронили папу, была весна.  
Говорили мало, на лицах жалость.  
Помянули, вздрогнули, разбежались.  
Пара собутыльников да родня.  
Пожалейте бедненькую меня.  
У меня отец дал в канаве дуба.  
Мне теперь об этом годами думать.  
Извините, нервное.  
Извинят.  
Слышишь?  
Колокола звенят.



3.

Я не знаю, что это за сторона,  
там со стороны, говорят, виднее.  
Я так, к сожалению, не умею,  
опытным путём дохожу до дна.  
Папа, я дрейфующий космонавт.  
У меня есть руки, да толку мало,  
У меня есть ноги – и я шагала.  
Дайте спину, требуется спина.  
Та, что типа «каменная стена».

4.

– На.

## ЛЮБОВЬ КОЛЕСНИК

Тверь

### КОНЧИЛСЯ ЗАВОД

*И.П.*

Завод – не в смысле предприятие,  
а натяжение пружин.  
Одно недолгое объятие –  
и разойдёмся, побежим,  
похмельные; не будет трошков,  
размытый город лёг в тених,  
а ты не думай, сколько прошито  
в моментах, людях, трудоднях,  
и, затыкая губы горлышком  
незрячим донцем к небесам,  
запей горячей хиной горюшко –  
то, из которого ты сам:  
работа, сон, мероприятия,  
башка, конечности, живот,  
завод – не в смысле предприятие,  
а в смысле – кончился завод.

### ИДУ ФОТОГРАФИРОВАТЬ НАСОСЫ

Иду фотографировать насосы.  
Ворота цеха выдыхают пар.  
Начальник мят с утра и стоеросов –  
ворчит, что КТУ – не божий дар,  
и мы в конторе жизни не видали,  
не нюхали тосол и креозот,  
а то, что мне хороший фотик дали –  
так дуракам, как водится, везёт.

Киваю молча, щёлкаю затвором  
на брак железа и людскую тьму.  
Тьма ширится. Нас подытожат скоро  
по метрике, неведомой ему.  
Я знаю точно: будет ближе к раю  
не тот, кто сделал план по корпусам,  
не он, не я, не труд, идущий к маю,  
но белый пар, летящий к небесам.

### ДАЛБАЙКА

На мосту через Далбайку,  
около Кулгук-Монды  
остановим таратайку,  
жёлтой зачерпнем воды.  
Полу-стынет полустанок,  
путь из нечто в никуда.  
Зачерпнем, но пить не станем –  
это мёртвая вода,  
притаившая заразу.  
Стынет битум на лице.  
Дохлый номер – строить трассу  
в точку Бэ из точки Цэ.  
На мосту через Далбайку  
Только мёртвых ставить в ряд,  
мёртвых с косами, чтоб в байку  
вплёл их друг степей бурят.  
Горько волк за горкой плачет  
По стране СССР.  
Слышишь? По асфальту скачет  
ослепительный Гэсар.

### НЕ ЗАРЖАВЕЕТ

Ф.Ч.

Не заржавеет, не окислится,  
не корродирует за мной.  
Лиственница стоит как виселица,  
мотив качается блатной,

и гроба железобетонного  
нетленен параллелограмм.  
Далёкий гул станка стотонного  
велит принять на грудь сто грамм,

не слушать музу заунывную  
себя не вкалывать в цеха  
и деятельность безотрывную  
забросить к чёрту в потроха.

Не горбиться и не сутулиться,  
суть не разменивать на медь.  
Смотреть на лиственницу, улицу  
и не ржаветь. И не ржаветь.



## ВТОРАЯ СМЕНА

Бьётся по ветру, отпущен,  
блеклый триколор.  
Вечер ближе, темень гуще.  
На посту вахтёр.

Цех притихший обесточен,  
пропуска сданы.  
В магазинах люд рабочий  
покупает сны:

«Пять озёр» и иже с ними,  
«Путинку» и проч.  
И бетонными, стальными  
подступает ночь.

Будет правда неизменна  
над землёй сырой,  
Смерти повторенье, смены  
первой и второй.

Будут в темноте светиться  
испокон веков  
целлулоидные лица  
передовиков.

**РИТА КРУГЛЯКОВА**

Мозырь

## ЕВИНЫ ГЛУПОСТИ

В этом саду, где цветы и трава душистая,  
Сочные фрукты, прохлада ручья хрустального,  
Еве светло, ведь она, как вода в нём – чистая,  
Ева не знает ни тёмного, ни печального,

Делится с птицами маленькими секретами.  
Но, оставаясь одна вечерами тихими,  
Ева... тоскует?.. Но ей о тоске неведомо.  
В горних садах о тоске никогда не слыхано.

Света к четвёртому веку ничуть не меньше, но...  
Евины глупости заперты в сердце наглухо.  
Мудрый Адам ни на йоту не верит женщине  
И не берёт у неё никакого яблока.





## ВЗРОСЛЕНИЕ

Оставлено, даровано, сквозь сито дней пропущено  
 цветное, монохромное – былое и грядущее:  
 написана история, воссоздана из хаоса.  
 Судьба моя настояна на тёплых травах августа,  
 на звёздных сновидениях, на эликсире солнечном,  
 на вытяжке безвременья, сгустившейся до горечи.  
 Там гулко и размеренно звучит церковный колокол,  
 и тащит ветер с севера предштормовое облако:  
 опять из рая изгнаны рассерженные демоны...  
 В библиотеке жизненной романы и поэмы, но  
 ни одного учебника. Вдыхая над страницами,  
 всё меньше ждёшь волшебников и благородных рыцарей.  
 Здесь все дороги скатертью, и вспать от замков с башнями.  
 На пыльной полке памяти храню себя, вчерашнюю...  
 Бредущая во времени, с собою в чемодане я  
 Ношу благословенные свои воспоминания.

## ГЛУПЫЕ ТЁТИ

Что замолчал ты, перебирая струны?  
 Песня твоя утешит её, быть может.  
 Что ты так смотришь, мальчик кудрявый, юный?  
 Тёти, бывает, плачут. При людях тоже.

В шёлковых платьях, яркие канарейки,  
 В флэре ванили, мускуса и тимьяна  
 Тёти бессильно падают на скамейки  
 Где-нибудь в тихом скверике у фонтана.

Глупые птицы! Где их так больно ранят?  
 Это пока не ясно тебе и странно.  
 Тёти – они смешные в своем желанье  
 Вечной любви и верности, как в романах.

Сердце твоё – ещё не стальное – чутко.  
 И, наплевав на шутки друзей, отважно  
 Ты укрываешь глупую тётю курткой.  
 В юности – это правильно, это важно.

«Кажется, Вы замёрзли слегка. Возьмите...»  
 И потеплеет вечер сырой, беззвёздный.  
 Тётя поверит в то, что её хранитель  
 Рядом, и улыбнётся ему сквозь слёзы.

## ЧЕЛОВЕКУ

За капризным мартом пришёл апрель,  
 Бог разводит синюю акварель.  
 Начался отсчёт сорока недель –  
 Прорастает семя.  
 Для того, что сбудется в декабре,  
 Дождевую каплю принёс Борей,  
 В этой капле – воды из двух морей  
 Продолжают время.



Ты – моя река, я – твоя река.  
Из такого разного далека  
Протянулись ниточки ДНК:  
Наполняясь ими,  
Изнутри ласкают меня моря...  
Сопричастный, в сетке календаря  
Сосчитай недели до декабря  
И придумай имя.

Мы замедлим свой беспокойный бег.  
Из сиянья лун, из слиянья рек  
Здесь, под сердцем, начался человек,  
Чтобы в мир взглядеться:  
Написать роман, полететь к звезде...  
Счастье в этом чуде и простоте –  
Подержи ладони на животе –  
Там, где бьётся сердце...

### ТИМА

Раннее утро. Спит ещё детский сад.  
Только в одном окошке сейчас светло уже:  
Тиму приводят первым – в шесть пятьдесят  
И оставляют ждать остальных, со сторожем.

Тима ко мне пускается, как стрела,  
И говорит обиженно и растерянно:  
«Доброе утро! Где ты всю ночь была?  
Я по тебе соскучился, Алексеевна!»

Тима меня не слушает. Никогда.  
И на прогулке танцит мне «чай» из лужицы.  
Я возмущаюсь. Он мне: «Моя звезда!  
Я же мужчина, вот ты меня и слушайся!»

Он победит злодеев на всей Земле,  
И в Новый год, в мороз, в темноту, в метелицу  
Он приплывёт за мною на корабле,  
Белом-пребелом. И непременно женится.

---

**МАРИНА НАМИС**

Москва

### ФЕВРАЛЬ

Февраль лохмат и вьюжливо лукав,  
растащит божий свет на облака,  
и станет мягок плёс и лес белёс.  
Голубизна на пальчиках берёз  
очнётся,  
день дыханью отворив.



И сонный март капелью во дворы  
 вдруг упадёт  
 текуч, яспоречив.  
 За криком крик проклонутся грачи,  
 и ты придёшь, оттаявший едва,  
 и будешь называть и согревать

по именам, забывшимся в зиме,  
 сквозь явь и навь отыскивая слово,  
 вмещающее нас и снег, и смех,  
 на выдохе звенящее ручьёво,  
 и посреди слепых, глухонемых  
 за талой тишиной,  
 скользкой с веток,  
 за ветром вслед  
 заговорим и мы,  
 стихами домолчавшие до света

### БЫТЬ ЯБЛОКУ

У августа даров – не перечесть:  
 В нём дни-волхвы распахивают недра,  
 Звезда в набат вызванивает весть  
 И миррою умащивает щедро,  
 Ночь ладаном окуривает впрок,  
 Янтарною мелодией согрето  
 Полднелие, и где-то между строк  
 Быть яблоку предписано заветом.

Быть яблоку. А значит: кожуре  
 Держать нажим бунтующего сока.  
 За кроною-менорой догорев,  
 Затеплиться свечою одинокой.

Быть яблоку, а значит: быть греху,  
 И в ожиданье праведного гнева  
 К изгнанию покорно потекут  
 Шаги... Нагая вздрагивает Ева.

Быть яблоку. Беде навстречу течь  
 Троянской нареченною. Так скоро  
 Парису предначертанная речь  
 Распахивает зарево раздора.

Так пользуйся – коль целый месяц дан,  
 И небеса способны стать твоими,  
 Пока по августовью сад-Атлант  
 За яблоками ходит золотыми.



## УГЛЫ

Пойдём в углы  
дробить горох обид:  
свобода стала слишком угловатой.  
Поди туда – раздольем будешь бит,  
поди сюда – оскоминой чревато.  
Вот и пойдёшь, куда – не знаешь сам,  
что принесёшь – за это и ответишь.  
Ни вех, ни вер неведомо глазам,  
иди найтём, видимое – ветошь.  
Пойдём в углы – обиженных приют.  
Они – всему основа – триединство.  
Кузнец-то знает, что из нас куют,  
а мы потом увидим – устыдимся,  
забьёмся вглубь. В углу, смотри-ка – Бог,  
поверьями дремучими опутан.  
Злословят все: пропал, ослеп, оглох,  
но Богу тоже хочется уюта.  
Куда ни глянь, вокруг – голым-голо,  
а по углам – тепло, темно и тесно.  
Впусти Его, побудь Его углом,  
среди пустот – уютным божьим местом

## ОДУВАНЧИКИ

Время индевелое обманчиво:  
стынут речи, замерзают сны.  
Тихо с поднебесья-одуванчика  
облетает шапка белизны.  
Усыплённый снежными балладами  
дремлет свет. Таясь, исподтишка  
ловит-ловит зёрнышки крылатые  
жёлтая фонарная рука.  
Кружат вопреки оцепенелости  
и внутри живущего, и вне,  
а потом ты видишь поле целое  
белых одуванчиков в окне.  
Неземные, призрачные рядом – и,  
сбросив этажи и миражи,  
из ночи на босу ногу – в радости  
на точёный холод их бежишь,  
сны снимая, надеваешь наскоро  
явь, себя, заботы, голоса.  
Ускользает детство за салазками,  
юность осыпается, и сам  
облетаешь – облако за облаком,  
и ещё дыхание спустя  
жалобно по ком-то бьётся колокол,  
а они летят-летят-летят

## НЕ ХОДИ ЗА ДВЕРЬ

Не ходи за дверь – там чёрный весенний лес,  
там промокший свет,  
и стоит свернуть за угол –  
заскулит капель, смывая слои колец  
со стволов,  
и мы не сможем узнать друг друга.  
Там живое и взрослое время ещё «на Вы»,  
у ручьевого берега ты – всё такой же мальчик.  
И к забытому голосу тянутся из травы  
желторотые дети сорванных мать-и-мачех.  
Мы ютимся в ладонях старого шалаша.  
Мир заботливо создан из тёплой господней глины.  
Вечер ходит на цыпочках, мягко, едва дыша,  
держат небо апостолы – тополи-исполины.

Оглянешься – по просеке тучно ступает дождь,  
Зябко жмётся к земле, шепчет себя во сне ей.  
Лес становится холоден, изнемождён и тощ,  
и чернеет-чернеет

Не ходи за дверь – там чёрный весенний двор.  
В талых далях его ни мне, ни тебе не место.  
Просыпается дом – многоокое божество –  
Выпускает, зевая, сумерки из подъезда.  
Двери капают. Лучше поберегись:  
боги – не по углу, одежда – не по погоде.  
Вместо лиц и речей остаются одни шаги,  
да и те уходят

Там в минувших пролётах – чёрный весенний ты,  
март щебечет ветвям, не дотеплев до листьев,  
и всё кажется, мир – попытка одной вражды  
с нерадивым собой, покинувшим закулисье.  
Там заря утопает в робости ветряной,  
наглотавшись морозов, облако цепенеет.  
Не ходи за дверь,  
сегодня побудь со мной.  
Я ещё весеннее. И ещё чернее

# «ЛИТМУЗЕЙ»

**МАРИЯ МИРОНОВА**

**ЛЮДМИЛА ТРУБИЦЫНА**

## ДНИ ИДУТ...»: МАРИНА ЦВЕТАЕВА В БОЛШЕВЕ

*Подмосковному Болшеву в судьбе Марины Цветаевой отведена была роль «узловой станции». Оно явилось одновременно и местом последней встречи семьи великого поэта, и местом последнего её распада, спровоцированного внешними силами, которым противостоять было невозможно. Спустя каких-то шесть лет из четырёх членов семьи Цветаевой – Эфронов в живых останется лишь один. В Болшеве их дороги сойдутся в последний раз и разойдутся навсегда, причём для троих – самой Марины Цветаевой, её мужа и сына – эти пути окажутся смертными.*

...Первым в Болшеве поселился Сергей Яковлевич Эфрон. В 1938 году он получил прописку на летней даче посёлка Новый быт, расположенного вблизи железнодорожной станции «Болшево». Это был, собственно, даже не посёлок, а дачный кооператив, основанный в 1925-м на территории площадью чуть более пяти с половиной гектаров. Ко времени приезда сюда Сергея Яковлевича кооператив состоял из 30 домов; и «новизна» их быта заключалась в том, что после первых лет революционной аскезы государство стало поощрять иных своих подданных такими вот казёнными дачами (часто – не на одну семью), где почти всё, включая мебель, имело ведомственную принадлежность, но в то же время свидетельствовало о привилегированном положении жильцов.

Для Сергея Яковлевича, впрочем, одна из этих дач (или, точнее, половина дачи) была постоянным жильём, дававшим надежду на приезд в СССР жены и сына, которые всё ещё находились во Франции. Границы между странами с 1937-го являлись одновременно границами между членами семьи Цветаевой – Эфронов, поскольку в этот год из Франции в СССР уехала Ариадна Сергеевна и практически бежал Сергей Яковлевич. Восторженные письма Али (Ариадны), работавшей в редакции журнала «Revue de Moscou» и воспринимавшей главным образом парадную сторону советской действительности, отлакированную мощным агитпропом, не могли обмануть её мать. В памяти Марины Ивановны была жива двуликая Москва времён НЭПа: «Она чудовищна. Жировой нарост, гнойник. На Арбате 54 гастрономических магазина: дома извергают продовольствие. Всех гастрономических магазинов за последние три недели 850... Люди такие же, как магазины: дают только за деньги. Общий закон – беспощадность. Никому ни до кого нет дела. Милый Макс, верь, я не из зависти, будь у меня миллионы, я бы всё же не покупала окороков. Всё это слишком пахнет кровью. Голодных много, но они где-то по норам и трущобам, видимость блистательна» (из письма М. Волошину 20 ноября 1921 года).

Уже за несколько лет до возвращения на Родину Цветаева хорошо осознавала, что её творчество в условиях советского режима не только не будет востребованным, но и, скорее всего, окажется в оковах. В 1932-м она писала А.А. Тесковой: «...Там мне не только заткнут рот непечатаемостью моих вещей – там мне их и писать не дадут». Такое ясное видение перспектив жизни в Советском Союзе не смогло в 1939-м удержать поэта в эмиграции. Побуждением к отъезду стало, с одной стороны, стремление расколотой семьи к воссоединению, с другой – абсолютная «чужеродность» Цветаевой в эмигрантской среде, особенно явная после преследований в прессе её бежавшего мужа – агента внешней разведки НКВД. Позднее, после ареста близких, в отчаянном обращении к Берии поэт напишет: «Причины моего возвращения на родину – страстное

устремление туда всей моей семьи: мужа – Сергея Эфрона, дочери – Ариадны Эфрон <...> и моего сына Георгия, родившегося за границей, но с ранних лет страстно мечтавшего о Советском Союзе. Желание дать ему родину и будущее. Желание работать у себя. II полное одиночество в эмиграции, с которой меня уже давным-давно не связывало ничто» (23 декабря 1939 года). Итак, эмиграция вытолкнула Цветаеву. Но приняла ли её по-матерински Родина?..

Болшево, так или иначе, стало пристанью, где Цветаева завершила своё «отплытие Марии Стюарт». Не она репала, где её бросить якорь. Она приехала в страну, в которой государственный строй выбирал за людей их место жительства, их образ жизни и образ мыслей. Русская поэзия, по выражению Л.К. Чуковской, села на скамью подсудимых.

Болшевская дача условно делилась на две половины, и соседями семьи Цветаевой – Эфронов были хорошо им известные ещё по эмиграции Клепинины. Участок своей северной границей подходил практически к железнодорожной линии; отсюда было удобно пройти к станции, с которой Аля ежедневно уезжала в Москву работать. На территории дачи росли сосны – в 1939-м ещё молодые, как и деревянный дом.

Несмотря на «новый быт» – по сути, коммунальный из-за общей для двух семей кухни и гостиной – дача воспринималась как «великолепная» и «чудесная». По крайней мере, именно такой вспоминала её Ариадна Сергеевна Эфрон в письмах из заключения. От Али, единственной уцелевшей, и от соседей, бывших в 1939-м детьми (в частности, от Софьи Николаевны Клепининой) мы знаем о жизни великого поэта в болшевский период.

Так, Ариадна Сергеевна отмечала, что Марина Ивановна приехала тихо; тихо встретилась с мужем, и вообще в ней была какая-то «величайшая, непривычная тишина», «осторожность кошки». Аля уточняет: «не то что осторожность – недоверчивость». А может быть, настороженность? Первые дни Цветаева ходила «как потерянная» – до того момента, как Аля привезла ей заказ от редакции журнала на перевод Лермонтова на французский язык. Работа, которой Цветаева всегда отдавалась страстно, если не оживила её, то, по крайней мере, на время придала ей недостающую опору. В РГАЛИ хранятся сейчас болшевские тетради поэта, заполненные аккуратным почерком.

Болшево представляется обычно трагическим, гибельным местом. Но таким оно стало после обысков и арестов. А предшествовал этому короткий светлый период, когда ещё не угасла (не погасили) радость встречи: «В Болшево у нас были хорошие вечера. Включали радио, смотрели привезённые мамой книги с иллюстрациями, слушали её рассказы про то время, что она провела без нас. Ложилась она спать поздно, зажигала настольную (подарок моего мужа) лампу, читала, грызла какое-нибудь “ублаженье”. Читала, склонив голову набок, немного прищурив левый глаз, и сама говорила, что похожа на деда (т.е. на своего отца) – он тоже так читал» (Ариадна Эфрон – Анастасии Цветаевой, письмо от 5 октября 1944 года).

Аля помнила, как в Болшево они с Мариной Ивановной ходили вместе гулять (вероятно, по территории дачного кооператива «Новый быт»), сидели на террасе или в саду, бесконечно разговаривали.

Но настороженность и тревожность всё же не покидали Цветаеву. Она, может быть, одна из всей семьи понимала, насколько несвободна в стране, где свобода провозглашена как главное достижение нового политического строя. Понимала, что, уехав с чужбины, на родину не попала, оставшись эмигранткой и здесь. Понимала, что связь с читателем невозможна: ведь в СССР от читателя требовались одобрение и аплодисменты (само собой, и поэзия должна была быть «правильной»), а не душевный и умственный труд (сотрудничество с поэтом), который давала высокая поэзия, не могущая быть ни социалистической, ни монархической, ни какой-либо иной, привязанной к политике. Своих стихов Цветаева в Болшево не писала, но читала вслух – «как на плахе», по описанию Д.В. Сеземана: «Она сидела на краю тахты так прямо, как только умели сидеть бывшие воспитанницы пансионов и институтов благородных девиц. Вся она была как бы выполнена в серых тонах: коротко стриженные волосы, лицо, папиросный дым, платье и даже тяжёлые серебряные запястья – всё было серым. Сами стихи меня смущали, слишком они были непохожи на те, которые мне нравились и которые мне так часто читала мать. А в верности своего поэтического вкуса я несколько не сомневалась. Но то, как она читала, с каким-то вызовом или даже отчаянием, производило на меня прямо магическое, завораживающее действие, никогда с тех пор мною не испытанное. Всем своим видом, ни на кого не глядя, она как бы утверждала, что за каждый стих она готова ответить жизнью, потому что каждый стих – во всяком случае, в эти мгновения – был единственным оправданием её жизни. Цветаева читала, как на плахе, хоть это и не идеальная позиция для чтения стихов» («Литературная газета», 1990, 21 ноября).

В наши дни, когда болшевская дача является мемориальным музеем Марины Цветаевой, в доме воспроизведена обстановка комнаты поэта. Ряд экспонатов – подлинники. Эту комнату воссоздавали, в частности, по описанию Ариадны Сергеевны: «Мамина комната в Болшево была небольшая, с большим четырёхугольным окном. Налево пружинный матрас на ножках, обитый коричневый материей, стенной шкаф, над постелью – книжные полки, стол – перед окном. Круглый столик в углу – оверь в нашу комнату (направо) <...> печь. Два стула, табуретка...».



За этот ад,  
За этот бред  
Пошли мне сад  
На старость лет.

На старость лет,  
На старость бед:  
Рабочих – лет,  
Горбатых – лет...

На старость лет  
Собачьих – клад:  
Горячих лет –  
Прохладный сад...

Болшево – при других обстоятельствах – могло бы стать для Марины Цветаевой таким садом. Не стало. В дневниковых записях 1940-го поэт записывает свои чувства 1939-го так: *«Постепенное щемление сердца. Мытарства по телефонам. <...> Живу без бумаг, никому не показываюсь. <...> Моё одиночество. Посудная вода и слёзы. Обертон – унтертон всего – жуть. Обещают перегородку – дни идут. Мурину школу – дни идут. П отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня: устоя».*

В этом мерном и жёстком «дни идут» – и тягостная зависимость от чужих решений (несвобода) в самых обыденных простых вопросах, и роковой ход времени: с Болшева начинается отсчёт последних лет, месяцев, дней, часов жизни поэта.

Марина Цветаева прожила здесь с 19 июня по 10 ноября 1939-го года. Её соседка, Нина Николаевна Клепинина, провидчески называла их общую дачу «домом предварительного заключения» – ДПЗ. По словам Софьи Николаевны Клепининой, в то время бывшей ребёнком, *«все понимали, что стихийное это бедствие, как лавина, может захватить каждого, оказавшегося на её пути. Более того – взрослые (а это всё население дома, кроме нас с Муром) были (я теперь это точно знаю) готовы к тому, что и им придётся разделить судьбу многих ни в чём не повинных людей, разве только повинных в чрезмерной любви к своей Родине. Ждали каждую ночь, хотя днём старались делать вид, что всё в жизни идёт как надо. Можете Вы представить себе ту атмосферу тревоги, напряжённости, страха, которую тщательно пытались замаскировать деловитостью, серьёзностью, занятостью?»* (Письмо к Анастасии Цветаевой, 16 мая 1982 года).

27-го августа 1939 года арестовали Ариадну Эфрон. Это был первый арест в болшевском доме после приезда сюда и третий в кругу родных и близких Цветаевой: младшая сестра Марины Ивановны Анастасия и её сын Андрей уже были репрессированы. Аля уезжала, не попрощавшись толком ни с кем; она верила, что скоро вернётся: *«Сквозь спущенное окно машины я махала рукой до того поворота. Они стояли на высокой террасе дачи, мама, папа, Мур, мой муж, наша приятельница Миля и те друзья, семья, которые жили с нами на даче. Мама стояла в синей кофте, в которой спала, в синей лисялой косынке, из-под которой белая прядь, очень бледное лицо. Голова высоко поднята, и глаза сощурены, чтобы лучше видеть. Губы прикушены»* (Из письма А.С. Эфрон – А.И. Цветаевой, без даты, середина 1940-х гг.).

Следующий удар обрушился на семью 10-го октября, когда здесь же, на даче, был арестован Сергей Яковлевич Эфрон. С детства болезненный, мягкий, чуть ли не нежный, он войдёт в число тех исключительных людей, которые так и не признают свою вину под тяжелейшим давлением следователей. И его гибель скажет о нём самом, может быть, больше, чем вся его жизнь.

Ещё месяц провели на даче Марина Ивановна и Мур. С 6-го на 7-е ноября последовали аресты в семье Клепининых. *«Мы <...> остались совершенно одни, доживали, топили хворостом, который собирали в саду. <...> На даче стало всячески нестерпимо, мы просто замерзли, и 10 ноября, заперев дачу на ключ <...>, мы с сыном уехали в Москву...»* (из обращения Марины Цветаевой к секретарю Союза писателей П.А. Павленко 27 августа 1940 года).

Для беглеца  
Мне сад пошли:  
Без ни-лица,  
Без ни-души!

*Сад: ни шажка!  
Сад: ни глазка!  
Сад: ни смешка!  
Сад: ни свистка!*

*Без ни-ушка  
Мне сад пошли:  
Без ни-душка!  
Без ни-души!*

*Скажи: довольно муки – нá  
Сад – одинокий, как сама.  
(Но около и Сам не стань!)  
– Сад, одинокий, как ты Сам.*

*Такой мне сад на старость лет...  
– Тот сад? А может быть – тот свет? –  
На старость лет моих пошли –  
На отпущение души.*

Болшевскую дачу Марина Ивановна посетила ещё несколько раз весной 1940-го – в надежде забрать оставшиеся там вещи. Оказалось, что дача взломана и занята, уцелели только книги. Дом по суду отошёл «Экспортглесу», и прописку в нём Цветаевой фактически аннулировали. Дальше были бесприютность, страшная война и – Елабуга. Следом за Мариной Ивановной погибли, каждый в свой срок, Сергей Яковлевич Эфрон и сын Георгий. Аля пройдёт все круги репрессий и выживет, приняв на себя миссию сохранить и систематизировать наследие своей великой матери.

...В 1982-м году местный житель Ю.А. Кошель после продолжительных поисков нашёл дачу Марины Цветаевой в Болшеве. Ровно через 10 лет, благодаря усилиям Н.И. Катаевой-Лыткиной, С.Н. Клепониной, Л.В. Охрименко и З.Н. Атрохиной, здесь создали музей. Ещё через 10 лет дача была признана памятником истории и поставлена на государственную охрану. Наконец, спустя ещё одно десятилетие болшевский дом отреставрировали и открыли в нём обновлённую музейную экспозицию.

Улица, в советское время разделившая дачный участок и долго чествовавшая Свердлова, теперь носит имя Цветаевой. Отсечённая часть дачной территории одновременно с завершением реставрации дома была включена в музейную зону как открытый Цветаевский сквер. Посетителей музея – так же, как когда-то хозяев дачи – встречают болшевские сосны.

...Проектированием сквера занималась ландшафтный архитектор Ирина Колина, взявшая за основу концепцию историка архитектуры, дизайнера Сергея Мержанова. Цветаевский сквер в его мемориальном статусе выражает главное значение Болшева как средокрестия всех жизненных дорог Марины Цветаевой и её семьи. От «сердцевинь», где планируется установить памятник поэту и её близким, расходятся символические пути к Москве, Тарусе, Александрову, Франции, Чехии, Елабуге, Ново-Талицам. Каждое направление завершается природным камнем, на котором крепится металлическая табличка со строками из стихотворений поэта. В сквере ежегодно проходит знаменитый Цветаевский костёр, и теперь здесь для него отведено особое место.

Однако труды по созданию музейной зоны не будут окончены, пока на месте закладного камня не будет установлен памятник великому поэту. И этот памятник также должен нести в себе болшевскую драму 1939-го: и вечное единство родных душ, и их вечную разлуку.

**ЗУЛЬФИЯ АЛКАЕВА****«ОСАННА ЧЕРЕЗ ГОЛГОФУ»**

\*\*\*

Я думаю про иловое ниловое,  
Про время, когда солнце апельсиновое  
Сочнее было раз, допустим, в пять  
И гениев земля могла рождать...

– Мы все из Африки, – открыл учёный муж, –  
Как Пушкин, соловей российских стуж.  
Мы все – вторые. Пушкин первым стал,  
Чтобы гордыни червь нас не сожрал,

Ценили чтобы русский свой язык,  
Хотя язык к нему как будто бы привык.  
Он – золото, и, может, серебро,  
То, что когда-то в Крыме залегло.

О, Пра! О, колыбелька-Коктебель!  
Пейзажей нереальных акварель.  
Я слышу, как звенит Маринин рай:  
– О, дай любви! Потом уж отбирай...

И найден был у моря сердолк.  
И рот к нему, как к яблоку, приник.  
Марина и Серёжа... Таял Крым,  
Предвосхищая роковой экстрим.

...Я помню про тарусско-парусиновое  
Про время, когда солнце апельсиновое  
Сочнее было раз, примерно, в пять  
И гениев земля могла рождать!

**СОН ПРО МАРИНУ И СОФЬЮ**

*...Как голову мою сжимали Вы,  
Лаская каждый завиток.  
Как Вашей брошечки эмалевой  
Мне губы холодил цветок...»*

*Марина Цветаева*

Ночь пахнула утром непочатым,  
И в тумане сна блеснула быль,  
Будто под ногами путь брусчатый,  
Будто не сегодняшняя пыль...



Маргарита с именем Марина  
К Мастеру шагает по плацу.  
А ему, нежнейшему, картинно  
Пиджаки особенно к лицу.

В дом его вошла и... опустилась,  
Как собака, на половичок.  
Яркою звездой любовь искрилась,  
А теперь – разменный пяточок.

Женщина с фигурой Бегемота  
Место Маргариты заняла.  
И часов знакомая икота  
Холодом смертельным проняла.

О, Марина мстит не понарошку!  
Взломан разом ящик «ночка ру»:  
– Соня! Брось эмалевую брошку,  
Брось в камин или предам костру

Нашу страсть и платьице из фая  
И стихов восторженных букет!  
– Милая! Пусть выгонят из рая –  
Не отдам любви безумной след!

– Эта брошка – клапан сердца, темя.  
Ты сожги её! – Убьёшь раба!  
– Нет, подружка, не меняет время  
Черепки сердец на черепа.

### 31 АВГУСТА

Осанна через Голгофу,  
Оксану и лай собак.  
Сквозь траур Помпей и Корфы  
К Нему, в золотой барак!..

Как тянет убийцу к месту,  
Как рвутся плоды к земле.  
Так выдать финал за фиесту  
Пытается пламя во мгле.

Не смейте впиваться в губы.  
Целуйте его в уста!  
Блестят августейшие зубы.  
Их мало, но стоят ста.

Как мудрый зуб, тридцать правый  
день хочет попасть к Отцу.  
Он скрючился, гвоздик ржавый,  
к цветаевскому концу.

## МИХАИЛ БАЛЬМОНТ

### БАЛЬМОНТ И ЦВЕТАЕВА: ОТ РОДОВЫХ ИСТОКОВ К БЕСКОРЫСТНОЙ ДРУЖБЕ

*К 100-летию знакомства*

М.И. Цветаева. «Если бы мне дали определить Бальмонта одним словом, я бы не задумываясь сказала: – Поэт.

Не улыбайтесь, господа, этого бы я не сказала ни о Есенине, ни о Мандельштаме, ни о Маяковском, ни о Гумилёве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было ещё что-то, кроме поэта в них. Больше или меньше, лучшее или худшее, но – ещё что-то. Даже у Ахматовой была – отдельно от стихов – молитва.

У Бальмонта, кроме поэта в нём, нет ничего. Бальмонт: поэт: адекват». И далее: «На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда – поэта»...

«Я часто слышала о Бальмонте, что он – высокопарен.

Да, в хорошем, корневом, смысле – да.

Высоко парит и снижаться не желает. Не желает или не может? Я бы сказала, что земля под ногами Бальмонта всегда приподнята, т. е.: что ходит он уже по первому низкому небу земли...

Когда Бальмонт в комнате, в комнате – страх.

Сейчас подтверждаю.

Я в жизни, как родилась, никого не боялась.

Боялась я в жизни только двух человек: Князя Сергея Михайловича Волконского – и Бальмонта.

Боялась, боюсь – и счастлива, что боюсь.

Что значит – боюсь – в таком свободном человеке, как я?

Боюсь, значит – боюсь не угодить, задеть, потерять в глазах – высшего. Но что между Кн. Волконским и Бальмонтом – общего? Ничего. Мой страх. Мой страх, который есть – восторг...

Бальмонт – помимо Божьей милостью лирического поэта – пожизненный труженик.

Бальмонтом написано: 35 книг стихов, 20 книг прозы.

Бальмонтом, со вступительными очерками и примечаниями, переведено:

Эдгар По – 5 томов – 1800 стр<аниц>

Шелли – 3 тома – 1000 стр<аниц>

Кальдерон – 4 тома – 1400 стр<аниц>

– и оставляя счёт страниц, простой перечень: Уайльд, Кристоф Марло, Лопе де Вега, Тирсо де Молина, Шарль-Ван-Лерберг, Гауптман, Зудерман, Иегер “История Скандинавской Литературы” – 500 стр<аниц> (сожжена русской цензурой и не существует) – Словацкий, Врхлицкий, грузинский эпос Руставели “Носящий Барсову Шкуру” – 700 стр<аниц>, Болгарская поэзия – Славяне и Литва – Югославские народные песни и былины – Литовские поэты наших дней – Дайны: литовские народные песни, Океания (Мексика, Майя, Полинезия, Ява, Япония) – Душа Чехии – Индия: Асвагоша, Жизнь Будды, Калидаса, Драмы. И ещё многое другое.

В цифрах переводы дают больше 10000 печатных страниц. Но это лишь – напечатанное. Чемоданы Бальмонта (старые, славные, многострадальные и многославные чемоданы его) – ломаются от рукописей. И все эти рукописи проработаны до последней точки.

Тут не пятьдесят лет, как мы нынче празднуем, тут сто лет литературного труда».

Я привёл Вам лишь некоторые, на мой взгляд, наиболее эмоциональные отрывки из произнесённого М. Цветаевой 24 апреля 1936 года большого «Слова о Бальмонте» на вечере в Париже, посвящённом 50-летию творческой деятельности поэта. А рассказано это ей так подробно, чтобы побудить литературный цвет русской эмиграции материально помочь поэту.

«Господа! Годы пройдут. Бальмонт – литература, а литература – история.

И пусть не останется на русской эмиграции несмываемого пятна: равнодушно дала страдать своему большому большому поэту». Так закончила М. Цветаева своё выступление.

Цветаева и Бальмонт. Многолетняя, бескорыстная и сердечная дружба между поэтами уже давно изучена и исследована. Приведу здесь лишь 2 самые существенные, на мой взгляд, и полные работы. Ещё в 1992 году в журнале «Звезда» (№10, с. 180-187), целиком посвящённом 100-летию со дня рождения М. Цветаевой, известный литературовед К.М. Азадовский поместил большое и очень подробное исследование истории их знакомства. В 2014 году исследователь Т.В. Петрова в альманахе «Солнечная пряжа» (№8, с. 42-50) в статье «...Ветви сплелись, лес любви», параллельно прочтя «Записные книжки» М. Цветаевой, воспоминания Ариадны Эфрон и автобиографическую прозу Бальмонта, показала более полное и объективное представление о характере их отношений.

Сегодня я хочу как можно полнее проиллюстрировать их отношения, причём, их собственными словами.

Из письма Бальмонта Е.К. Цветковской от 14 июня 1916 года известно, что Бальмонт, приехав в Москву из Санкт-Петербурга, 13 июня 1916 года вместе со своим другом Владимиром Оттоновичем Нилендером, пришёл в гости к М. Цветаевой. Исследователи называют эту дату первой встречей поэтов.

Действительно ли это была их первая встреча, я, несмотря на все исследования, утверждать не могу. Судите сами о внимании М. Цветаевой к жизни и творчеству Бальмонта.

По имеющимся и известным на сегодня сохранившимся документам видно, что М. Цветаева уже с 15 лет серьёзно интересовалась творчеством К. Бальмонта. Так, на продававшейся в 2014 году с аукциона в Москве в Доме антикварной книги «В Никитском» книги Бальмонта «Будем как Солнце» (М., 1903) на авантитуле рукой М. Цветаевой написано: «М. Цветаева, Москва, весна, 1908 г.». На некоторых страницах пометы рукой Марины Цветаевой. В трёх хранившихся в МК РГБ, собранными в один переплёт, первых томах «Полного собрания стихотворений» (М., Т. 1-3, 1908) К.Д. Бальмонта (из библиотеки М. Цветаевой с её инициалами «МЦ») рукой Цветаевой отмечено 44 стихотворения в 1-м томе, 14 – во 2-ом, 27 – в 3-м. Рядом со стихотворением «Однодневка», посвящённом Мирре Лохвицкой, на полях рукой М. Цветаевой записано полностью стихотворение Лохвицкой «Лионель». На первом томе автограф М. Цветаевой вырезан, а на втором и третьем томе сохранился, соответственно «М. Цветаева / Москва, 13 февраля 1910 г.» и «Марина Цветаева / Москва, 5-го мая 1910 г. / (день появления кометы Галлея / и «алгебраического экзамена»).

Ариадна Эфрон позднее напишет: «Ни о ком – разве что о первых киноактёрах! – не слогалось до революции столько легенд, сколько рождалось их о Бальмонте, баловне поэтической моды. И юной Цветаевой он казался существом мифическим, баснословным».

Известно, что с М. Волошиным Цветаева познакомилась в конце 1910 года и, подружившись с ней, он ей впоследствии много и подробно рассказывал о своём друге К. Бальмонте и даже дарил его «картинки».

В 2-х письмах, из 21 опубликованного письма М. И. Цветаевой к М. А. Волошину, хранившихся в Рукописном отделе Пушкинского Дома, имеются упоминания о Бальмонте. В постскриптуме письма от 23-го марта 1911 г.: «Можно ли утешаться фразой Бальмонта: “Дороги жизни богаты? Можно ли верить ей? Должно ли?”». В письме от 3-го ноября 1911 г.: «Над моей постелью все твои картинки. Одну из них, – помнишь, господин с девочкой на скамейке? – я назвала “Бальмонт и Ниника”. Милый Бальмонт с его “Vache” и чайными розами!».

В своём стихотворении 1913 г., посвящённом Майе Кювилье, М. Цветаева, в частности, также называет Бальмонта:

*Макс Волошин первый был,  
Нежно Майенку любил,  
Предприимчивый Бальмонт  
Звал с собой за горизонт...*

В творчестве в 1915 году произошло их личное литературное пересечение на страницах журнала «Северные записки» (№1), где были опубликованы стихи М. Цветаевой «Байрону» и «Генералам 12-го года» и ряд «Индийских стихов» К. Бальмонта («Гимны к Агни» и др.).

Вернувшись в Москву в мае 1921 г. после 4-х лет отсутствия, А. Цветаева разговаривает с сестрой: «Да, Марина! Я хотела тебя спросить: так ты дружишь с Бальмонтом? Разве можно было подумать когда-то, после первого его прихода, когда мы притворились дурочками! Нет, именно тогда уже можно было понять, что друг. Помнишь, он уходя сказал своим мяукающим голосом: “В этот дом я буду приходить...” Очаровательный человек! Умилительный. Ни в чём ни на кого не похожий. Рыцарь!» (Анастасия Цветаева. Воспоминания. М., 1984, с. 593).





Подытоживая изложенное, я думаю, что так по-доброму относиться, отзываться и подробно изучать можно только человека, лично знакомого. Воспоминания А. Цветаевой без даты, но говорят о том, что это знакомство состоялось раньше 1916 года – я слабо верю, что две замужние женщины в возрасте почти 24-х и 22-х лет и имеющие своих детей в присутствии как минимум В.О. Нилендера «притворились дурочками» перед уже всемирно известным и незнакомым с ними поэтом?

Теперь об их бескорыстной дружбе. Бальмонт и Цветаева жили рядом, в районе Арбата: Бальмонт снимал квартиру в Большом Николопесковском переулке, 15, а дом Цветаевой находился в Борисоглебском переулке, 6. Они бывали друг у друга, навещали вдову композитора Скрябина, у которой собирался кружок людей, причастных к искусству. «Жили Бальмонты в двух шагах от Скрябиных, – вспоминала Ариадна Эфрон, – и неподалеку от нас... Зайдёшь к ним – Елена вся в саже, копошится у сопротивляющейся печурки. Бальмонт пишет стихи. Зайдут Бальмонты к нам – Марина пишет стихи. Марина же и печку топит».

Бальмонт был слабо приспособлен к житейским трудностям, а жизнь становилась всё тяжелее. Цветаева то и дело приходила к нему на помощь, хотя сама испытывала не меньшие лишения. Об этом поэт вспоминал с признательностью: «В голодные годы Марина, если у ней было шесть картофелин, приносила мне три». А в очерке «Где мой дом», вошедшем в книгу под тем же названием, писал: «... всё-таки мороз красив. Я весело иду по Борисоглебскому переулку, ведущему к Поварской. Я иду к Марине Цветаевой. Мне всегда так радостно с нею быть, когда жизнь притиснет особенно немилосердно. Мы шутим, смеёмся, читаем друг другу стихи. И, хоть мы совсем не влюблены друг в друга, вряд ли многие влюбленные бывают так нежны и внимательны друг к другу». Он относил Цветаеву к тем немногим людям, к которым его «душевное устремление» было так же сильно, как «остра и велика радость от каждой встречи с ними».

В свою очередь, Цветаева вспоминала: «Бальмонт всегда отдавал мне последнее. Не только мне, всем. Последнюю трубку, последнюю корку, последнее полено. Последнюю спичку. И не из жалости, а из великодушия. Из врождённого благородства... Поэт не может не дать. Но ещё меньше он умел брать». И ещё: «С Бальмонтом мы, игрой случая, чаще делили тяготы, нежели радости жизни, – может быть, для того, чтобы превратить их в радость?».

Критик Георгий Адамович писал: «С Бальмонтом у Цветаевой было мало схожего в литературных приёмах, в стиле, во внешнем облике поэзии, но кое-что их объединяло. Оба неизменно давали понять, что, в качестве поэтов, они – люди особенные, и что “среди лицемерных наших дел и всякой пошлости и прозы” говоря словами Некрасова, им жить и трудно, и скучно. Не случайно Цветаева любила Бальмонта и отзывалась о нём в самых хвалебных выражениях даже в те годы, когда поэзия его перестала уже кого-либо интересовать».

Объединяет этих двух поэтов-современников также то, что оба принадлежат к плеяде выдающихся русских романтиков XX столетия. Они сыграли огромную роль в поэзии Серебряного века – только, как верно было подмечено П.В. Куприяновским и Н.А. Молчановой, «Бальмонт был одним из зачинателей этой поэзии, а Цветаева завершила её». И хотя она считала, что не принадлежит ни к одному литературному направлению, всё же её творчество сформировалось на основе произведений предшествующих литераторов. И дружба с Бальмонтом держалась не только на личной приязни, душевном расположении, но и на понимании каждым из них ценности и яркой творческой индивидуальности другого.

Марина Цветаева нежно любила Константина Дмитриевича как поэта и как человека – ей дорог был в нём образ уходящей расы, невозвратного поколения отцов. Дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон, в своих воспоминаниях «Страницы былого» пишет: «Как возникла дружба Марины с Бальмонтом – не помню: казалось, она была всегда; затем уточняет, что такая бесконечная дружба, «столь длительная, без срывов и спадов», вообще-то не была свойственна её матери; Бальмонт был исключением. Они оба были «максимальным выражением самих себя» – но в то же время «разностихийность, разномасштабность, разноглубинность их творческой сути была столь очевидна, что начисто исключала самую возможность столкновений: лучшего, большего, сильнеешего Марина требовала только от родственных ей поэтов».

В конце 1917 года Цветаева возвращается в Москву и происходит постоянное, тесное общение с Бальмонтом. Они встречались у общих знакомых (Гольдовских, Фельдштейна, Цетлиных), на различных поэтических вечерах и встречах.

В конце 1919 года М. Цветаева подарила Бальмонту своё стихотворение.



## БАЛЬМОНТУ

*Пышно и бесстрастно вянут  
Розы нашего румянца.  
Лишь камзол теснее стянут:  
Голодаем как испанцы.*

*Ничего не можем даром  
Взять – скорее гору сдвинем!  
И ко всем гордыням старым –  
Голод: новая гордыня.*

*В вывернутой наизнанку  
Мантии Врагов Народа  
Утверждаем всей осанкой:  
Луковица – и свобода.*

*Жизни ломовое дышло  
Спеси не перешибило  
Скакну. Как бы не вышло:  
– Луковица – и могила.*

*Будет наш ответ у входа  
В Рай, под деревцем миндальным:  
– Царь! На пириестве народа  
Голодали – как гидальго!*

Ноябрь 1919

Когда в июне 1920 г. Цветаева пришла на день рождения к Бальмонту, в записной книжке она сделала такую запись: «Пирог у Бальмонтов. – 53 года. – Бальмонт безумно торопится к Луначарскому, огорчает Елену <...>»; круг его знакомств весьма ограничен – поэт А. Кусиков («Сандро») «да мы с Алей», отмечая, что это и есть друзья поэта: «Каждодневные, – верные, из тех, к[отор]ых в любую минуту вступишь в комнату. Потом – потом вся Москва». А через 5 дней, 22 июня, во вторник – новая пронзительная запись: «Сегодня должны были уехать Б[альмон]ты, не уехали, эстонское правительство не пустило. Все эти вечера – проводы, третьего дня у Сандро, вчера у Скрыбиных, дрожание над каждой минутой, разрывание души...». И далее – невыразимая горечь: с отъездом поэта за границу «для меня кончается Москва. – Пустыня. – Кладбище. – Я давно уже чувствую себя тенью, посещающей места, где жила...».

А. Саакянц так писала о взаимоотношениях поэтов: «С годами виделись всё реже, но дружба оставалась верной и нежной. О Бальмонте трогательные цветаевские записи в тетрадах; он, в свою очередь, вспоминал о том, что когда у Марины в доме оставалось 6 картофелин, три она приносила ему. Цветаева находилась ещё в Москве, когда Бальмонт уже приветствовал её из Парижа со страниц “Современных записок”, вспоминая их дружбу в тяжкие московские годы, – а главное, предварял её стихотворения, которые сам же устроил в журнал».

На своём сборнике «Марево», посланном Цветаевой в Прагу, Бальмонт сделал такую надпись: «Любимой сестре Марине Цветаевой с голосом певчей птицы. 1922, сентябрь. Бретань».

Цветаева и Бальмонт встретились после долгой разлуки лишь в конце 1925 года в Париже. И, несмотря на то, что поэт в те годы больше был вне города, предпочитая жить и работать на океанском побережье, их встречи и помощь друг другу стали более частыми.

М. Цветаева писала о К. Бальмонте неоднократно. «К тридцатипятилетию поэтического труда» на страницах журнала «Своими путями» (1925), в статье «Герой труда» (1925), в 1936 году на вечере, посвящённом 50-летию творческой деятельности поэта, читала эссе «Слово о Бальмонте». «То, что он, уже больной, говорил прошлую Пасху о пасхальной заутрене, у которой мы семь лет подряд стояли с ним, плечо с плечом, невмещённые в маленькую Трубецкую домашнюю церковь, в большом саду, в молодой

листве, под бумажными фонарями и звёздами... – то, что Бальмонт, уже больной, говорил о Пасхе, я никогда не забуду».

«Бальмонту. (К тридцатипятилетию поэтического труда).

Дорогой Бальмонт!

Почему я приветствую тебя на страницах журнала «Своими путями»? Пленённость словом, следовательно – смыслом. Что такое – своими путями? Тропинкой, вырастающей под ногами и зарастающей по следам: место не хожено – не езжено, не автомобильное шоссе роскоши, не ломовая громыхалка труда, – свой путь, без пути. Беспутный! Вот я и дорвалась до своего любимого слова! Беспутный – ты, Бальмонт, и беспутная – я, все поэты беспутные, – своими путями ходят. Есть такая детская книжка, Бальмонт, какого-то англичанина, я её никогда не читала, но написать бы её взялась: – «Кошка, которая гуляла сама по себе». Такая кошка – ты, Бальмонт, и такая кошка – я. Все поэты такие кошки.

Юбилей Бальмонта во «Дворце искусств». Речи Вячеслава и Сологуба. Юбилярам (пошлое слово! заменим его триумфатором) – триумфаторам должно приносить дары, дарю тебе один вечер твоей жизни – пять лет назад – 14-го мая 1920 г. – твой голодный юбилей в московском «Дворце искусств».

Потом я с адресом «Дворца Искусств», – «От всей лучшей Москвы»... И – за неимением лучшего – поцелуй. (Второй в моей жизни при полном зале!)

P.S. Милый Бальмонт! Не заподозри меня в перемене фронта: пишу по-старому, только печатаюсь по-новому.

М.Ц. Прага, 2-го апреля 1925 г.».

В своих суждениях Цветаева была и критична – в частности, говорила о «нерусскости» поэзии Бальмонта: «В русской сказке Бальмонт не Иван-Царевич, а заморский гость, рассыпающий перед царской дочерью все дары жары и морей. У меня всегда чувство, что Бальмонт говорит на каком-то иностранном языке, каком – не знаю, бальмонттовском».

В последний раз М. Цветаева встречает его – «старого безумного поэта с женою» – в июне 1939 года, за несколько дней до своего отъезда из Франции. Вернувшись в Москву, она находит Екатерину Алексеевну, жену Бальмонта, рассказывает ей о его жизни, дарит его фотографию, сделанную ей в Медоне (сейчас аналогичная фотография храниться в московском музее М. Цветаевой). К.Д. Бальмонт умер 23 декабря 1942 года в оккупированном фашистами городке Нуази-ле-Гран под Парижем, ничего не зная о трагедии в Елабуге.

В своём письме О.Е. Черновой-Колбасиной 29 февраля 1925 г. М. Цветаева, в частности, писала: «...связана с ним (*с Бальмонтом – М.Б.*) почти родственными узами», а узы эти, по моему мнению, идут с общей родины их предков – с шуйской земли. В «Истории одного посвящения» она писала: «Из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. Священнический... оттуда мои поэмы по две тысячи строк и черновики к ним – в двадцать тысяч... Оттуда – сердце... несущее меня в гору две версты подряд... Пешее сердце всех моих лесных предков от деда Владимира... Оттуда (село Талицы), где я ни разу не была, оттуда – всё».

Сейчас ещё документально не установлено время и место рождения её деда Владимира Васильевича (ориентировочно – 1818 г.), но в то время его родители жили в Шуе и отец Василий Петрович Цветаев, с кого собственно начался этот род Цветаевых, служил дьяконом в Спасской церкви города.

Небольшое село Дроздово Шуйского уезда, с 1974 г. официально несуществующее, вошло в большую историю благодаря счастливому стечению обстоятельств, произошедших в середине XIX века. В настоящее время от села остался лишь Воскресенский храм, сельское кладбище, большой пруд и часть кирпичного остова земской школы...

«Село Дроздово, при колодцах, от уездного города находится в 9 верстах, от губернского во 117 верстах». «В 1859 г. число дворов 31 – число жителей муж. – 73, женщ. – 73». Церковь в Дроздове существовала с незапамятных времён. Уже 500 с лишним лет назад здесь был деревянный Воскресенский храм. В XVIII веке в селе появился второй храм, также деревянный – во имя Покрова Пресвятой Богородицы.

К началу XIX столетия обе церкви «пообветшали», и прихожане по благословению владимирского епископа Ксенофонта принялись за возведение каменной церкви в честь Воскресения Христова. «Строителем» (т.е. ответственным за строительство) церкви на приходском сходе был избран местный помещик титулярный советник Иван Тимофеевич Болотников. Интересно отметить, что его сын Пётр Иванович

Болотников (1801–1829) был женат на Клавдии Ивановне, которая после смерти мужа во втором браке вышла замуж за К.И. Бальмонта. Вероятнее всего, что первой из семейства Бальмонтов посетила село Дроздово именно Клавдия Ивановна.

Воскресенский храм строился в основном на деньги крестьян с. Дроздово и окружающих деревень прихода, поэтому строительство длилось достаточно долго – около 15 лет. Освящение храма состоялось в октябре 1821 г. Эту почётную миссию по благословению архиерея выполнил благочинный священник г. Шуи о. Иоанн Флоринский. Храм был освящён во имя Воскресения Христова, а в зимней церкви был устроен Покровский придел.

Основной объём храма образован двухъярусным четвериком 5х5 саженей; храм был увенчан высоким пятиглавием с центральным световым барабаном и четырьмя «ложными» барабанами по углам. Важной частью храмовой композиции являлась тридцатиметровая трёхъярусная колокольня с купольной кровлей и шпилем. Вокруг храма была построена каменная ограда с красивыми арочными воротами.

В 1820-1830-е г.г. в приходе Воскресенской церкви, кроме села Дроздово, было 13 деревень. «Причта по штату положено: священник и псаломщик – годовой доход причта не превышает 580 р.». Подавляющее число прихожан относилось к крестьянскому сословию, также имелось несколько семей мещан и одна дворянская семья. Барский дом находился в самом селе, рядом с домами церковного причта. Хозяевами дома была семья дворян Небольсиных, здешних помещиков.

В 1840 г. усадьба Небольсиных была куплена штабс-капитаном Константином Ивановичем Бальмонтом (1802-1844), дедом поэта. Он жил здесь четыре года вместе со всей семьёй: женой Клавдией Ивановной, сыном Дмитрием (отцом поэта), дочерьми Александрой и Екатериной. В этом доме в семье К.И. Бальмонта родилось ещё трое детей: Людмила (1842), Елена (1843) и Николай (1844). Николай прожил менее года и похоронен на дроздовском погосте.

Первоначальное знакомство семейства Бальмонтов с селом Дроздово происходило, безусловно, при непосредственном участии их соседа – местного священника Архипа Побединского, служившего здесь с самого начала XIX века. Отец Архип был уже в годах и по состоянию здоровья в 1841 г. ушёл за штат. Духовное начальство на его место в августе назначило молодого священника, вчерашнего выпускника Владимирской духовной семинарии, только что женившегося Владимира Васильевича Цветаева.

Бальмонты и Цветаевы были в Дроздове соседями, без сомнения, часто встречались и общались, тем более что В.В. Цветаев был единственным священником в селе, семья Бальмонтов ходила на службу в церковь, исповедовалась у о. Владимира. Дружеские отношения священника В.В. Цветаева и помещика К.И. Бальмонта подтверждаются тем фактом, что Константин Иванович был восприемником (то есть крёстным) второго сына Владимира Васильевича Цветаева и Бальмонты фактически породнились на дроздовской земле, так как духовное родство (через участие в крещении ребёнка) тогда являлось не менее значимым, чем кровное.

Константин Иванович прожил в Дроздове недолго: 19 декабря 1844 г. он скоропостижно скончался «от простуды и горловой чахотки». Отпевал его о. Владимир Цветаев. Похоронен К.И. Бальмонт был у алтаря Воскресенского храма. На могиле родственники установили мраморную (по другим данным, чугунную) плиту, которая в 1920-е г.г. была украдена.

После 1844 г. Бальмонты жили в Дроздове лишь периодически. Затем дроздовская усадьба некоторое время была местом жительства Марии Петровны Болотниковой (дочери Клавдии Ивановны от первого брака). 30 июля 1854 г. в Воскресенском храме состоялось венчание Александры Константиновны Бальмонт (старшей дочери К.И. Бальмонта) и Ивана Ивановича Титова, старшего чиновника особых поручений при владимирском губернаторе. Несколько лет семья Титовых проживала в дроздовской усадьбе.

После отмены крепостного права дом Бальмонтов сначала пустовал, а с 1881 г. там располагалось земское народное училище. Но связь Бальмонтов с селом Дроздово полностью не обрывалась. Дети навещали могилу К.И. Бальмонта и посещали местный Воскресенский храм. Дроздовское духовенство, в свою очередь, не забывало своих бывших помещиков-прихожан. Например, 15 августа 1889 г. состоялся крестный ход из Дроздова в гумнищинскую усадьбу Бальмонтов. В Пасхальную неделю 4 апреля 1890 г. «пожертвовано 2 руб. у Бальмонта».

Цветаевы уехали из Дроздова в Талицы в 1853 г. За 12 лет служения перей Владимир Цветаев оставил о себе добрую память среди прихожан. Его усилиями была обновлена деревянная кладбищенская церковь. Каменный Воскресенский храм, покрытый тёсом, он перекрыл железом. В этой же церкви были переделаны полы, обновлены иконостасы и церковная утварь. Большой 45-пудовый колокол он заменил на ещё больший – весом в 102 пуда 30 фунтов (около 1800 кг).

Здесь, в Дроздове, в семье Цветаевых родились шестеро детей (из которых двое умерли в младенчестве и похоронены на сельском кладбище):

- Пётр (22.06.1842), священник в Шуйском уезде, продолжатель дела отца;
- Николай (1843–1847);
- Александра (1845–1846);
- Иван (04.05.1847), профессор Московского университета, директор Публичного и Румянцевского музеев в Москве, основатель и первый директор Музея изящных искусств на Волхонке (ныне Музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина);
- Фёдор (29.08.1849), заслуженный учитель словесности в Шуе, затем в Москве;
- Дмитрий (30.01.1852), профессор Варшавского университета, доктор русской истории, управляющий Московским архивом министерства юстиции (ныне Российский Государственный архив древних актов).

В.В. Цветаев не забывал о Дроздове, о местах, где прошли его первые годы пастырского служения, где родился его сыновья. Известно, что в 1878 г. он пожертвовал в дроздовский храм государственный пятипроцентный билет номиналом в 100 рублей. После смерти Владимира Васильевича кто-то из его детей (вероятно, старший Пётр) несколько раз жертвовал деньги «за годичное поминовение родителей – перья Владимира и Екатерины»...

Храм во имя Воскресения Христова закрывался во время Великой Отечественной войны, в 1946 г. был открыт вновь. Прослужил храм людям ещё полтора десятилетия, пока в 1961 г. не был закрыт окончательно (как тогда казалось). В конце 1960-х Дроздово стало «неперспективным» и судьба его была предрешена. В 1974 г. Дроздово официально перестало существовать.

Сначала в храме располагался склад, а потом церковь и вовсе была брошена. Разрушалась она потихоньку ветрами и дождями, а в особенности варварами. В 1997 г. была первая попытка его восстановления. Был частично обустроен тёплый придел церкви, восстановлена крыша на этой части. Через несколько лет храм опять стал бесхозным. В 2014 г. возникла новая надежда на возрождение Дроздова, уже не как села, но хотя бы как памятника истории и культуры. В настоящее время же закончены восстановительные-ремонтные работы на Воскресенском храме, завершился ремонт колокольни. В том же году восстановлен надгробный памятник К.И. Бальмонту, близ храма установлен восьмитонный памятный камень с мемориальной доской: «Здесь, в бывшем селе Дроздово, родился и жил Иван Владимирович Цветаев (16.05.1847-12.09.1913), основатель московского Музея изящных искусств (ныне музей имени А.С. Пушкина), отец Марины и Анастасии Цветаевых». И хотя данный текст далеко не идеален и не отражает всего наследия Цветаевых, но важный шаг в восстановлении исторической справедливости сделан. Пришло время собирать камни и восстанавливать узы...

За предоставленные материалы особенно благодарю Т.С. Петрову и Е.С. Ставровского.

3.09.2016 г.

## АНДРЕЙ КРАЕВСКИЙ

### ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ-СИМВОЛИСТЫ: КОНСТАНТИН БАЛЬМОНТ И ЗИНАИДА ГИППИУС

Всего в нескольких километрах к юго-западу от города Шуи расположено крошечное сельцо Гумнищи, о котором не только в мире, но и в России никто никогда бы не узнал, если бы в тридцатые годы XIX века это сельцо не приобрёл морской офицер Константин Бальмонт. Его потомки владели Гумнищами на правах усадьбы вплоть до революции 1917 года. Наиболее известным внуком морского офицера был его третий по возрасту внук-тёзка Константин Дмитриевич Бальмонт, великий русский поэт. На родине поэта в Гумнищах о нём знал только один человек – столько осталось жителей в бывшем сельце по переписи 2010 года. Так вот распорядилось безжалостное время: зато о Константине Дмитриевиче Бальмонте, родившемся в Гумнищах 3 июня 1867 года знает теперь весь мир. Его стихи и переводы невозможно спутать ни с какими другими, даже созданными его коллегами по символизму. А сельцо, в котором родился поэт, разделало участь сотен, если не тысяч отечественных сельских поселений, которые после Великой Отечественной войны на глазах одного поколения превратились в кладбище домов на месте когда-то живых деревень и сёл.



Надо признать, что и при Бальмонтах Гумнищи имели не более десяти дворов – крошечное сельцо во Владимирской губернии. Да и сами Бальмонты жили в доме, только по размерам и качеству выделявшемся на фоне крестьянских изб. Отец – земский деятель второй половины XIX века и мать – женщина большого количества художественных дарований и высокой культуры – они формировали у будущего поэта не только мировоззрение, но и миропонимание. Пятилетний Костя самостоятельно научился читать, глядя, как мать учит грамоте старшего брата. В награду за подобное достижение, мальчик получил в подарок от отца книгу об экзотических странах и народах. Несмотря на увлечённость дальними странами, у Константина на всю жизнь сохранилась любовь к нетронутой русской природе, что окружала его первые годы жизни в Гумищах. Что это было за время! Поэт много позже, став прижизненным классиком поэзии, не раздумывая утверждал, что «... Моими лучшими учителями в поэзии были – усадьба, сад, ручьи, болотные озёрки, шелест листвы, бабочки, птицы и зори... Красивое малое царство уюта и тишины».

Отправляясь с отцом на охоту, которую они очень любили, Константин представлял, как из средне-русской полосы он переносится вместе с отцом в тропические и экваториальные леса Океании, беспшумно движется, выслеживая тигра или крокодила, стараясь при этом схорониться от воинственных аборигенов. Какой богатый воображаемый мир рождался в воображении ребёнка! Какие внезапные образы озаряли его, ступавшего по тропинкам дубравы или соснового бора! Мать его, Вера Николаевна, знавшая несколько иностранных языков, театральное искусство, литературу и поэзию, а также музыку и историю, оказала сильное влияние на сына, подготовив его к тому творческому взлёту, в результате которого на поэтическом небосклоне России появилась новая звезда! И вот в этой деревушке в десять домов, при которой находилась небогатая усадьба Бальмонтов – стоял старый дом, вокруг которого был разбит тенистый сад. Вера Николаевна ухаживала за садом, формируя в нём так называемый Новый сад, своеобразное дополнение к Старому, доставшемуся морскому офицеру Константину Бальмонту от прежних владельцев усадьбы Болотниковых.

Вера Николаевна, как уже говорилось, была женщиной многих незаурядных достоинств и самых разнообразных интересов. А уж как она применяла и использовала своё духовное богатство – можно рассказывать бесконечно. Устраняла домашние спектакли, литературные вечера, занималась переводами, печатала в газетах свои литературные опусы и пассажи. Неудивительно, что сын её Костя, наиболее чувственный и экспрессивный из всех её сыновей, именно через неё постиг «красоту женской души». Дочь полковника Лебедева (до брака с Дмитрием Бальмонтом), словно заранее знала, что от неё потребуется, когда у неё появится третий сын – накапливала и развивала в себе такие качества, которыми необходимо будет поделиться с сыном, будущим поэтом. Именно мать, Вера Николаевна, передала Константину «необузданность и страстность», весь свой, как позже говорил поэт «душевный строй». Подобных ей женщин поэты редко встречают на своём пути, ещё реже – находят. А Бальмонту повезло, как никому другому – такая женщина его родила!

Как часто в жизни происходит, что люди порою не ценят, или слишком поздно начинают ценить то, что Богом им даровано – жизнь прошла, одни руины у ног и пепелище вокруг: и только тогда наступает переосмысление ценностей. Увы, подобная участь многих, ничего не оставивших после себя потомкам, людей незаурядных, талантливых, но «не зажжённых» неким ближним мистическим пиротехником! К счастью для Константина Дмитриевича Бальмонта и для почитателей его уникального гения, с ним ничего подобного не произошло – у него была мать, Вера Николаевна! Он вышел из неё, как Герцен с Огарёвым из декабристов, как Роберт Рождественский из Маяковского – абсолютно осознавая генетическое родство и благодатность той почвы, на которой он вырос и которой он подпитывался. Великий русский поэт и литератор Константин Бальмонт знал свои творческие корни и понимал их значимость для своей деятельности. Хотя, признаться, не всегда следовал наставлениям Веры Николаевны до конца. У него была своя дорога со своими станциями пересадок, со своими спутниками, с неведомыми матери достопримечательностями. Когда Костя пошёл учиться в первый класс, семья из усадьбы Гумнищи переехала в Шую, где заняла небольшой дом. Не успел мальчик отучиться три года, как с ним случилось... А случилось то, чему он посвятил всю свою последующую жизнь: он стал сочинять стихи. «В яркий солнечный день они возникли, сразу два стихотворения, одно о зиме, другое о лете» – вспоминал Бальмонт позже о своём рождении в поэзии.

Нет ничего удивительного в том, что тематика стихов имела именно «природный» характер – мы уже знаем, какое место в душе и внутреннем мире мальчика занимали лесные пейзажи на водоразделе речек Сельни и Тюних, что протекают в непосредственной близости от Гумнищ, Старый и Новый сад, превратившиеся стараниями Веры Николаевны в живописный романтический усадебный парк. Этот свой

заветный сказочный мир Костя попытался выразить в стихах... Мать раскритиковала первые поэтические начинания сына, опасаясь, что увлечение стихосложением в десятилетнем возрасте может привести к не редко повторяемому результату: её сын пополнит армию пошлых и безликих графоманов. Обладавшая тонким и безошибочным художественным вкусом, Вера Николаевна желала совсем иной судьбы для Кости. Слава Богу, что сын последовал материнским наставлениям и шесть последующих лет даже не пытался возобновить поэтические упражнения. В противном случае Россия во второй половине XIX века получила бы предшественника Эдуарда Асадова.

Но потребность к поэтическому творчеству у Константина не исчезла. Он навсегда внутренне определился, чем будет заниматься и кем он станет со временем. Поскольку занятия в гимназии лишь опосредовано относились к необходимому для поэзии подспорью, Константин принялся всё больше и больше ими манкировать, в результате чего по половине предметов стал приносить домой неудовлетворительные оценки. Но ответной реакцией на дефицит необходимой информации стало то, что гимназист Бальмонт пристрастился к чтению. Он запоем читал всё, что казалось ему интересным, при этом с одинаковой лёгкостью Константин поглощал произведения на французском или немецком языке, что мог себе позволить исключительно лишь благодаря матери, Vere Николаевне, дома научившей сына иностранным языкам. В 1884 году, после завершения седьмого класса, Константин был переведён родителями из гимназии в Шуе в гимназию во Владимир. Неизвестно, что больше повлияло на решение родителей: или итоговая посредственная успеваемость сына, или его участие в нелегальном народольческом кружке, состоявшем из учащих, студентов и учителей. Сам поэт много позже акцентировал внимание на вторую причину, называя гимназию в Шуе «гнездом декадентства». Так или иначе, а поменять обстановку и окружение мальчика, для его родителей стало делом первой жизненной необходимости. С осени 1884 года семнадцатилетний юноша стал жить во Владимире на квартире преподавателя греческого языка, исполнявшего одновременно обязанности квартирного хозяина, учителя, надзирателя и ментора.

Вера Николаевна не могла предвидеть, что её роль в формировании личности Константина станет для сына своего рода довлеющим жизненным императивом: он постоянно пребывал в перманентном поиске такой женщины, которая станет для него одновременно и женою, и любимой, и музой, и... подобной матери, обладательницей разнообразных достоинств. Но второй Веры Николаевны Константину отыскать не удалось, отчего ему приходилось довольствоваться в лучшем случае носительницами лишь одного качества. Зато, когда к этим поискам он стал использовать экстенсивный подход, он пришёл к почти желанному результату: имея в конце жизни жену, любимую и страстных поклонниц одновременно, Бальмонт ощущал себя в дамском обществе, в сумме напоминавшем его мать, где у каждой женщины в отдельности имелся малый набор материнских достоинств. Зато эти женщины произвели на свет множество любящих Бальмонта детей, немало сделавших для придания славе отца достойной памяти. Ничего подобного нельзя сказать о той даме, которая обладала в ту пору на литературный мир сильным влиянием, но не оставила после себя никого... Имеется в виду Зинаида Николаевна Гиппиус, но о ней немного ниже.

В 1885 году у восемнадцатилетнего юноши Константина состоялся литературный дебют в журнале «Живописное обозрение»: три его стихотворения были опубликованы в № 48 за ноябрь-декабрь. Это были два авторских стиха «Горечь муки» и «Пробуждение», а также перевод австрийского поэта Ленау «Прощальный взгляд». Событие это никем замечено не было, никто не отметил положительной или уничижительной рецензией дебют никому не известного поэта, словно публикации не было вовсе. Надзиравший за Бальмонтом учитель настрого запретил ему заниматься чем-либо подобным до окончания гимназии. Казалось бы – на поэтическом поприще можно было бы поставить жирный крест... Но, поддержка начинающему поэту пришла оттуда, откуда он её не ждал: Владимир Короленко внезапно обратился к Бальмонту с письмом, полным участия и понимания. Для юноши, удалённого от матери – верной духовной наставницы – это письмо значило многое: он не забросил, как другие, своих поэтических упражнений, а, приобретя уверенность в себе, стал шлифовать свой талант. А талант у него, бесспорно, был, на что Короленко и указывал в своём письме. «Если Вы сумеете сосредоточиться и работать, мы услышим от вас со временем нечто незаурядное» – так закончил своё письмо Короленко. Встреча с самим Короленко для Бальмонта решила раз и навсегда: он не отступится и станет выдающимся русским поэтом.

Но путь к славе был усеян таким количеством терний, что знай Константин о них наперёд – неизвестно, выбрал ли бы он поэтическую стезю. Дело заключалось в том, что испытания, выпавшие на его долю, были столь разнообразны и внезапны, что трудно сейчас даже представить, как юноша смог избежать не только другого жизненного пути, но и физической гибели. Окончив гимназию в 1886 году, и сразу поступив на юридический факультет Московского университета, Константин Бальмонт из огня попал,

что называется, в полях. Если о времени, проведённом в гимназии, Бальмонт позже писал: «Гимназию проклинаю всеми силами. Она надолго изуродовала мою нервную систему», а также: «прожив, как в тюрьме, полтора года», то окунувшись в бунтарскую атмосферу университетского студенчества, он в полной мере отравился вольнолюбивыми идеями, разрушившими в будущем его вероятную адвокатскую карьеру. Он сблизился с революционером-шестидесятником Николаевым, что привело к участию в студенческих беспорядках, отсижке трёх суток в Бутырской тюрьме и... отчислению из университета и высылке в Шую. Его «увлечение общественными вопросами», мечты о «воплощении человеческого счастья на земле» настолько доминировали в его сознании и были, несомненно, приоритетными для него в юные годы, что поэзию он в тот период не без оснований полагал лишь частью своего духовного развития, порываясь при этом стать пропагандистом и «уйти в народ».

Хорошо, что этим мечтам не суждено было сбыться, иначе российское поэтическое ожерелье потеряло бы один из самых ярких и необычных перлов – великого русского поэта Константина Бальмонта. История жизни каждого человека – полный загадок лабиринт, из которого не только трудно выбраться, продвигаясь привычным линейным путём, но ещё труднее понять, почему выбран тот или иной поворот перед тупиком. Что заставило Бальмонта прекратить своё участие в «социальных проектах» и «активной социальной деятельности», мы можем только предполагать. Одно ясно: никому от этого хуже не стало! Константин Дмитриевич вырос до уровня национального поэтического достояния, а в революцию не пришёл один из плеяды Луначарского – эстетствующий интеллигент, равно чуждый как управленческим верхам, так и управляемым низам. Другие испытания и беды, обрушившиеся на Константина, смогли перенаправить его путь жизненного следования в сторону, противоположную «активной социальной деятельности»; правда, до последних своих дней он оставался приверженцем либеральных свобод – так были организованы его натура, характер и внутренний духовный мир.

Ни у кого из исследователей жизни и творчества Бальмонта не вызывает сомнений, что резкий поворот его интересов к поэзии был подготовлен его матерью Верой Николаевной, точно так же без сомнений, её отсутствие рядом с сыном и отсутствие её влияния на него стали причиной многих тупиков, в которые он забредал, словно плохо видевший. Так, например, Константин в 1889 году восстановил своё присутствие в университете, но и опять, проучился в нём недолго: сильное нервное истощение не позволило получить законченного университетского образования. В 1911 году поэт так объяснял свою неспособность к обучению: «Я не смог себя принудить заниматься (юридическими науками), зато жил истинно и напряжённо жизнью своего сердца, а также пребывал в великом увлечении немецкой литературой». Знание иностранных языков – несомненный дар Веры Николаевны – позволило ему читать немецкую классику в подлинниках и начать понемногу переводить её на русский язык. Как переводчик, Бальмонт со временем стал величиною не меньшей, чем поэт-стихотворец. Однако чтобы вернуться к проблеме формальной «необразованности» Бальмонта, следует иметь в виду, что после второго расставания с университетом, он женился на Ларисе Гарелиной, дочери купца из Иваново-Вознесенска (ныне Иваново).

Это была «красивая барышня боттичеллиевского типа». Мать поэта Вера Николаевна была категорично настроена против этого брака, но Константин, внезапно «закусил удила» и даже пошёл на разрыв с семьёй и любимой матерью, только чтобы доказать всем окружающим, что он взрослый человек и способен самостоятельно принимать судьбоносные решения. «Мне ещё не было двадцати двух лет, когда я... женился на красивой девушке, и мы уехали ранней весной, вернее, в конце зимы, на Кавказ, в Кабардинскую область, а оттуда по Военно-Грузинской дороге в благословенный Тифлис и Закавказье» – писал Бальмонт позже в автобиографической прозе. Но ни медовый месяц, ни романтическая свадебная поездка не стали прологом к счастливой семейной жизни. Судя по всему, Лариса Михайловна для супруга стала неким inferнальным приложением демонических сил, разрушающих поэтическую составляющую его натуры. Она не сочувствовала ни литературным его устремлениям, ни революционным настроениям. Некоторые исследователи предполагают, что разница в эстетических ценностях супругов положила начало тому пороку, которым был подвержен Бальмонт всю последующую жизнь – пьянству. Да и в том жутком происшествии, что случилось с Бальмонтом в 1890 году, многие исследователи склонны упрекать именно Ларису Михайловну. В тот год Константин Бальмонт внезапно решил произвести расчёты с жизнью, выбросившись из окна третьего этажа дома.

Конечно, внезапно – не то слово, которое могло бы обозначить предпосылки столь страшного решения, принятого Бальмонтом 13 марта 1890 года. Много, очень много в его личной жизни, своеобразно им воспринимаемое и трактуемое как человеком, только начинавшим заниматься литературным творчеством, мало сопрягалось с представлениями о крепкой семье партнёрского типа, с равными правами и обязан-



ностями супругов, с чётким разделением функций членов семьи. Кто создаёт финансовое благополучие семьи? Этот вопрос, наряду с двумя исконно национальными – что делать? и кто виноват? – превратился в нерешённую загадку Сфинкса, за невозможность решить которую её адресат должен был расплатиться жизнью. Действительно, порвав с семьёй и к тому же с матерью, от которой он духовно зависел, Бальмонт оказался не готовым к узко социальным испытаниям, сопровождающим каждую семью. А отсюда и нервное расстройство, и бытовые неурядицы, и душевная смута, которые он оказался бессильным преодолеть. Всё это вместе взятое, подтолкнуло его к оконному проёму на третьем этаже 13 марта 1890 года.

Конечно, не стоит сбрасывать со счетов то, что ревность супруги по отношению к мужу, порой удивившая его до умоисступления, отнюдь не была беспочвенной: начинающий поэт Константин Бальмонт, как значительно позже и корифей отечественной поэзии Константин Дмитриевич Бальмонт никогда не ограничивал себя в увлечениях женщинами. Он серьёзно полагал, что увлечения являются непременной составляющей творческого процесса, стимулируют его, помогают найти творцу неожиданные направления для реализации. Об обаянии личности Бальмонта написано много, достаточно, чтобы понять, что он никогда не манкировал этой своей особенностью. Всегда прибегая к своему обаянию, чтобы иметь от этого удовольствие – «Блуждая по несчётным городам, одним я услаждён всегда – любовью», писал поэт позднее, и это была несомненная правда, которую он сам в себе открыл. И, конечно, не стоит удивляться, что молодая супруга поэта, заботившаяся о семейном благополучии и для детей (а их в недолгом браке родиться успело двое), бурно реагировала на его услаждение любовью, когда в семье иной раз нечего было есть...

И вот, 13 марта нарыв вскрылся... Первая книга стихов «Сборник стихотворений», изданная Бальмонтом на собственные средства, оказалась незамеченной ни читателями, ни друзьями... Незадолго до этого, прочитанная повесть графа Льва Толстого «Крейцерова соната», подсказала, казалось, верный выход, создала соответствующее настроение... Он лежал на земле беспомощный и смотрел в небо... Живой.

В 1923-м году, в биографическом рассказе «Воздушный путь», Бальмонт так описал своё состояние и свои ощущения в момент неудавшегося самоубийства. «Когда весь изломанный и разбитый я лежал, очнувшись на холодной весенней земле, я увидел небо безгранично высоким и недоступным. Я понял в те минуты, что ошибка – двойная, что жизнь бесконечна». «В долгий год, когда я, лёжа в постели, уже не чаял, что я когда-нибудь встану, я научился от предутреннего чириканья воробья за окном и от лунных лучей, проходивших через окно в мою комнату, и от всех шагов, достигавших моего слуха, великой сказке жизни, понял святую неприкосновенность жизни. И когда, наконец, я встал, душа моя стала вольной, а творчество расцвело буйным цветом».

Хромота после этого случая сопутствовала походке Бальмонта ещё долго. Но в хромоте ли печаль, если сразу же, как только его перенесли в дом, на кровать, он ощутил невероятный прилив творческих сил, целый океан творческих энергий накатил на него приливом, который позже никогда уже не возвращался назад! Год, проведённый в постели, как вспоминал сам поэт, оказался творчески весьма плодотворным и повлёк «небывалый расцвет умственного возбуждения и жизнерадостности». Прежняя жизнь с первой женой, детьми и бесконечным нервным стрессом осталась позади – впереди полутолодное, но творческое существование, когда за радостью творчества не заметны бытовые невзгоды, неудобства и неустроенность. Падение с третьего этажа перенаправило жизнь Константина Бальмонта в то русло, которым ему вольнее всего было плыть, ощущая себя в мире литературы, как рыба в воде. Профессор Московского университета Стороженко и меценат князь Урусов предложили Бальмонту вполне конкретную работу над переводами: то, что он к тому времени умел делать лучше всего, послужило ему своеобразным фундаментом, на котором он выстроил своё поэтическое мастерство. К «небывалому расцвету умственного возбуждения и жизнерадостности» прибавилось вторичное участие в судьбе начинающего поэта и литератора авторитетного и уважаемого всеми русского писателя Владимира Галактионовича Короленко – «живой совести русского народа», как писателя назвал Иван Бунин.

Бальмонт пришёл к Короленко домой, – писатель в то время жил в ссылке в Нижнем Новгороде. «Теперь он явился ко мне, сильно примятый разными невзгодами, но, по-моему, не упавший духом. Он, бедняга, очень робок, и простое, внимательное отношение к его работе уже ободрит его и будет иметь значение». Это отрывок из письма Короленко Альбову, бывшему в ту пору одним из редакторов журнала «Северный вестник». Рассказывая своему корреспонденту о встрече с Бальмонтом, Владимир Галактионович одновременно просит его обратить внимание на начинающего поэта. И просьба Короленко была услышана – журнал опубликовал около семнадцати стихотворений Бальмонта, начав публикации в самое тяжёлое для поэта время. Если учесть, что после болезни и медленного выздоровления Бальмонт жил

в нужде, по его собственным словам: «месяцами не знал, что такое быть сытым, и подходил к булочным, чтобы через стекло полюбоваться на калачи и хлебь», поддержка, оказанная ему Короленко, стоила того, чтобы всю последующую жизнь Бальмонт называл Владимира Галактионовича «крёстным отцом».

Падение с третьего этажа (или выпадение с того же этажа) изменило жизнь Бальмонта радикально. Он расстался с первой женой, стал писать стихи, в которых уже почти отсутствовали графоманские штампы вроде «горечь муки», «душа унылая», «жизнь постылая». Стихи Константина Бальмонта больше напоминали произведения другого поэта, чем его самого – поэта Бальмонта переродившегося. К тому же активные занятия переводами, особенно поэтическими (одни переводы Шелли чего стоили!) обогащали его самого, исподволь увлекая его высокими образцами иностранной поэзии. Уже упоминавшийся профессор Стороженко уговорил издателя Козьму Солдатёнку поручить начинающему поэту перевод двух фундаментальных трудов – «Истории скандинавской литературы» и «Истории итальянской литературы». «Эти работы стали для меня насущным хлебом на целых три года и дали мне возможности желанные осуществить свои поэтические мечты» – писал позже Бальмонт в автобиографическом очерке «Видящие глаза». В 1894 – 1895 годах избранные его переводы были опубликованы, а в одно время с ними и переводы Шелли, Эдгара По, французских и немецких классиков. Бальмонт начинает сотрудничать с «Вестником иностранной литературы» и «Вестником Европы», где в № 12 за 1892 год публикуется его перевод поэмы Шелли «Мимоза».

Творчество Бальмонта пошло по восходящей – в 1894 году он приготовил для издания книгу собственных стихов «Под северным небом». И как Константин не пытался в письмах к знакомым скрыть предчувствие успеха, видимо, опасаясь очередного фиаско, книга получила широкий отклик, и отзывы были в основном положительными. В них отмечалась несомненная одарённость молодого поэта, его «собственная физиономия, изящество формы» и свобода, с которой он ею владеет. Вот одно из изящных стихотворений, вошедших в этот сборник, в котором уже вполне ощущается рука большого мастера поэзии. И уже выбранное им направление – символизм – легко просматривается в его строках.

*Лунный свет  
Сонет*

*Когда Луна сверкнет во мгле ночной  
Своим серпом, блистательным и нежным,  
Моя душа стремится в мир иной,  
Пленясь всем далеким, всем безбрежным.*

*К лесам, к горам, к вершинам белоснежным  
Я мчусь в мечтах, как будто дух больной,  
Я бодрствую над миром безмятежным,  
И сладко плачу, и дышу – Луной.*

*Впиваю это бледное сиянье,  
Как эльф, качаясь в сетке из лучей,  
Я слушаю, как говорит молчанье.*

*Людей родных мне далеко страданье,  
Чужда мне вся земля с борьбой своей,  
Я – облачко, я – ветерка дыханье.*

И вот настало время знакомства Бальмонта с самыми известными в России на тот момент поэтами-символистами, теоретиками символизма, законодателями основ этого направления в искусстве, радикально изменившими не только искусство, но и само отношение к нему. Когда в 1892 году Бальмонт впервые приехал в Санкт-Петербург, профессор Стороженко ввёл его в дом Дмитрия Мережковского и Зинаиды Гиппиус – тех, кого почитали чуть ли не олимпийскими богами символизма. Обе стороны произвели друг на друга положительное впечатление, которое стимулировало дальнейшее творческое сотрудничество и совместную работу на платформе русского символизма. Творческому сближению этой троицы

способствовало также и знакомство Бальмонта с Брюсовым, которое со временем переросло в крепкую дружбу. Брюсов – один из символистов «старшего поколения», частый гость Мережковских и их идейный соратник нового стиля в поэзии. Однако, несмотря на общие радужные впечатления, отношения между Бальмонтом и Гиппиус были омрачены наметившейся взаимной антипатией. И основания для этого были – поводов для этого искать не требовалось.

Зинаида Николаевна Гиппиус всю жизнь, всем, чем только могла, стремилась выработать у окружающих представление о себе, как о самом неординарном в мире носителе разума, по недогадке Бога или по его попустительству лишь случайно родившимся женщиной. В паре с супругом Дмитрием Мережковским она составляла самый известный литературный дуэт конца XIX – начала XX века. У многих, даже не одно десятилетие знавших её людей, создавалось впечатление на грани уверенности, что эпатаж – и это раньше всего бросалось в глаза при знакомстве – её природное, а, следовательно, естественное свойство. Она носила мужское платье, монокуляр в глазу, подписывала критические статьи мужскими псевдонимами, и большинство её стихов были написаны от мужского имени. Правда до будущих «одежд» Хлебникова ей было далеко, но в отличие от него, совершенно индифферентного к своему облику, она всё делала намеренно, точно выдерживая определённый стиль. Когда к тандему Гиппиус-Мережковский присоединился известный своими гомосексуальными пристрастиями Дмитрий Философов (двоюродный брат тогдашнего открытого «жреца лунного света», Сергея Дягилева) и стал жить на правах «второго мужа» в их большой квартире в доме Мурузи на углу Литейного, мало кто сомневался, что сей союз создан Зинаидой Гиппиус, как часть её перманентного эпатажа.

Юного Есенина, представленного ей в этой квартире, она также знакомила с обоими «своими Дмитриями», правда, без ожидаемого ею эффекта: рязанский паренёк крестьянского происхождения сразу догадался, что хозяйке важнее произведённое впечатление, а не истинные отношения внутри «символистического треугольника», отчего не подал вида, что как-то поражён её «неординарностью», и эта его реакция моментально удалила его из списка людей, лично Зинаиде Николаевне интересных. «Тройственный союз» был основан на духовной любви, замешан на философии и искусстве, однако во времена «декаданса» и всеобщего бравирования безнравственностью воспринимался вполне однозначно: разврат богемы. И вот по воле судьбы Константину Бальмонту, нашедшему много точек соприкосновения в вопросах о судьбах и целях современной поэзии с хозяевами квартиры в доме Мурузи предстояло выдержать на себе поток эпатажа, который не смущаясь, изливала хозяйка квартиры на каждого, кто впервые оказывался в её владениях. А «интенсивность» подобных потоков была поистине непредсказуема. Вот один из примеров. Ирина Одоевцева вспоминала, что в эмиграции, Зинаида Николаевна рассказывала, не стесняясь, о себе следующую историю. «Я как-то на одном обеде Вольного философского общества сказала своему соседу, длиннородому и длинноволосому иерарху Церкви: «Как скучно! Подают все одно и то же. Опять телятина! Надоело. Вот подали бы хоть раз жареного младенца!» Он весь побагровел, поперхнулся и чуть не задохся от возмущения. И больше уж никогда рядом со мной не садился. Боялся меня. Меня ведь Белой Дьяволицей звали. А ведь жареный младенец, наверное, вкуснее телятины».

Теперь посмотрим на Константина Бальмонта, молодого поэта, уже прознавшего цену себе. Он хромает – поэтому не расстается с тростью. Голова его, обрамлённая рыжеватыми длинными волосами, гордо вскинута, сам он прямой, лёгкий. Он уже входит во вкус говорить о себе в третьем лице; когда читает свои стихи, в голосе и интонациях звучит напевность. Он поэт солнечный, тёплый, искренний и красивый. Живой. Его начала в природе, в том прекрасном уголке, где он вырос, среди дубрав, речушек и цветов, – их именование Гумнищи, всё то естественное, что было создано Господом во время акта Творения.

*Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце,  
А если день погас,  
Я буду петь... Я буду петь о солнце  
В предсмертный час.*

И он читает в доме Мурузи стихи. Его слушают и наслаждаются не только стихами, но и его обликом творца, чтеца... Когда он ещё не закончив, делает паузу между строфами, раздаётся голос Белой Дьяволицы: «Я не согласна!» С чем? Это уже не важно – она его перебила, не дослушав. А её слово не только для Дмитрия Мережковского, но и для многих в их квартире – приговор! Бальмонт это знает и понимает, он задет, и на этой почве между ним и хозяйкой устанавливается худой мир, который неизвестно – лучше ли хорошей войны. Но следует вернуться к воспоминаниям Одоевцевой, чтобы понять всю глубину пропасти, разделившей мир Бальмонта с миром Гиппиус. «Я не согласна» – фраза, наиболее часто – кстати

или не совсем кстати – произносимая ею. Утилитарная, шприпотребная фраза, паспарту. Её разговоры часто начинаются именно с неё: «Я не согласна с Эйнштейном!» Или – с Бергсоном! Или – с Алдановым! Или – со Степуном! Иногда, по глухоте – она из кокетства старается скрывать её, – не расслышав, о чем спрашивают, отвечает: «А я не согласна!..» И чаще всего её ответ производит магическое действие». Вот так, эпатажная привычка Гиппиус и её физический изъян, а также потребность ставить себя над людьми и ситуациями, сделала двух выдающихся, но совершенно разных русских символистов неконтактными.

На ситуацию отторжения наложили отпечаток и отношения Бальмонта к женщинам, к любви к ним, которые проповедовал поэт: «Люблю любить» – повторял он неоднократно. Чего никогда не скрывал, отдаваясь чувствам открыто и с самоупоеанием. Если перефразировать Пушкина, то не сошлись Бальмонт с Гиппиус потому, что «...Волна и камень, стихи и проза, лёд и пламень. Не столь различны меж собой». Если Мережковский и Гиппиус мыслили символизм как построение художественно-религиозной культуры, то творчество Бальмонта существенно отличалось от их построений своим неоромантизмом. В лирике Константина Бальмонта, певца безбрежности, – романтический пафос возвышения над буднями, на поэзию он смотрел как на жизнетворчество. Главным для Бальмонта-символиста явилось воспевание безграничных возможностей творческой индивидуальности, иступленный поиск средств ее самовыражения. Любованье преображенной, титанической личностью сказалось в установке на интенсивность жизнеощущений, расширение эмоциональной образности, впечатляющий географический и временной размах.

### ТАМ

*Ты говоришь мне, почему  
Я не в напеве предвещанья  
О том, что вечных зорь венчанье,  
Пронзить сцепляющую тьму?  
Я знаю высшее звучанье,  
И этот дар, как никому,  
Мне дан, быть может, одному.  
Но леденит меня молчанье.*

*В краю, где длится пир врагов,  
Где ткут из сгустков крови ткани,  
Нет, в долгом звяканьи оков,  
Не изнасилованных слов,  
Не изуродованных зданий,  
И не растленных обещаний.*

Так и шёл по жизни русский поэт Константин Бальмонт с гордо поднятой головой, ничего не опасаясь, ничего живого не подменяя искусственными формами бытия. Ещё с юности народническая закваска и умница-мать, и русская природа, и любовь ко всему прекрасному (в том числе к самой любви!) порою лишали его осторожности, словно отсутствовал в нём инстинкт самосохранения. Иначе никогда не родились бы у него те самые стихи, которые привлекли к нему однажды внимание самого Ленина, человека (человека ли?), чья политическая целесообразность граничила с inferнальным прагматизмом.

В марте 1901 года в Петербурге, на площади у Казанского собора, произошло событие, отразившееся на всей биографии Бальмонта. Огромная студенческая демонстрация, требовавшая отмены указа о сдаче студентов, замешанных в «беспорядках», в солдаты, была разогнана полицией и казаками, несколько демонстрантов было убито. Среди участников демонстрации находились писатели, в частности М. Горький, подписавший вместе с другими литераторами письмо протеста против бесчинств полиции. Был на демонстрации и Бальмонт. Через десять дней, 14 марта, он выступил на литературном вечере в зале Городской думы и прочитал стихотворение «Маленький султан», изобличающее, в завуалированной форме, и режим террора в России, и самого царя Николая Второго.



## МАЛЕНЬКИЙ СУЛТАН

*То было в Турции, где совесть – вещь пустая,  
Там царствуют кулак, нагайка, ятаган,  
Два-три нуля, четыре негодяя  
И глупый маленький султан.*

*Во имя вольности, и веры, и науки  
Там как-то собрались ревнители идей,  
Но сильных грубостью размашистых плетей  
На них нахлынули толпы башибузуков.*

*Они рассеялись... И вот их больше нет;  
Но тайно собрались изгнанники с поэтом.  
«Как выйти, – говорят, – из этих темных бед, –  
Ответствуй нам, певец, не попустишь советом!»*

*И он собравшимся, подумав, так сказал:  
«Кто может говорить, пусть дух в нем словом дышит  
И если кто не глух, пускай то слово слышит,  
А если нет – кинжал».*

Это стихотворение сразу стало популярным; его переписывали от руки, оно ходило из дома в дом, его заучивали наизусть и декламировали на «вечерах». В мае того же года Ленин предполагал напечатать его в «Искре», через посредников вёл переговоры с автором... Но Бальмонт, как ему не импонировало прослыть поэтом будущей революции, согласие на сотрудничество не дал, каким-то шестым чувством осознав: перейдя этот рубеж, назад уже не вернёшься. Будучи властями высланным из столицы, Бальмонт на три года уехал за границу. А через пять лет, когда революция начала сжигать Россию изнутри, история повторилась: его стихотворение «Наш царь» вновь понравилось Ленину.

## НАШ ЦАРЬ

*Наш Царь – Мукден, наш Царь – Цусима,  
Наш Царь – кровавое пятно,  
Зловонье пороха и дыма,  
В котором разуму – темно.*

*Наш Царь – убожество слепое,  
Тюрьма и кнут, подсуд, расстрел,  
Царь-висельник, тем низкий вдвое,  
Что обещал, но дать не смел.*

*Он трус, он чувствует с запинкой,  
Но будет, час расплаты ждёт.  
Кто начал царствовать – Ходынккой,  
Тот кончит – встав на эшафот.*

Этому неопознанному Мережковским Антихристу (Ленину) потребовалось привлечь к своему революционному изданию знаменитого русского поэта, чтобы сделать его своим подёнщиком, революционным глашатаем, чтобы в момент наивысшего градуса социального кипения привлечь его именем внимание со стороны интеллигенции. Газета «Вперёд», которая, перехватив инициативу у «Искры», как пророчествовал Ленин, должна была непременно зажечь революционный пожар, остро нуждалась в читательской аудитории, то есть в людях, самостоятельно избирающих для себя круг чтения. А таковой могла быть лишь русская интеллигенция, со времён декабристов (в их времена исключительно дворянская) по определению противостоявшая самодержавию. К тому же (Ленин рассчитывал и на коммерческий успех своей газеты)



распространение «Вперёд» по подписке в среде состоятельных социальных слоёв могло привлечь в кассу РСДРП необходимые для революции средства. Но «солнечный поэт», как его называли в России, и в этот раз не клюнул на приманку, уклонившись от каких-либо отношений с лидером большевиков. Масштабность деструктивного потенциала Ленина Бальмонт ощутил ещё сильнее, что к сожалению вплоть до 1917 года не удавалось ни Мережковскому, ни его жене Зинаиде Гиппиус. Они пророчествовали, предсказывали пришествие Антихриста, уже бесцеремонно стучавшегося в их двери, но до самого последнего мига идентифицировать его не могли. А Бальмонту это удалось без труда ещё в самом начале XX века...

Уже в эмиграции, когда круг общения русских литераторов сузился донельзя, когда они лишились привычной и адекватной их талантам аудитории, Бальмонту и Гиппиус пришлось иногда общаться в компании таких же как и они русских писателей и поэтов. Но и там, вдали от России, Бальмонт не написал о Гиппиус и её творчестве ни строчки. Все писали: Бунин, Белый, Брюсов, Ходасевич – все, кроме Бальмонта. Именно в эмиграции, когда круг общения русской богемы остался последним прибежищем для выброшенных большевиками символистов, отношение Зинаиды Гиппиус к Бальмонту Великому русскому Поэту обозначилось со всею откровенностью. Вот один случай, описанный Ириной Одоевцевой, по которому не трудно догадаться, от кого именно исходило отторжение другого.

«Случилось это на одном из очередных “воскресений” у Мережковских. То “воскресенье” было совсем обыкновенное, ничего особенно интересного не обещающее. Обычные посетители его сидели на своих местах в полном составе, за исключением одного Адамовича, уехавшего на Пасху в Ниццу, вокруг длинного стола и пили чай – тут, как всегда, были Фрейдентштейн, Терапиано, Лидия Червинская, Мамченко, Георгий Иванов, сидевший со стороны правого, лучше слышавшего уха Зинаиды Николаевны, и прочие. Вокруг Мережковского, как всегда, велись дискуссии и диспуты об Атлантиде, о материке Май, разбирался прошлый доклад и обсуждалось будущее «Зелёной лампы». Все как всегда. Вдруг звонок. Злобин идёт открывать дверь: «Наверное, Ильюша, он обещал».

Зинаида Николаевна с приветливой улыбкой наводит лорнет на дверь, ведущую из прихожей в столовую. Ильюша – И. И. Фондаминский, здесь он всегда желанный гость. Но это не он. В столовую в сопровождении Злобина входит совсем не знакомый мне довольно странного вида человек с длинными золотистыми волосами до плеч, маленькой острой бородкой, с артистическим галстуком-бантом. Он держится очень прямо, гордо закинув голову, но движения его связаны и весь он какой-то растерянный.

Приветственная улыбка Зинаиды Николаевны становится слегка насмешливой.

– Вот это кто, – тянет она капризно, протягивая ему высоко поднятую для поцелуя руку, – наконец небожитель вспомнил о нас, смертных, и спустился к нам! Давно пора!

Я смотрю во все глаза на вошедшего.

– Это Бальмонт, – шепчет мне мой сосед Фрейдентштейн.

Бальмонт? Неужели? А я почему-то думала, что он совсем другой, гораздо старше, седой, самоуверенный и заносчивый. А он кажется даже немного застенчивым. И, поздоровавшись с Мережковскими, отвешивает всеобщий поклон и садится на принесенный Злобиным стул.

Появление его только на минуту прервало вдохновенную речь Мережковского. Он уже снова говорит. Бальмонт молча слушает его и пьет чай со слегка обиженным видом. Никто не обращает внимания. Диспут продолжается, будто Бальмонта здесь нет.

Он сидит так тихо и скромно, а я слышала, что, где бы он ни был, сейчас же вынимает из кармана записную книжечку со стихами и начинает их читать, зачитывая присутствующих до полубоморочного состояния. Значит, и это неправда, как многое, что говорят о нем.

Мне очень хочется послушать, как он читает стихи, но я сижу далеко от него и не решаюсь обратиться к нему через весь стол.

Теперь разговор идет уже не о докладе в «Зеленой лампе», а об Индии, и в нем принимает участие и Бальмонт. Просто и ясно формулируя свои мысли, он рассказывает о священных коровах, об ашрамах, о Ганге. Без жестикующих и «цветов красноречия», которые ему всегда приписывают. Терапиано задает ему вопросы, и он умно и дельно на них отвечает. Все, даже Мережковский, слушают его с интересом. Но уже семь часов, и пора уходить. Зинаида Николаевна провожает гостей до прихожей.

– Вас, Константин Дмитриевич, – говорит она Бальмонту, – я не прошу заходить. Вы всё равно больше к нам не заглянете – знаю. Но за то, что вспомнили о нас, – спасибо.

– Я пришёл проститься, – объясняет он. – Я завтра уезжаю в Бретань...

– И вдруг мы не увидимся больше никогда, – кончает она его фразу. – Ведь каждая разлука навсегда. Значит, прощайте, до свиданья в этом или в том мире.

Мы все спускаемся по лестнице и выходим на улицу».



## БРЕТАНЬ

*Я в старой, я в седой, в глухой Бретани,  
Меж рыбаков, что скудны, как и я.  
Но им дается рыба в океане,  
Лишь горечь брызг – морская часть моя.  
Отъединен пространствами чужими  
От всего, что дорого мечте,  
Я провожу все дни, как в сером дыме,  
Один. Один. В бесчасьи. На черте.*

Их отношения окончательно обострились после известного случая, который произошёл при цитировании первого ноября 1922 года поэмы Блока «Двенадцать». Об этом происшествии Константин Дмитриевич сам сообщил в письме к любимой им Дагмар Шаховской. Вот как он описывал тот инцидент. «... Я не писал Тебе, что третьего дня вечером я был приглашён Цетлиными слушать Зинаиду Гишпиус-Мережковскую, она у них читала воспоминания о Блоке и Белом. Так как приглашение было учтливое и настойчивое, я пошёл. Было человек 20 гостей, Милюков, Ларионов, Куприн, Фондаминская, Савинкова и пр. Зина Мережковская читала злобные страницы. Я заступился за память Блока, заступился даже за поэму «Двенадцать», которую нельзя же рассматривать в её предосудительном применении, но должно в ней видеть блестящее отображение страшного исторического мига, которым тогда был полон весь воздух. Блок слышал дьявольскую музыку и дал ей словесную одежду. В этом есть жертвенность, и Блок запечатлел это своей смертью, которой предшествовала его смертельная ненависть к большевикам. И Гишпиус, и Мережковский пощёлкали на меня волчьими челюстями, но слушатели все были на моей стороне...»

Поэт для Бальмонта – «слагатель вещих песен», потому что понимает язык природы, проникает в её внутреннюю жизнь и передаёт её заветы людям. Ему «виден мир в своих основах». Оттого его слово священно. А сама природа – это воплощённая поэзия: «Весь мир есть изваянный стих». Поэтому поэзия – «волшебство», а поэт – «мудрец и царь», «сын солнца», «ветров и бурь бездомных странний брат». Пребывая «в созерцательном радостном чуде», в родстве со всеми природными стихиями, он создаёт гимн бытию во всех его проявлениях. Любимые образы природных стихий у Бальмонта – солнце, ветер, море, символы горения и света, движения и свободы. Задача человека: быть причастным этим стихиям: быть светлым, «быть утром», быть открытым переменам: «Я вольный ветер», «Я предан переменчивым мечтаньям, Подвижным, как текущая вода». В этом состоит «завет бытия». Все природные стихии прославляет поэт как отражение вечной красоты природы и певучей магии поэтического слова. Это сочетание определяет жизнеутверждающий, светлый характер бальмонтовского космизма.

А вот Гишпиус... Как о поэте, говорить о ней сложно, если, вообще, возможно... Она пророк символизма? Идеолог нового искусства? Кто она, критик, искусствовед, законодатель нового, хотя бы и аморального, постыдного? Крут её интересов широк и внезапен очертаниями своих границ, мало представимых даже ей. Она поборница свободы, но только для себя, потому что никаких равноправных отношений даже в избранном ею кругу самых выдающихся людей она не признавала – всё и вся должно было подчиняться её капризам, выдаваемым за правила; воли, под которой подразумевались самые неожиданные и жестокие эпатажи; если не диктату – ослушник мгновенно определялся в страту женоненавистников, некультурных недочеловеков. Что это было за явление в отечественной культуре рубежа XIX – XX веков, называемое ёмким словом-фамилией Гишпиус? Вопрос до сих пор остаётся без ответа, поскольку ни у кого нет желания докапываться до причин этого явления – Гишпиус... Да, она эволюционировала как поэт, её стих менял форму, оставаясь всё тем же правильно построенным, но внутренне жестоким и холодным, как в раннюю пору её поэтических опытов.

*Давно печали я не знаю  
И слез давно уже не лью.  
Я никому не помогаю.  
Да никого и не люблю.*

*Любить людей – сам будешь в горе.  
Всех не утетишь все равно.  
Мир – не бездонное ли море?  
О мире я забыл давно.*



*Я на печаль смотрю с улыбкой,  
От жалоб я хфраню себя.  
Я прожил жизнь мою в ошибках,  
Но человека не любя...*

Как известно, Зинаида Николаевна писала стихи от мужского имени... Помните воспоминания Гиппиус в Париже о «жареных младенцах», коих она предложила откупать одному архиерею в Санкт-Петербурге на собрании Вольного философского общества? Что там делала Зинаида Николаевна, не получившая системного, даже домашнего образования? Это явилось отголоском её увлеченности строительством собственной церкви, способной удовлетворить её эгоистические амбиции. Почему отголоском? Да только лишь потому, что отсутствие усидчивости, глубокой веры, подвижнического призвания и способности к принципиальной полемике с оппонентами довело это начинание до логического финала: как и многое другое, за что Гиппиус принималась, быстро выродилось в банальный фарс, в секту для отобранных его эстетов, в «разврат богемь». А ведь в первые годы двадцатого века религиозное дело Мережковских получило своё материальное воплощение: в конце 1901 года они с присоединившимся незадолго до того к ним Д.В. Философовым создают свою собственную церковь и начинают в ней богослужения, в своих воспоминаниях Мариэтта Шагинян, в юности бывшая в дружбе с Мережковскими, недоуменно пишет об обыденности тех домашних «служений»...

29 ноября 1901 года в зале Географического общества состоялось первое Религиозно-философское собрание, которые Гиппиус долгое время считала едва ли не главным делом своей жизни. Увы, на осине, как известно, не родятся апельсины.

С годами Зинаида Николаевна ещё больше затвердела в сердечном своём оледенении, превратив собственные капризы и эпатажи в обязательный церемониал, чуть ли не в обрядность при языческих мистериях. Особенно рельефно прослеживается это в последний её период жизни в эмиграции, когда даже её стихи не потеряли за десятилетия жестокости и холода того времени, когда квартира в доме Мурзузи представлялась ею и её мужем (а то и мужьями) неким подобием Олимпа, с той лишь разницей, что на Олимпе с Антейного проспекта законодержителем выступала женщина, прятывшая своё естество под мужской личиной и именами.

### СИЯНИЕ

*Сиянье слов... Такое есть ли?  
Сиянье звезд, сиянье облаков –  
Я все любил, люблю... Но если  
Мне скажут: вот сиянье слов –  
Отвечу, не боясь признанья,  
Что даже святости блаженное сиянье  
Я за него отдать готов...  
Все за одно сиянье слов!*

*Сиянье слов? О, повторять ли снова  
Тебе, мой бедный человек-поэт,  
Что говорю я о сияньи Слова,  
Что на земле других сияний нет?*

1937

Муж Зинаиды Гиппиус Дмитрий Мережковский, всю жизнь прославляемый как один из лучших исследователей природы Антихриста, проглядевший изучаемый им объект у себя под носом в России в 1917 году, в эмиграции в 1939 году, накануне вторжения во Францию фашистских полчищ, внезапно очнулся и выступил по радио с речью, в которой «сравнивал Гитлера с Жанной д'Арк, призванной спасти мир от власти дьявола, говорил о победе духовных ценностей, которые несут на своих штыках немецкие рыцари-воины, и о гибели материализма, которому во всем мире пришел конец». Как чуть позже выяснилось, Дмитрий Сергеевич поступил так из сострадания к своей любимой жене, влачившей в нужде

жалкое существование: он надеялся, что «воинство Орлеанской девы» в признательность ему за столь неординарный реверанс в его сторону, исправит их материальное положение. Ничего ожидаемого им, как обычно, не произошло. Не вышел из Мережковского ни пророк, ни проповедник...

Вот один из примеров того, какое впечатление производила на здоровых (морально здоровых) русских людей его «миссионерская» деятельность. Это то ощущение, которое испытала при первом знакомстве с Мережковскими выдающаяся русская женщина – мать Мария, Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева: «Мы не успели еще со всеми поздороваться, а уже Мережковский кричит моему мужу:

– С кем вы – с Христом или с Антихристом?

Спор продолжается. Я узнаю, что Христос и революция неразрывно связаны, что революция – это раскрытие Третьего Завета. Слышу бесконечный поток последних, серьезнейших слов. Передо мной как бы духовная обнаженность, все наружу, все почти бесстыдно... Разве я не среди безответственных слов, которые начинают восприниматься как кощунство, как оскорбление, как смертельный яд? Надо бежать, освободиться».

Потрясения 1917–1920 годов обусловили радикальные перемены в мировоззрении Бальмонта. Первые свидетельства тому проявились уже в сборнике «Сонеты солнца, мёда и луны» (1917), где перед читателем предстал новый Бальмонт: «в нём ещё много претенциозности, но всё-таки больше душевной уравновешенности, которая гармонически вливается в совершенную форму сонета, а главное – видно, что поэт уже не рвётся в бездны – он нащупывает путь к Богу» Так описывает послереволюционный период творчества Бальмонта доктор филологии Татьяна Львовна Александрова. Внутреннему перерождению поэта способствовала и его дружба с И. С. Шмелёвым, возникшая в эмиграции. Как писал Зайцев, Бальмонт, всегда «язычески поклонявшийся жизни, утехам её и блескам», исповедуясь пред кончиной, произвёл на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния: он «считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить».

«Его хоронили хмурым декабрьским днем 1942 года. Из Парижа на похороны приехали всего несколько человек – старый русский писатель-эмигрант Борис Зайцев с женой, вдова русско-литовского поэта, друга Бальмонта Юргиса Балтрушайтиса, двое-трое знакомых да дочь Мирра.

Стояла глухая, тяжелая, жестокая пора. Париж, как и вся Франция, томился под пятой оккупантов – немецких фашистов. Для тысяч и тысяч парижан время как бы остановилось. Все старались укрыться, стать незаметными, не попадаться на глаза. Зарницы великой битвы и победы у Сталинграда до Франции еще не долетали. Больной, вконец лишившийся психического равновесия, часто без единого франка в кармане, Константин Бальмонт доживал свои дни то в доме призрения для русских, содержанием Кузьминой-Караваевой – матерью Марией, впоследствии героически погибшей в немецком концентрационном лагере, то в дешевой меблированной квартирке в Нуази-ле-Гран. В часы просветления, когда болезнь отступала, Бальмонт с ощущением счастья открывал том «Войны и мира» или перечитывал свои старые книги – писать он уже давно не мог.

Кончина поэта прошла незамеченной. Не такое было время, чтобы вспоминать и рассказывать о том, что этот умерший в крайней нищете и забвении человек когда-то являлся кумиром читающей России, что он собирал на свои концерты и вечера целые толпы взволнованных и восторженных слушателей, что его певучие строфы твердили и повторяли многочисленные поклонники и молодые поэты со всей страны» (Николай Банников).

«Шёл сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпали могилу» (Ирина Одоевцева).

Через три года настала очередь Зинаиды Гишпиус... «Смерть мужа страшно подкосила ее; 52 года совместной жизни без единого дня разлуки срастали их воедино, словно два дерева, прильнувших друг к другу. Страшная, седая, с косыми зелеными глазами, она походила на ведьму из старой сказки; от её былой красоты остались только воспоминания умерших друзей. Последние годы рядом с Зинаидой оставался последний единственный друг – ободранная злобная кошка, абсолютно дикая. Ее так и звали: «Кошпшпка», с тремя шпипящими. Кошпшпка лежала на худых старческих коленях хозяйки, немедленно убегая при появлении чужих. Впрочем, чужие появлялись теперь так редко... Одинокая, умирающая, Зинаида Гишпиус все шарилась по кровати руками, все искала последними движениями свою Кошпшпку, надеясь ощутить теплоту её тельца, словно оно могло согреть и спасти душу хозяйки. 9 сентября 1945 года Зинаида Гишпиус скончалась; и мало кто пожалел об этой утрате. Вспоминали её злые фельетоны, острые критические статьи, резкие нападки и шпипячки; ее надменность, холодность, безжалостность. Её смерть стала поводом для шуток и остроумия, как когда-то поводом для эпиграммы стали ее беда и несчастье.

Она ушла такой же гордой, одинокой и раздражающей своей независимостью, так и не сняв маску, прикрывавшую несчастное и разбитое сердце». (Анна Кирьянова).

Сегодня, проживая трагедию ушедшей от нас России и ушедших вместе с нею её детей, мы словно послание через столетие читаем стихи Бальмонта, словно специально для нас предназначенные, как лекарство, помогающее зрению избавиться от некоей слепоты. От предвзятости и штампов, которых вокруг Бальмонта и Гиппиус за семьдесят с лишним лет накопилось и народилось предостаточно. Но если мы прочитаем сочинённое Константином Дмитриевичем для нас, мы уже по другому увидим его и его время, выработаем в себе иное отношение к эпохе и людям Серебряного века.

*«Тише, тише совлекайте с древних идолов одежды,  
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет.  
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды,  
И слагатель вещей песен был поэт и есть поэт.*

*Дети солнца, не забудьте голос меркнувшего брата,  
Я люблю вас в ваше утро, вашу смелость и мечты.  
Но и к вам придет мгновенье охлажденья и заката.  
В первый миг и в миг последний, будьте, будьте, как цветы».*

Когда Марину Ивановну Цветаеву спросили, может ли она определить Бальмонта одним словом, она, не задумываясь, ответила: «Поэт... Этого я бы не сказала ни о Есенине, ни о Маяковском, ни о Гумилёве, ни даже о Блоке, ибо у всех названных было ещё что-то кроме поэта в них. Больше или меньше, лучшее или худшее, но – ещё что-то. В Бальмонте, кроме поэта в нём, нет ничего. Бальмонт – Поэт-адекват. На Бальмонте – в каждом его жесте, шаге, слове – клеймо – печать – звезда поэта».

# «ШШКАФ»

**АЛЕКСАНДР КАРПЕНКО**

## НЕОБЫЧНЫЙ ВЗГЛЯД ЕЛЕНЫ ШЕЛКОВОЙ

(Шелкова Елена, *Побег арбузов. Книга стихов. Киев, Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017*)

Поэтика Елены Шелковой настолько любопытна, что её новая книга захватывает с первых страниц. Вот, например, мчится в стихотворении Елены поезда. «И что в этом такого? – спросите вы, – тысячу раз уже грохотали по шпалам составы в произведениях наших классиков. Например, у Рубцова, у Левитанского...». Как только поехали по стране в середине XIX века первые поезда, о них стали слагать поэтические строки. Однако ноу-хау Елены Шелковой заключается в том, что лирический герой/героиня всё время меняется! То это цветок, растущий между рельсами. То, наоборот, сам поезд:

*...Поезда, я знаю – наркоманы.  
Поезда не могут без колёс.*

*...Он тебя проехал, не заметив,  
Он тебе ни слова не сказал.  
Но о чём ты думал, семицветик,  
Поезду глядя во все глаза?*

*...Я лечу, вовек не успокоюсь,  
Здесь не те, а там не то, не то...  
Я прекрасный сумасшедший поезд.*

*...за которм не бежит никто.*

Елена рисует картинку. А потом – поочередно перевоплощается в персонажей этой картинки, независимо от того, «жертва» это или «палач». Она хорошо понимает, что роли в театре жизни могут быстро меняться. У неё – «жанровая» поэзия, но жанровость эта – калейдоскопична. Подчас мы не понимаем: кто – герой? Где – герой? «Кочующий»

герой – феномен лирического сознания Елены Шелковой. Порой она доводит повествование до гротеска. Поезда у неё – «наркоманы», потому что «на колёсах». Елена часто «играет» омонимии – словами с одинаковым звучанием, но разным значением:

*Бог заводит всё ту же пластинку...  
Заведи же меня,  
Заведи.*

Это тоже становится «фирменным» приёмом Елены Шелковой. В стихах любого поэта можно вычитать об авторских пристрастиях и предпочтениях. Для этого вовсе не обязательно глубоко знать человека лично. Чувствуется, например, что Елена Шелкова любит цветы, особенно полевые. Но, конечно, основная, сквозная тема её книги – это любовь.

*А метель всё метёт по двору, и  
Рифмы белые, как молоко.  
Я тебе фонарей наворую,  
Если, вправду, до звёзд далеко.*

И, конечно, жажда жить! У героини Елены Шелковой – «боевой» характер. Она намерена сражаться за своё счастье. Даже если придётся, не дай Бог, выступить против всего мира. Признаться, при первом прочтении я не обратил внимания на одно важное обстоятельство: романтика в стихотворениях Елены Шелковой пытается выжить в достаточно грубом мире, где постоянно происходят катастрофы. Это современный взгляд поэта на окружающий мир, где ежедневно гибнут

невинные люди. У Елены Шелковой – хорошие задатки вырасти в яркую творческую личность, свой узнаваемый почерк, большие перспективы развития. А ещё у неё есть замечательное чувство юмора.

*Без ухищрений и искусств  
Мы выбираем жизнь на вкус.  
К поэтам ночью ходит Муза,  
А к поэтессам ходит Муз.*

*Я стала бледною, как груша,  
За что мне тяжкий этот груз?  
Ведь я хотела просто мужа,  
А вместо мужа – только Муз...*

*Лежит невымытою посуда,  
Мне не понять, «в чём сила, брат».  
Хочу сбегать, сбегать отсюда  
К тебе – на сто стихов назад!*

Причём Елена не пишет чисто юмористических произведений – юмор у неё органично входит в лирические и даже драматические произведения. Нельзя не отметить, что «арбузная» тема очень созвучна сложившемуся у меня образу Елены Шелковой. Она очень органично смотрелась бы в косынке или блузке арбузного цвета. В книге «Побег арбузов» много действия, оттеняемого кажущейся пассивностью лирической героини. «Подбери меня... заведи...». Складывается впечатление, что в лирике Елены Шелковой действуют мужчины, а женщины – ждут. Но это всё не более, чем иллюзия. Когда героине очень хочется действовать, она выступает в поэзии Елены Шелковой от мужского имени. Порой это – персонификации, воплощения в неодушевленные предметы. В таком стиле очень любил писать Владимир Высоцкий:

*Я – телефон. Я слышу голоса.  
Я знаю, это признак паранойи.  
И снова обострение – весна.  
В меня поют, смеются, плачут, воют.*

*Звонки для встреч легки и коротки,  
И на свидание потом летят ракетой.  
Но есть на свете длинные гудки –  
Они для тех, кто любит без ответа.*

*Но, наплевав на мудрость и на быт  
В хрущёвке синеглазая Мадонна  
Звонит ему, звонит ему, звонит,  
Не зная даже номер телефона...*

*И говорит: «Мне Бог шепнул: рискуй!  
Я к Вам звоню, гудки рыдают где-то.  
Как страшно трубку подносить к виску –  
Как будто это дуло пистолета!»*

*...я – телефон. Без денег и без виз  
Я сокращал неммыслимые дали.  
Но сколько раз меня бросали вниз  
За то, что их любимые бросали!*

*Я телефон, я слышу голоса...*

Телефон, герой стихотворения Елены, конечно, пола не имеет: это просто меднум для людей, охваченных влечением друг к другу. И нередко – жертва ссор и недоразумений между людьми. Когда кто-то неточно передаёт слова другого человека, мы любим говорить: «Испорченный телефон». В стихотворении Шелковой телефон – вполне нормален. «Испорчены» – люди. И драма – именно в этом. Непривычный ракурс! Поэтическая находка.

Киевлянка Елена Шелкова замечательно работает со словом, часто создаёт неологизмы, играет смыслами. Вот, например, в стихотворении «Проклёнье»: «Клёнушка! Кленово мне, кленово! ... На меня проклёнье навели? ... Вышибают клён обычно клёном». И, конечно, нельзя не отметить особую задушевность стихотворений Елены Шелковой. Казалось бы, каждый художник вкладывает в своё произведение душу. Но, бывает, души вложено в стихи так много, что хочется воскликнуть, читая: «Дорогой ты мой человек!». Елена часто пишет о неразделённой любви, когда человек чувствует себя наиболее незащищённым. От недостатка человеческого тепла порой происходит виртуальное «умножение сущностей». Цитируемое ниже стихотворение Елены Шелковой в одной из более ранних редакций имело концептуальное название «Четыре». И, на мой взгляд, совершенно напрасно в книге «Побег арбузов» Елена отказалась от такого острого и интересного названия.

*Четыре*

*Я люблю. Разделилась планета.  
Сколько солнца, и счастья, и вишен.  
И меня уже два – тот и этот,  
Только этот печальней и тише.*

*И тебя тоже два. Пусть сопьются  
От задачи моей эскулаты.  
Можешь ехать хоть в тысячу Турций,  
Но себя, что во мне, ты не лапай.*





Уходи, сочиняй самолёты.  
 Погибай, делай сотни открытий.  
 Ты, который во мне – это ноты,  
 Отблеск самых невидимых нитей.

А потом ты во мне станешь тише.  
 Ещё тише, и ти... и растаешь.  
 Ты гуляешь с женой по Парижу,  
 И не знаешь, что ты – исчезаешь.

...я хожу неуверенно, косо.  
 Не дают мне покоя вопросы:  
 Может, я по проспекту гуляю,  
 И не знаю, что я – исчезаю?..

На мой взгляд, подобное умножение сущностей свидетельствует, прежде всего, о богатом внутреннем мире человека. Человек выступает здесь не только сам по себе, но и как отражение своего образа в другом человеке. И, когда творческий человек начинает задумываться о своих отражениях в других людях, жизнь становится элементом поэтики.

Порой Елена Шелкова пишет чересчур эмоционально, рискованно. Вместе с тем, нельзя не признать, что в рискованной манере письма, в метафорах, вызывающих бурю эмоций, в лёгком эпатаже кроются раскованность и поэтическая свобода.

## СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

### НОВАЯ КНИГА ОБ АЛЕКСАНДРЕ МАКЕДОНСКОМ

(Андрей Краевский. *Александр Македонский. Биография Македонского царя. Роман-эссе.* – М., НП ИД «Русская панорама», 2017 – 480 с.)

Талантливый и неординарный учёный-историк Андрей Краевский закончил и издал в «Русской панораме» свой труд «Александр Великий. Биография Македонского царя» (2017). Как говорится в аннотации, это часть трилогии о героях Средиземноморья – первая книга трилогии – «Ахиллесова пята» (2003), она о герое троянской войны Ахиллесе Пелиде и ещё одна, «Рыцарь с сердцем льва» (2007), – об английском короле-крестоносце Ричарде Львиное Сердце. Все книги относятся к «малой серии» издательства. В выходных данных книги «Александр Великий» значится, что это роман-эссе, хотя по форме изложения это скорее историко-биографическое исследование, имеющие документальную основу.

Андрей Краевский не ставил своей задачей создать более достоверный образ Александра, чем, например, Арриан Флавий, чьё сочинение значится первым среди использованных источников. Однако книга А. Краевского ещё раз доказывает, что большое лучше видится на расстоянии – так и грандиозная мифологизированная фигура Македонского тоже яснее встает после веков размышлений историков о нём, о его трагической, жестокой и яркой судьбе.

Македонский, из династии Аргеадов, он же Мехас Великий, он же Искандер Зулкарнайн, которого почитали в мусульманском мире, великий

завоеватель, не проигравший ни одного сражения. О его славе полководца, о его битвах подробно пишет А. Краевский. Тем не менее, историк-писатель не идеализирует своего героя. Он пишет и о том, как из благородного завоевателя, объединителя земель, Александр постепенно превратился в подверженного взрывам неуправляемого гнева жестокого и безжалостного варвара-завоевателя, подобного Атилле, Чингисхану, Тамерлану. Далее А. Краевский пишет – «Эксперимент Александра Македонского по созданию универсальной империи, культуры и народа, носивший космический масштаб, провалился: культуры оказались несоместимыми, а народы не желали забывать своей этнической принадлежности» (с. 468).

И всё же, по словам Краевского, – «Александр объединил Запад и Восток, став общим для них эпическим героем». Он, по выводу автора, стал «совершенно самостоятельным явлением культурной жизни евразийского материка» (с. 468).

Мы же скажем попутно ещё о том, о чём умолчал современный опытный *историописец* Андрей Краевский. Александр претерпевал встречи и деяния воистину замечательные. Чего стоит, например, его встреча с василнском близ Индии – «Одним взглядом он пронзал персов и македонцев так, что они падали замертво. Воины, узнав об опасности, не решались идти дальше, гово-ря

– «Сами боги преградили нам путь и указывают, что дальше идти нельзя!». Тогда Александр один забрался на гору и увидел спящего на тропе василиска. Если он откроет глаза и бросит на кого-то взгляд, то тот тут же погибнет!.. Почему Александр смог выйти на «тонкий план» и его увидеть? Да потому, что мать его – Олимпиада, урождённая принцесса Миртала из Эпира. Она, по-видимому, посвятила и сына в свои верования, о которых А. Краевский пишет: «Она исповедовала культ хтонических божеств, являвшийся в классическую эпоху древним пережитком чёрного, матриархального культа земли. Олимпиада ощущала мистическую связь с земной, инстинктивно-подсознательной стороной бытия и, отдаваясь всем существом во власть тёмных сил и тёмных стихий, черпала из них свою силу. Змеи, священные твари этого культа, сопровождали её повсюду и везде» (с. 37). Итак, встретив хтонического змея-василиска, Александр осознал опасность, от него исходящую. Спустившись с горы, Александр приказал изготовить щит, на поверхности щита поместить большое зеркало и сделать себе деревянные высокие ходули. Он двинулся на василиска, выставив щит да так, чтобы ни голова, ни ноги из-за щита небыли видны. Он подошёл к василиску, василиск глянул на зеркало, в котором увидел самого себя. Его взгляд отразился в его глазах и тот сразу по погиб. Александр вынудил его совершить невольное самоубийство. Македонцы сожгли василиска, восхваляя мудрость Александра... Так сказано в «Истории сражений Александра Великого». Это XIII век. И тут мы видим, как в Европе мифологизировался в веках образ Великого Александра. Идя по этой колее, мы также узнаём из средневековых источников и о том, что Александру отравила в дар – то ли индийская царица, то ли, по другим источникам, «северная царица», в наложницы девицу, «с детства пившую змеиный яд, так что природа её обратилась в природу змеиную», и её слюна стала ядовита. Однако учитель Александра, Аристотель распознал опасность и предупредил

Александра. Он заметил, что дева старалась «не смотреть людям в лицо. А всё потому, что одним только взглядом лишала жизни человека» (см. «Повесть о рождении и победах Александра Великого», СПб, 2006, с. 195). Должно предположить, что автохтонный василиск после смерти от руки Александра в деву сию и воплотился...

Андрей Краевский не анализирует процесс трансформации образа Александра от античных до средневековых исторических источников. Его задача иная – он создаёт свою художественно-исследовательскую теоретико-логическую «реставрацию» той эпохи, порою, посреди повествования сравнивая в историко-психологическом аспекте Александра с Ахиллесом или Ричардом Львиное сердце, с героями двух предыдущих своих эссеистико-исторических книг, а иной раз с Наполеоном. Сравнительно-исторический метод, как известно, давно завоевал прочное место в науке.

Читателю достаточно увлекательно скользить по полотну повествования автора, несмотря на то, что на нём он не найдёт диалогов изображённых личностей с другими героями, и текст скорее повествовательно-монологичен. Даже цитаты из других историописцев в основном отнесены в последнюю часть, в «Послесловие автора». Это качество служит цельности этой многоплановой и полезной многим поколениям книги.

В заключение приведём один из теоретических выводов автора, сделанных попутно размышлению о судьбе титана-завоевателя: «Время показало, что демократия сама по себе не способна защитить свои завоевания, что она настолько эгоистична и продажна (за счёт расширения правового гражданского поля и уменьшения этических запретов), что мыслить перспективно и конструктивно не может по определению. Что собственный сундук с деньгами и возможность при голосовании черепками отправлять в изгнание политических противников важнее и концептуальнее национальных интересов!» (с. 68). Эти «заметки на полях» античной эпохи, конечно, звучат трагически современно...



# ЕЛЕНА КОРО

## ФА-ХОРОТОПЫ ПОЭЗОЛАНДШАФТОВ, ИЛИ ГЕОХОРЕОГРАФИЯ ХТОНИЧЕСКОЙ ЛИНГВИСТИКИ НЕИСПРАВИКИНГА

(О книге Вилли Р. Мельникова «Штурман железнодорожного плавания»)

ФА#

*Крест – во мху, и скучает Голгофа;  
под терновым межстрочьем – строфа.  
И, утратив законы Кифхгофа,  
ток в цепи – псом цветным: «Кайафа!..».*

Вилли Р. Мельников «Амальгамма» [2, с.31]

Фа в гамме осколков ослепших амальгам, крест во мху, хоротоп хроносов, перекрёсток междустрочий в междуречье пограничья; фа-доминанта в катарсическом ладе прозрения, изначальный катарсис греческого хора – ФА, скрещивающий хронос с хронологией, хоротоп, в котором ино-временье хоры растекается продлениями во времени и пространстве – на все четыре...

На все четыре амальгаммами строф, обратным мимесисом междустрочий, то, что слепо кричало в осколках амальгам сейдесь буквищами, эйдосами букв творило миры, перетекая в хору, обрело форму, но не слов, междубуквий, связывало буквы-эйдосы незримыми течениями. Возникали странные праформы слов, имён. Хора молчит, но рождает из праформ праязык в постоянном течении, хоротопном скрещении эйдосов-букв, не эйдосов, ибо хора не эйдотична по сути, она незримое третье, связующее мир эйдосов и мир вещей, как нам поведал о том платоновский Тимей<sup>1</sup>.

Мир хоры аки чрево материнское речи, но и более того, ибо это чрево, в котором в процессе скрещения и раскрещения всё: и буквы эйдосов, буквы-эйдосы, скрещиваясь в связки-слоги, хоротопно, перекрестьем соединяясь, существуют в рыбьем мире хоры праформами самых причудливых ракурсов, раскрещиваясь, создают новые связки букв; и хора полнится химерами речи, но не хтонические химеры они для хоры, а сущи сего предбытия, хоре-о-графы плавания форм. Хтоническая лингвистика речи суть перетекание форм в хоре.

И вот они, сии химеры слов хоры, праслова речи, преломляясь в предречье хоры во множественности множеств, приходят к пределу, к хоризмосу, к тому порогу, к катарсису хора – ФА#.

Фа-хоротопом, в центре перекрестий сакральной речи Хоры и пространства, междуречья речи Топо-са, на пределе хоризмоса созвучий рождаются в хронологию времён кентаврами, дифтонгами речи, хоротопами созвучий, поэзоландшафтами пускаются в железнодорожное плавание.

И штурман свободного плавания их, сних форм поэтической речи Вилли Р. Мельников.

*Не уйти от язычеств похмелища пифрова  
автохтоном-дифтонгом, застрочий,  
иль закройщик лингвохтонической речи  
светозаврно, кентаврно зарит  
хоре-о-графом в х'о'ра\*, пророчий\*\**

\* хора – «неологизм» Платона

\*\* пророчий – сущ.

Елена Коро

Но возвращаясь к ФА# как к кресту пространства, как к перекрёстку миров, перекресту четырёх стихий, как к горизонту, размежеванному на зюйд и ост, как к сакральному центру пространства: оку Вотана в центре кельтского креста. В оке Вотана, как в центре колокрыжа, теменосе хоротопа (хоротоп в данном контексте и сравним с эгисхьялом пространства), запечатаны мир и миф. Под корнем мирового древа Игдрасиль у источника мудрости отдал Один (Вотан) свой правый глаз грозному великану Мимиру – метоте – память – за посвящение в тайное знание и за сохранение его из поколения в поколение в жреческом роду посвящённых. Кельтский крест считается крестом Вотана, крестом воина, он – эгисхьял – ужас для непосвящённых, напалм, сжигающий всё невежественное при попытке вторжения.

Итак, таинство хоротопа, его сакральность, оказывается местом встречи и перехода противоположностей. Здесь разум философа различает истинное бытие и видимость. В этом месте различения, разделения и перехода онтологически рационального и мифологически сакрального как субституте хаоса разум демиурга как меч в лабиринте отсекает видимость ради бытия истинных форм.

*Знай, рыбак, что удит Минотавра:  
Ариаднова нить – не из лески!  
Лабиринтоксикация-марфево  
любит меч, чьи взмыванья не резки...*

«Нейрохимия одиночества» [2, с.143]

Основным качеством ландшафтной поэзии Вилли является хоротопность бытия лирического героя.

Когда Хайдеггер<sup>2</sup> пишет о том, что греки переживали пространственность не как протяжённость, но как погружённость в хору, в сакральное пространство мест, перед внутренним взором встаёт одиссея пространства. Встаёт как путь Одиссея, заданный изначально волей богов, по цепочке островов, каждый из них сакральный хоротоп, место, погружаясь в которое, как в хору, герои трансформируются этим местом согласно его внутренним мифологическим законам. И путь, от острова к острову, создаёт ту особую протяжённость как погружённость в трансформационный переход. Дошедший до конца уже не тот, кем вышел вначале. В этом предназначенность хоры, постоянно изменять вошедшее в неё, в этом специфика хоротопа, как матрицы, сохранять сакральность хорического и создавать протяжённость топосов не во времени, ибо в хоре нет времени, или оно абсолютно иное, но, создавая протяжённость мест в пространстве, хоротоп формирует хронотоп.

Поэтому можно сказать, что и сама Одиссея, хоротоп, матричные коды которого осуществляются в повторяемости мифологических сюжетов.

Эта трансформационная специфика, специфика превращения форм в сценариях мифологических сюжетов ярко выражена в хтонической лингвистике поэзолашафтов Вилли хоротопно: перекрёстками сходных корневых основ языков, отсылающих, отворяющих их сакральный центр-теменос – прасносу – око Вотана.

Одиссея штурмана железнодорожного плавания, неиспавикинга поэзолашафтов – это одиссея мест хоры, хоротопов, которые в хтонической лингвистике лирического героя подобны узловым станциям сторон света, корневым основам праязыка хоры, изменяющим естество сакрального слова посредством перемены мест слагаемых, тем самым отворяющих его суть на все четыре стороны.

Нора мыслится метакеннингами неиспавикинга.

*«...Когдаходишь во фьорд, поклонись всем обрамляющим его скалам с твёрдостью их состояний, зачертнув из перекрестья их теней память неродившегося ещё конунга... Склонись с борта твоего дракафа и отпей из течений, тебя несущих, запомнив вкус каждого, чтобы рассказать об их снах проросшему корнями в небо кусту омель, плодоносящему недоговорённостями Фрейи... Вышивая рунами молний свой шторм, опасайся накрепко привязать его к горизонту, ненасытность которого может проглотить ещё не придуманные тобой отдалённости...»*

«Стихо-оттворение» [2, с.60]

Мета-отворённость скандинавской поэзии проявляется у Вилли в единении места – фьорд – и сохранённости в перекрестии теней скал, обрамляющих фьорд, памяти неродившегося конунга. Мы видим, как отворяется поэтом родовая память, память упедших для ещё неродившихся.

В этом специфика восприятия времени древними народами скандинавских стран. Они не воспринимали линейное время, не воспринимали хронологию времени в понятии судьбы, в понятии *wurd*. Вирд, или Урд, – это «то, что есть», момент настоящего. Прошлое заведомо заключалось в «здесь и сейчас», так как момент настоящего – результат всех событий прошлого. Будущность – вероятность, определяемая процессом существования, его форму определяет Вирд. Итак, Вирд включает в момент настоящего три величины: прошлое, настоящее, будущее, из них две: прошлое и будущее равно удалены от настоящего, и таким образом составляют с настоящим нелинейную систему времени – Вирд.

Вот как излагает древнегерманскую концепцию времени Квельдульв Гундарссон в книге «Наша Трот»:

«Они суть те великие, кто придаёт облик вирду миров; но величайшая из них – Вирд, ибо её силою питаются труды прочих двух. Во многих поверхностных текстах утверждается, будто норны – это ‘прошлое, настоящее и будущее’, но это неверно: германцам было присуще не тройственное представление о времени, как у греков и римлян (от которых унаследовала его и современная культура), а двойственное. Для наших северных предков существовало, с одной стороны, всеобъемлющее ‘то, что есть’, и самые древние, и самые юные слои которого принадлежали к одному и тому же времени и были в равной мере близки и реальны, а с другой – ‘то, что становится’, т.е. настоящий момент. Чувства будущего не существовало: пророчества, говорившие о том, что ‘может случиться’, понимались в буквальном



смысле как изречения Вирд – как ‘то, что есть’, воспринятое с точки зрения мудрости, ведающей то, что должно возникнуть далее как следствие уже существующей причины».

И это видение мы назовём хорическим, ибо только в хоре как моменте вечного настоящего, лишённом линейной хронологии времен, существуют в равной мере удалённости праформы начал и предформы вещей. Метафора поэта о «кусте омелы, плодоносящем недоговорённостями Фрейи...» открывает смысловую нагрузку «недоговорённостей» предречия хоры в вечном становлении настоящего момента, в котором произнесённое перетекает в недосказанное, и сказанное вначале звенит отголосками недопроизнесённых здесь и сейчас.

Парадигма времени исчезает, поэт возвращается в хору как в чрево речи, из которой являет поэзы, обращённые в равной мере и к прошлому и к будущему. Такой поэтический образ равноудалён во временах, он образ в моменте настоящего, он образ момента, обременённого будущим как прошлым в равной степени. Этот поэтический образ притягивает сознание человека кажущейся линейной продлённостью во всех временах. Человек называет такой образ архетипическим, вечно сущим, но, по сути, этот образ и вечен и юн одновременно, он являет лик прошедших по-

колений как юный образ девственной зарю. Такой момент сложно уловить, и поэт, уловяемый в свои тенета таким моментом, являет свой лик познавшего всё, как того, кто сказал первое слово. И эти трансформации образов в моментах являют своё узаконенное начертание в поэзоландшафтах. Ибо только в сакральных местах, хоротопах бытия, трансформации образов проступают начертаниями. И эти начертания моментов уже двойственны, как двуликий Янус, или множественны, собирательны. И мы уже можем в них увидеть сам трансформационный процесс настоящего в прошлое – и в будущее, ибо начертанное уже можно разложить на слагаемые.

Такова поэтика Вилли, таковы начертания его поэз. Они, как химеры, хтоничны, но они же поэзы будущего в моменте настоящего, плодоносящие недоговорённостями.

И мы поставим многоточия на этих недосказанностях, дабы ненасытность горизонта событий не поглотила ещё не придуманные тобой отдаленности...

#### Использованные источники:

- <sup>1</sup> Платон. Собр. соч. в 4-х томах. Том 3. М.: «Мысль», 1994
- <sup>2</sup> Heidegger Martin. AnIntroduction to Metaphysics. Yale University Press, 1959
- <sup>3</sup> Мельников В.Р. Штурман железнодорожного плавания. – Киев: Интерсервис, 2016. – 222 с.

## КАЗБЕК СУЛТАНОВ

### «...ИБО ВСЕ ПРОИСХОДИМ ОТ АДАМА»

*О книге Чингиза Гусейнова «Не дать воде пролиться из опрокинутого кувшина», аттестованной автором как «кораническое повествование о пророке Мухаммеде»*

Признаюсь, не без опасения начал читать эту новую книгу известного прозаика. Жанровая заявка – «кораническое повествование о пророке Мухаммеде» – поначалу насторожила: такая тема, предполагающая смирение перед отшлифованной в веках инерцией панегирического истолкования, программирует и способ её реализации: беллетристическое тиражирование общеизвестных положений под бдительным оком исламской ортодоксии.

Сомнения оказались напрасными. Отдавая должное самому факту бесстрашного обращения к жизни и судьбе последнего из пророков – посланников Бога, скажем о главном – о состоявшемся полнокровном философском романе со всеми присущими ему атрибутами: интеллектуальная

открытость, многомерность сюжетно-композиционной структуры, движение мысли в пространстве расширяющегося смысла. И ещё: Чингизу Гусейнову не надо было прибегать к орнаментальной оркестровке текста, при которой избыточность так называемой «восточной образности», как правило, подавляет движение свободной мысли.

Входить в атмосферу романа желательнее в полном соответствии с принципом медленного чтения. Тогда лучше понимаешь: автор держит спасительную дистанцию из-за боязни сфальшивить, из-за склонности к ответственному мышлению о такой тончайшей материи, как «специальный религиозный гений», который Вл. Соловьёв находил у Мухаммеда. «Кораническое повествование», конечно же, перифраз романной

структуры, но функционально значимый, ибо задаёт определённую, ценностно ориентированную тональность восприятия, усиливая эффект объективной верности неопровержимому источнику.

В романисте сошлись художник и исследователь – знаток теологических тонкостей, хитросплетений символического языка исламской культуры, канонического права, свободно апеллирующий ко всему своду источников (арабское предание, ветхозаветные легенды, христианские апокрифы). Прочитайте описание битвы с мекканцами при Бадре или просветительские комментарии типа «шахид – не всегда мученик...», «хиджаб – символ не унижения, как принято считать, а особой власти над мужчинами», чтобы оценить старательность дотошного эмпирика, прекрасно ориентирующегося в лабиринтах далёкой эпохи.

Значителен познавательный-информативный потенциал книги, но перед нами всё-таки художественный текст, «вторая реальность» – не трактат, не эссе, не очередное пособие по мусульманской экзегетике (наука толкования), не переложение-пересказ или новоявленный тафсир (комментарии к Корану), хотя все основополагающие догматы и программные требования ислама в книге бережно воспроизводятся (пять столпов веры, виды джихада, количество упомянутых в Коране пророков, молитвенный цикл и т.д.). И судить его можно и должно, как известно, только по законам, принятым самим автором.

Привлекала же его не трансляция канонических предписаний, иначе говоря – не статика свершившегося историко-культурного феномена, располагающая к дежурной апологетике и к наведению хрестоматийного глянца. Писатель озабочен другим: открытием смысловой глубины, живой процессуальности богопознания, воссозданием пути незаурядной личности, вдохновенного и вдохновенного подвижника, религиозного реформатора («путь», напомним, одно из имён Христа, столь почитаемого в исламе). Этот путь, исполненный отчаяния и сомнений («что-то с ним неясное ему самому происходит, и оттого тревожно на душе»), привёл Мухаммеда к обретению истины единобожия: «подлинно суетны не ведающие о едином Боге. И почитают за богов правящих миром, или огонь, или ветер, или движущийся воздух, или звёздный круг, или бурную воду или небесные светила».

Ч. Гусейнов прослеживает точки роста духовной революции, морального, как сказали бы сегодня, перевооружения общества. Шла кристаллизация смыслового ядра, многократно усиленная ниспосланием Мухаммеду корани-

ческих сур, завершалась джахилия – период неведения, духовного невежества, поднималась звезда ислама. Через столкновение характеров, брожение идей, через гонения и ожесточённые споры с мекканцами («да кто он, твой Создатель?») одинокий проповедник-моралист, поддержанный поначалу только женой Хадиджой, превращался в лидера влиятельной мусульманской общины, покорившей позднее полмира. Даже такой близкий человек, как дядя Абу-Талиб далеко не сразу уверовал: «Мухаммеда, я не верю в пророческую миссию твою!». Только одиннадцать сторонников, верные основной формуле вероисповедания – шахаде («Ля илаха илля л-Лаху» – «Нет Бога, кроме Аллаха»), покинули Мекку с Мухаммедом, спасаясь от преследования, и совершили с ним легендарную хиджру (переселение) в Йатриб (Медина) – 26 июля 622 года стало точкой мусульманского летоисчисления по лунному календарю. Отправляясь в изгнание со словами «рано или поздно правоту мою поймёте, и я вернусь в Мекку»(247), Мухаммед вернулся в Мекку через 7 лет 8 месяцев 11 дней.

Название каждой из трёх частей романа имеет один и тот же подзаголовок – «поэтическая хроника...». Что это – совмещение несовместимого? Скорее другое: оксюморон точно характеризует двуединство творческой задачи, «двойное зрение», призванное обеспечить полноту художественного взгляда, сопрягающего «хроникальное» и «поэтическое» (последнее выделял А. Пушкин: «многие нравственные истины изложены в Коране сильными и поэтическим образом»).

С одной стороны, Мухаммед предельно конкретен как человек определённой эпохи, член мекканской общины, племянник Абу-Талиба и муж Хадиджи. С хроникальной точностью – от рождения до смерти – воссоздается реальный биографический контекст, реконструируются среда, бытовая и идейный фон доисламского общества. С другой – этот базовый, первичный план повествования соотнесен с разворотом куда более значительной темы – пророческим даром и миссией этого человека, бросившего вызов языческому идолослужению во имя веры в Единого. Упомянем при этом неоднократно подчёркнутый автором мотив полного отсутствия претензий на исключительность: «но я такой же, как все!» (предсмертные слова), «не творите из пророка идола! Истинно лишь “Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!”».

Чувство сопричастности к возвышенному нисколько не умаляет или как-то противоречит сфере обыденного, мирского, плотского – здесь Ч. Гусейнов верен внутреннему пафосу ислама,





тяготеющего к выходу за пределы чисто религиозного сознания, к тотальному охвату всех сфер жизнедеятельности, к преобразованию повседневности, имея в виду соблюдение определённых правил (как входить в дом, как отходить ко сну, как вести себя с женой, как относиться к соседу и т.п.). Он хорошо показывает, как складывалась практическая этика ислама, когда и в быту, в самом образе жизни должно восстанавливать «разорванную с Богом нить». Ведь Мухаммед не просто растревожил умы обещанием другой, праведной жизни, не только призывал других. Он привнёс в жизнь мекканского социума нравственный максимализм, обращённый прежде всего к себе, свою убеждённость в том, что «не существуют заповеди к случаю, для временного пользования». Пусть для упорствующих в неверии оппонентов он «безумец», «одержимый» и «выдумщик», но единомышленники нашли в нём «великую надёжность, честность и благородный нрав» – качества, равно значительные и как вечные ценности, и как регуляторы бытового поведения.

Совместить миры профанный и сакральный в единстве замысла и описания – задача, понятно, не из лёгких. У Ч. Гусейнова «малое» и «великое» как бы подсвечивают друг друга, сопрягаясь без видимого напряжения. В стремлении создать объёмный портрет Мухаммеда и его жизненного пути, он находит внутреннее равновесие между предметным описанием и «подземным ростом души» избранника, предлагая как бы стенограмму его высоких прозрений. Между человеческим и божественным, земным и небесным. Как равно содержательные сущности, как «сообщающиеся сосуды» эти сферы взаимно обуславливают друг друга, обеспечивая единство смыслового пространства. Наглядно ощущаешь, как сквозь историко-культурную достоверность пробиваются мощная динамика новой философии жизни, масштаб духовной индивидуальности.

Важное, чтобы не сказать – решающее, обстоятельство: писатель не позволяет себе утратить чувство таинства, мистериальности, мифологичности происходящего, не поддаётся соблазну так называемого трезвого взгляда на вещи (и намёка на возможную десакрализацию вы не найдёте в сцене, например, возвращения Мухаммеда после вознесения на семь небес: он удержал от падения кувшин, выскользнувший из его рук до чудесного путешествия; ни капли не пролилось!). Поэтому так органично и ненавязчиво росту личностного самосознания и нравственного авторитета Мухаммеда сопутствует усиление провиденциального начала. Активность художественной и фило-

софской рефлексии не настолько безоглядно-рассудочна, чтобы оспаривать содержательность таких ключевых понятий, как «откровение», «ниспослание», «благодать», иронически снижая их или логически выпрямляя. Уместно вспомнить один из самых впечатляющих примеров подобного отношения к тому, что составляет космос ислама, – «Западно-восточный диван» Гёте: «о рае истинные мусульмане так говорят, как будто там бывали» (из книги «Хульда-намэ»).

Неукоснительно соблюдается в романе презумпция сакральной подлинности – в описании, например, встречи в пещере с ангелом Джебраиллом: «Некто закрыл собой вход. Потемнело. Казалось – в глазах. И трудно дышать. Он заперт, не выйти ему отсюда! Видение стало явью». Вплоть до наглядности физиологических подробностей: «почувствовал озноб – волнами он прокатился по телу», «глазам не больно» от света крыльев «летащего молниеносного коня» Бурака, «громадный рост» Джебраила («вошёл высокий и чистый ангел» – таким он предстал и в стихотворении Рильке «Призвание Магомета»).

В той же тональности условного правдоподобия или правдоподобной условности выдержаны рассказы о дружеских разговорах с пророками Мусой (Моисеем) и Исой (Иисусом). Первый похвалил Мухаммеда: «Ты замечательно придумал, как народ собрать на молитву...». Столь же очевидна некая будничность встречи со вторым: «И тут Мухаммед увидел Ису: сидел к нему спиной... Иса был погружен в молитву... Иса к нему повернул свой лик».

В этом же ряду – развёрнутое описание исры (перенесение Мухаммеда из Мекки в Иерусалим) и миража («восхождение в пределы семи небес, где предстал перед тронном Всевышнего»). Та же манифестация достоверности: «это случилось за год до хиджры в начале 12-го года пророчества в седьмом лунном месяце раджаб в ночь на двадцать седьмое». На седьмом небе Мухаммеда встречают «Божьи пределы! Его престол! Он отстоял от Мухаммеда на расстоянии двух полётов стрелы!». Запредельность ситуации нисколько не отменяет привкус всё той же наглядности: «Божественный лик закрыт семижды семьюдесятью тысячами покрывал, дабы человек вмиг не уничтожился при взгляде на Его чело. Протянул к Мухаммеду... да это руки слегка коснулись его груди, его плеча. Мухаммеда охватил леденящий страх, тут же сменившийся неизъяснимой радостью».

Или – последний пример из многих – ссылка на описанные в двух огузских свитках встречи молодого Мухаммеда с двумя предсказателями –

христианином-отшельником и иудеем, «знатоком всех вер», которые не только заметили «особое сияние очей Мух», но и узрели «святость в юноше», увидели в нём нового пророка «именно теперь, когда земля погрязла в нечисти безверия».

Ч. Гусейнов добивается полифонического звучания, раскаляя романский контекст энергией полемически напряжённых диалогов. За нескончаемостью вопросов-ответов, столкновением мировоззренчески значимых точек зрения, обменом язвительными репликами обозначаются контуры трудного общего приближения к Истине. Разъяренные мекканцы кричали Мухаммеду: «Ты предал Каабу! Убирайся из Мекки». Разбудив их умы и сердца обещанием иной, праведной жизни, он не устает разъяснять, толковать, призывать, находить нужные слова и, если необходимо, называть вещи своими именами: «Кааба осквернена идолами», она «пристанище сатаны».

Писатель внимателен и к тому, как новая иерархия ценностей мучительно выстраивалась в отдельно взятой человеческой душе, в пределах одного сознания, разрываемого противоречиями. Внутренний мир самого Мухаммеда пронизан подчас изматывающей диалогичностью, требовательностью постоянного самоопроса: «Так ли я слышу Его?». Недаром в скрупулёзном описании типов джихада (отдача всех сил в отстаивании веры) подчёркнуто акцентируется именно джихад сердца, предполагающий борьбу с собой и своими недостатками. Это та борьба, которая, пишет Ч. Гусейнов, «не прекращается ни на миг... война внутри тебя... во всём твоём существе... между дьявольским в тебе и Божественным! Да не закончится эта война никогда!».

Примечательная особенность диалогической организации «коранического повествования» – ставка на принцип «от первого лица». Установка, восходящая к самому Корану как прямому слову Аллаха, как его доподлинной речи. Именно от своего имени говорит Всевышний, обращаясь к Мухаммеду: «Все семь небес пройдя, взойёл к престолу Моему... С тобой явил Я Книгу! И чтоб в тебя уверовали, Её слышав». Мухаммеду оставалось только услышать и исполнить властный призыв Джабраила – тоже от первого лица – прочитав заветный шелковый свиток: «Я не могу прочесть! – Нет, можешь!».

Безошибочно уловил в своё время эту сакраментальную тонкость А. Пушкин. В «Подражаниях Корану» (1826), основанных на русском переводе Корана М. Вревкина (1790), он мог вольно обходиться с оригиналом (где ничего, например, не сказано о языке, который бог одарил «властью

над умами»), но осознанно сохранил главное – дух и интонационную атмосферу Корана, стилистически ярко выделяя прямую речь как форму присутствия божества: «Не я ль в день жажды напоил тебя пустынными водами?», «Люби сирот, и мой Коран дрожащей твари проповедай».

Даже повелительное «Мужайся ж, презирай обман...» или «Спокойно возвещай Коран» выдаёт то, что А. Пушкин счёл нужным специально отметить в примечаниях: «В подлиннике Алла везде говорит от своего имени, а о Магомете упоминается только во втором или третьем лице». Этот единственно верный тон о отношении к Корану позднее столь же успешно воплотил Я. Полонский в стихотворении «Из Корана»: «Пророк, напомни малoverным, что я приду нелицемерным судом судить...».

«Неслышанным новшеством» назвал И. Крачковский в комментариях к своему переводу Корана (1963) явленное в Коране «божество в первом лице». В Ветхом завете «говорящий всегда хронист, пророк, псалмист; речи – цитата. В Евангелии Христос говорит по ходу рассказа... Нововведение – Аллах сам даёт себя услышать и сам ниспосылает островки своей «книги»; пророк – только посредник».

Возвращаясь к роману, нельзя не заметить некоторую нарочитую его технологичность, но это ощущение сполна компенсируется необычайной энергетикой текста, которая обнаруживает себя поверх изошрённой множественности повествовательных приёмов.

Тема пророчества оказалась несовместимой с рутинным повествованием, горизонт которого ограничен только соблюдением причинно-следственных связей.

Попутно замечу, что автор «коранического повествования» – художник, чуткий к стилевым новациям и обогативший изобразительную палитру современной русской прозы (это, как говорится, отдельная тема, но действительно пора присмотреться к необычной пластике его речи и композиционно-структурных изысканий).

Неожиданные переключения в романе повествовательных регистров, наплыв ракурсов, интонационные перепады, сложная вязь смысловых планов, отказ от линейной последовательности композиционных и стилевых решений, инверсия ради сущения смысла – весь этот арсенал приёмов заставляет вспоминать о потоке сознания не столько в его европейском или мировом литературном бытовании, сколько в очевидной соотнесённости со стилистикой коранических сур-откровений.

Важнейший регулятор повествовательного



механизма – текст в тексте – стоит выделить особо. Себя автор представляет как «всего лишь переводчика огузских свитков и сур, который... иногда позволяет себе дерзость выступить в заманчивой роли повествователя». Тотальная предположительность приобретает значение осознанного приёма. Рукопись в свитках, принадлежащая перу Ибн Гасана, «то ли древняя, то ли относительно недавно сочинена». Вероятно, это перевод с арабского – «не с фарси, языка шиитов, ибо местами текст просуннитский и не европейского, хотя в свитках порой даются римские цифрь». Сведения о самом Ибн Гасане даны в энциклопедиях, но нигде не сказано о том, что он может быть автором или переводчиком «каких бы то ни было коранических свитков», хотя можно предположить, что «такого рода сочинения у него могли быть».

Возможные «нападки фанатиков» воспринимаются как веская причина обращения к повествовательной маске: «мог выдать себя за переводчика или даже переписчика некоего оригинала». В сносках автор разворачивается напрямую, щедро предлагая добавления, поправки, комментарии (последняя из сносок: «так вышло, будто в этом знамение какое, что количество комментариев Ибн Гасана и моих сносок... совпадает»).

Иногда автор позволяет «себе дерзость по-авторски проявится в столь ответственнейшем сочинении»: заглавие 66-й главы «Удержанный от падения кувшин» «придумал я». Иногда он признаёт, что «тут наши с Ибн Гасаном впечатления совпадают...». Иногда – не совпадают: в 50-ом свитке коранического текста Ибн Гасана сура «Город» начинается словами «нет, не восхитимся этим городом!» (речь идёт о Мекке – К.С.). Ч. Гусейнов предлагает комментированный вариант «нет, да восхитимся мы этим городом» (любопытно сопоставить с переводом И. Крачковского: «не клянусь этим городом!»).

Настойчивость, с которой автор задаёт вопросы типа «так чей же сон записан Ибн Гасаном? Неужто Мухаммеда?», говорит о свитках, об их названиях, спрятанных «в сплетении букв», о вставках, о чернилах («кажется, и здесь выцвели...») и почерках (нахс, куфи), о бумаге, «выделанной из сирийского благовонного тростника», не может не убеждать.

В чём?

Мы имеем дело с нечто большим, чем просто попытка заинтриговать или даже запутать читателя. Virtuозная работа с так называемым огузским свитком выдаёт авторское самоотстранение как безошибочно найденную форму художественной убедительности. ореол древности свитков таит

в себе аромат и очарование подлинности, придавая некую неопровержимость свидетельствам Ибн Гасана (автор? а, может быть, переписчик? или переводчик? – по большому счёту это не столь важно).

Регулярно возникающая апелляция к его рукописи, олицетворяющей некую достоверность, успешно нейтрализует возможный читательский упрёк в современной отсебятине и близоруком субъективизме. Как ценность, освящённая традицией, как некий камертон эти чудом сохранившиеся свитки «сторожат», духовно контролируют ситуацию, страхуя от фальшивой ноты, способной обрушить всю повествовательную конструкцию.

Не в том ли состоит «проблема авторства в кораническом повествовании» (её как бы мимоходом, в сноске, но вполне серьёзно предлагается исследовать), чтобы найти в себе мудрость отойти в тень авторитетного источника, оставаясь демиургом создаваемого художественного мира?

«По мере того, как раскрывались листы, спитые шёлковыми нитями, на полях, украшенных множеством орнаментов, возникали фразы, написанные разными почерками куфи...», «свиток торопит события, что сказывается в скорописи, с какой каллиграф...», «существует различие конечной буквы, точнее, разнослышимость её...» – подобные детали (шёлковые нити, почерк куфи, спешка каллиграфа, разнослышимость буквы) только усиливают ощущение наглядности и материальности цитируемого образца.

Прозанк достигает эффекта раскрученного на глазах читателя текстологического детектива, нагнетая завораживающие подробности: «Здесь же – написанный рукой Ибн Гасана листок, на котором выведены три буквы, вроде шифра: К Л Б, а под ними – текст; долгое время это считалось суфийской игрой перетекающих одно в другое смыслов, из букв образуемых...».

Этот эффект особенно нагляден в третьей части «Тайное дно», когда Ч. Гусейнов предлагает, воспроизводя тюркские записи Ибн Гасана, свою классификацию коранических сур, исходя из того, что хронология последовательно явленных Мухаммеду откровений нарушена составителями сводного списка после смерти пророка. В нём 114 сур расположены по формальному принципу: самые длинные в начале, короткие в конце. Кроме того, по свидетельству арабиста П. Грязневича, «отдельные стихи переданы с искажениями, а целые отрывки и даже главы-суры составлены из текстов, произнесённых в разное время». Заметно и «отсутствие логической связи между главами-сурами», а иногда и внутри глав».



У Ибн Гасана иная структура: суры выстроены хронологически по мере их ниспослания Мухаммеду. Дань сакральному числу 114 в романе всё-таки отдаётся: его первые две части состоят именно из 114 глав. Последняя, 114-я, глава названа «Сто тридцать три». Стремление «восстановить порядок сур и их число» привело к такому количеству сур – 133, составивших третью часть романа.

Не стоит углубляться в вопрос о корректности или некорректности предложенных автором количества и порядка сур: об этом дано судить узким специалистам. Скажу только, что принципы сложения и фиксации текста Корана, его композиция, структура, хронологический порядок сур, периодизация их произнесения и место ниспослания (Мекка или Медина), взаимоотношения «отменяющих» и «отменённых» айатов (стихов) – это отдельная, специальная и наверняка увлекательная область исламоведения. Одно из направлений в коранистике так и называется – «обстоятельства ниспослания».

Наш автор позволил себе дерзость увидеть эти обстоятельства иначе, чем диктует традиция. Но уместно ли говорить о дерзости, если не забывать о существенных различиях между хронологическими списками таких корифеев коранистики, как Т. Нёльдеке, Р. Блашер, У. Мьюир, Х. Гримме и др.? Если помнить о том, что в XIX веке Г. Вейль выделял четыре группы сур (три мекканские и одна мединская), а в XX веке Р. Белл в эдинбургском издании своего двухтомного перевода Корана (1937-1939) заявлял о «критическом пересмотре расположения сур» и относил к мекканским 20 коротких сур, а к мединским – большинство длинных.

Так что, за спиной Ч. Гусейнова – серьёзная традиция оспаривания правомочности канонической кодификации Корана. Его alter-ego Ибн Гасан, предлагая пятиэтапную хронологию ниспослания 133 сур (4 мекканских, 1 мединский) не столько радикально посягает на незыблемость канона (114 сур), сколько восстанавливает «хронологическую целесообразность, а тем самым – бережное отношение к ниспосланному Богом».

Вот один из примеров занимательного филолого-культурологического триллера: «люди, собирая Коран в пору противостояния с иудеями и христианами, руководствовались не волей Неба, а земным диктатом и допустили недопустимое: изъяли из заглавия её (сура «Та Ха» – К.С.) название Муса!». Названию тут же возвращается изначальная форма: «Та Ха, или Муса».

Одна из важнейших сюжетных линий – или все-таки центральная? – связана с неукоснитель-

ной верностью автора концепции внутреннего и нерасторжимого родства трёх авраамических религий – иудаизма, христианства и ислама.

Ч. Гусейнов задаёт более чем актуальный дискурс, размыкающий границы заявленного «коранического повествования». Апелляция к универсальному пафосу ислама, к его изначальной обращённости ко всем основана в книге на сильном чувстве наследственности, преемства, почитания предшествующих пророков (имена их названы в Коране) и особенно – праотца арабов и евреев Ибрахима (Авраам). В этом контексте ислам воспринимается как процесс восстановления на новом историческом этапе сердцевины веры авраамовой – единобожия. Ход мысли, отсылающий читателя к великим предшественникам современного автора. Например, для П. Чаадаева ислам был прежде всего «проявлением общего закона», а учение Магомета – «одной из ветвей... великого процесса развития откровенной религии». Русский мыслитель в шестом философическом письме воспринимал Мухаммеда как исполнителя «плана, предначертанного божественной мудростью для спасения рода человеческого». Именно так – рода человеческого. В ряду «благих последствий» его духовного подвига названо распространение «понятия о едином боге и о всемирной вере».

В романе конфессионально разобшённую толпу Мухаммед призывает жить по другому принципу: «Да будут все пророки пророками всех!». Первую хутбу (проповедь) во время первого по пути в Йатриб пятничного моления он посвящает теме «благорасположения». По принципу «одна община, разные религии» заключается соглашение мусульман с жителями Йатриба, «обитающими здесь арабами-иудеями, иудеями-евреями». Никогда и ничего Мухаммедом не сказано о превосходстве одной из религий, но всегда и везде он говорил о заинтересованности друг в друге, предписанной божественной волей. О веротерпимости, подтверждённой, кстати, личным примером: одна из его жён – христианка, другая – иудейка, остальные мусульманки. Мухаммед фактически унаследовал завет Савла, ставшего Павлом: «Несть во Христе ни эллина, ни иудея».

Варьируется в различных событийных контекстах идея открытости и взаимоуважения «людей писания» (ахля-ль-Китаб), ориентированная на глубинную квинтэссенцию их однокорневой веры – этику надэтнической солидарности. Развитие сюжета отмечено постоянным возвращением к убеждённости Мухаммеда в том, что «Бог покончил с родовой, племенной, всякой иной сегодня и навсегда гордостью, ибо все происхо-



дим от Адама», что «Коран явлен Богом, чтобы подтвердить истинность прежде явленных обеих (Пятикнижие Моисея и Евангелие – К.С.) книг!». Многозначительный штрих только усиливает этот консолидирующий пафос: старец-провидец Настура «поспешил увидеть Его (мессию – К.С.) в обыкновенном подростке (Мухаммеде – К.С.) с открытым ясным взглядом, источающим подлинно христианскую доброту».

Да и автором свитков Ибн Гасаном более всего «движет благородная идея, не находящая, увы, ни в ком поддержки – идея примирения, а не противостояния авраамических религий». В его варианте суры «Паук» сказано: «Не препирайтесь с людьми Писания, иначе как им доводы разумные являя... И наш Бог, и ваш Бог – один и тот же Бог, и предаёмся мы Ему!» (у Крачковского: «И не препирайтесь с обладателями книги...»). В одной из сносок автор в очередной раз напоминает о том, что не должно создаваться «впечатления, будто у мусульман другой Бог, отличный от Бога иудеев и христиан».

Роман Ч. Гусейнова, безусловно, полемичен по отношению к нынешнему кризису межконфессионального доверия. Составляющие этого кризиса очевидны уже для всех: сужение поля диалога, дефицит встречного движения (ну как здесь не вспомнить толстовский урок отринутых предубеждений: русскому офицеру, православному Полторацкому «страшный горец», мусульманин Хаджи-Мурат показался «не чужим, а давно знакомым приятелем», который «ответил улыбкой на улыбку»; или ностальгический вздох космической души Велимира Хлебникова в его поэме «Хаджи-Тархан»: «Ах, мусульмане те же русские, и русским может быть ислам»).

Разобщённость людей Писания, взаимная неуслышанность, непонятость, предвзятость, изгнание идеи компромисса – всё это следствие рокового обрыва преемственной связи, отхода от понимания Корана – завет Мухаммеда! – как составной части Единого Послания (две другие – Тора и Евангелие), что привело к катастрофической аберрации духовного зрения: сегодня Коран воспринимается в лучшем случае как специфическая книга мусульман, а в худшем как... «инструкция для экстремистов» (см. изданный в Москве в пер. с английского сборник «Extreme Islam, или Аллах не любит Америку», 2003). Мужественное признание Льва Аннинского на страницах «Литературной газеты» – «язык не поворачивается совместить «терроризм» с «исламом» (№ 19, 2004) – многие, увы, не склонны разделять, предпочитая ставить знак равенства между взаимноисключающими по-

нятиями. Значение вездесущего стереотипа приобрела формула «столкновение цивилизаций», хотя её автору Сэмюэлу П. Хантингтону трудно отказать в точности основного вывода: «В 80-х и 90-х годах и в исламском, и в христианском обществе терпимость по отношению друг к другу резко снизилась».

Конечно, предпосылки этого снижения накопились в избытке. Казнённый в Египте в 1966 году по обвинению в терроризме руководитель «Братьев-мусульман» Сейид Кутб был убеждён в том, что ислам – «последнее полное послание всему человечеству» и та «универсальная истина, принятие которой обязательно для всего человечества». Вся соль в этой «обязательности», противоречащей кораническому «нет принуждения в вере» и неизбежно диктующей настораживающие умозаключения о «необходимости стереть с лица земли все людские царства, чтобы правил в мире его истинный Вседержитель» и невозможности для ислама «перемирия» с врагами до тех пор, пока они не склонятся перед его авторитетом...

Ч. Гусейнов своевременно напоминает, что обвинение в куфре (неверии) в эпоху Мухаммеда касалось язычников, но потом произошла экстраполяция смысла: кяфирами (араб.) или гяурами (тюрк.) стали называть иудеев и христиан. Воспринимая этот смысловой сдвиг как глубоко противоречащий духу и букве ислама, он в своём варианте суры «Трапеза» не приводит слова (айат 56), которые в переводе И. Крачковского звучат так: «О вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан друзьями: они – друзья один другому».

Жест символический, но весьма показательный!

У Фридриха Дюрренматта есть замечательная новелла «Абу Ханифа и Анан бен Давид». В VIII веке правитель аль-Мансур посадил в тюрьму знатока Корана Абу Ханифу, а заодно и рабби по имени Анан бен Давид. Бесконечно долго, забытые всеми и измотанные теологическими разногласиями, сидят в одной темнице два старца, один из которых «давно стал как бы Кораном», а другой – Торой: «стоит еврею привести какое-нибудь место из Торы, араб приводит суру из Корана, которая подходит к этому месту из Торы». Книги «каким-то таинственным образом дополняют друг друга; даже когда буквального совпадения нет, они сходятся». Как позднее и сами люди: «Анан бен Давид глядит в лицо Абу Ханифе, а Абу Ханифа глядит в лицо Анану бен Давиду. Каждый – а оба совсем одряхлели за столько веков – глядит как бы на самого себя, их лица похожи одно на другое. И постепенно из их почти ослепших, окаменевших

глаз уходит ненависть, они глядят друг на друга, как глядели на своего Бога, на Ягве и Аллаха...»

Рассказ о непреодолимом отчуждении превратился в мудрую притчу о спасительном и богоугодном движении навстречу друг другу.

«Кораническое повествование» Ч. Гусейнова о схождении того, что кажется несходным. О насущной нашей взаимодополнительности. Роман прочитывается как призыв преодолеть разлом, возвращаясь к завещанной Мухаммедом доминанте общности, к её сущностным опорам (идея единобожия и богооткровенности, ниспосланность священных книг, телеологический взгляд на историю, т.е. принцип божественного предопределения, мессианский пафос, свобода вероисповедания). Объективно он воспринимается и как страстное опровержение политических спекуляций на тему «несовместимости» религий.

Аналогия, может быть, излишне витиеватая, но мне действительно казалось, что на самых крутых сюжетных виражах (вознесение Мухаммеда к престолу Господа, пространные беседы с предыдущими пророками Мусой и Исой, встреча в пещере с ангелом Джебранилом) слову Ч. Гусейнова приходилось пробираться по своему Эль-Сирату – так назывался ведущий в рай мифологический мост шириной в лезвие меча, по которому проходили умершие, грешные же падали в огненную бездну.

Колоссальный риск впасть в профанацию, опозлать заветный смысл в апологетическом порыве, опуститься до нарочитой модернизации, глухой к самодостаточности духовной эволюции Мухаммеда – разве не подстерегал он мысль и слово художника, угрожая срывом в пропасть? В том же, кстати, ряду находится и возможная попытка какого-то оправдания ислама и дела пророка. Велик соблазн вступить в полемику, к примеру, с когда-то влиятельной европейской традицией упрощения и ниспровержения ислама как «незаконного отпрыска Моисеева закона и Евангелия» (испанский арабист Мигель Асин-Паласиос), Корана как «утомительной и бессвязной нескладницы» и даже «невыносимой глупости» (Г. Карлейль), а Мухаммеда как лжепророка, «фанатика, насильника, обманщика» (помимо этих слов Вольтера, приведём название изданной в конце XVII века книги англичанина Х. Придо «Подлинная природа мошенничества, всецело проявившаяся в жизни Магомета; с прибавлением рассуждения, снимающего подобное обвинение с христианства»). На этой дороге писателя подстерегало истощение духовных и душевных сил, которые ушли бы исключительно на опровержение. Книга же Ч. Гусейнова относится к числу тех редких книг, ко-

торые предлагают и не без успеха распространяют положительное знание о самоценности ислама на должном художественном и интеллектуальном уровне – без гнева и пристрастия, без экзальтированных крайностей: ритуальной апологетики и примитивной демонизации.

Такую книгу мог написать человек, объединивший в себе размышляющего мусульманина и просвещенного европейца. Тот и другой не забывает, что каждое из ста слов в Коране – а всего их 78 133 – это слово «знание». Тот и другой помнит, что безусловная значимость имана (веры) в исламе органично дополняется «Торжеством Знания» – так назвал Ф. Роузентал свою известную книгу, которая имеет и подзаголовок: «концепция знания в средневековом исламе» (М. 1978). В романе эта концептуальность заявлена в её предельном значении: «чем больше знаний, тем ближе к Нему».

Не могу отделаться от ощущения, что передо мной книга-поступок, что для Ч. Гусейнова обращение к жизни и удивительной судьбе Мухаммеда оказалось нечто большим, чем просто выбор темы, обладающей заведомой притягательностью. Для меня очевидна его выстраданность: в предыдущих романах нетрудно было прочувствовать авторскую тоску по духовной устойчивости вопреки давлению обстоятельств.

Через «Магомеда, Мамеда, Мамиша», через «Фатального Фатала», через «Доктора N» с его финальным «каталогом имён, начатым обращением к Аллаху» («и за то прости, что обуреваем порой при взгляде на жизнь нынешнюю и прошлую сомнениями в Твоём существовании, в чём, каюсь, признаюсь») писатель шёл к прямому, ничем и никем не стеснённом разговору о сокровенном. Испытание темой состоялось задолго до нашего «коранического повествования».

Приобщение к Истине, явленной в харизматической судьбе и миссии Мухаммеда, «духовное молоко Корана» (из очерка Вл. Соловьёва «Магомет, его жизнь и религиозное учение», 1896) не может не очищать и не возвышать. Не будет преувеличением предположить, что для Ч. Гусейнова оно стало и опытом самораспознавания, движения к себе самому, когда в предельно искреннем самоотчёте пробиваешься к личному спасению – пусть не прозвучит это излишне высокопарно.

«Внемлет Богу» – это состояние не только героя книги, но и её создателя. Повествование о пророке не могло, я думаю, состояться, если бы оно не обрело интенсивность паломничества «в заповедные края собственной души» (афоризм из свитка Ибн Гасана). Поистине несчастливыми оказались начальные слова книги: «Для себя созда-



валось повествование. Чтобы услышанное во мне, ниспосылаемое неведомо откуда и порой не могущее быть ни понято, ни понятно, обрело подобие ясности...». Добавлю к этому и возвращение в лоно семейной традиции как духовно значимой, к генеалогическому корню, освящённому светом ислама – в тот контекст (сформулированный в «Западно-восточном диване» Гёте: «...наставленный пророком, возвратись душой к истокам»), который ещё так недавно казался навсегда утраченным. Поэтому роман стал не только долгожданным отрезвлением, но и превратился в прощание с эпохой

смещённых пропорций, ложных ориентиров и утопических иллюзий.

Чувствую всеми фибрами своей читательской души, что Чингизу Гусейнову как художнику и современному мыслителю свободно дышалось в атмосфере ничем не связанного – кроме совести, вкуса и знания – повествования о пророке.

Имеющий глаза – да увидит эту раскрепощённость души и духа.

Имеющий уши – да услышит этот чистый звук творческой радости.

ББК 84 (4 Укр-4 Оде) 62я45  
Ю 195  
УДК 821.161.1'06 (477.74) – 94

Підписано до друку 18.09.2017 р.  
Формат 60х70/8. Гарнітура Garamond Narrow.  
Папір офсет. Друк офсет. Ум. друк. арк. 21,75.  
Зам. 1434. Тираж 500 прим.

Видавництво КП ОМД (свід. ДК № 774 від 17.01.2002 р.)  
Надруковано в КП «Одеська міська друкарня»  
65012, Одеса, вул. Пантелеймонівська, 17